

# СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Российской Федерации,  
Администрация Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Н.М. АХПАШЕВА  
Б.Л. АЮШЕЕВ  
А.Г. БАЙБОРОДИН  
Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ  
Б.Я. БЕДЮРОВ  
В.А. БЕРЯЗЕВ  
Б.В. БУРМИСТРОВ  
С.В. ВТОРУШИН  
В.В. ДВОРЦОВ  
Б.С. ДУГАРОВ  
А.И. ИВАНТЕР  
В.Н. КАЗАКОВ  
Б.Н. КЛИМЫЧЕВ  
Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)  
В.М. ЛОМОВ  
С.Г. МИХАЙЛОВ  
А.М. РОДИОНОВ  
Э.И. РУСАКОВ  
Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА  
А.Б. ШАЛИН  
В.Н. ЯРАНЦЕВ

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

**5 май 2013**

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

<b>Дарья БОБЫЛЪВА. Множественность миров.</b> Рассказы. ....	3
<b>Юрий БРИГАДИР. Правила волчат.</b> Повесть. ....	21
<b>Виталий ЩИГЕЛЬСКИЙ. Бессонница.</b> Рассказы. ....	93
<b>Сусанна СТАРОСЕЛЬСКАЯ. Счастливый жребий.</b> Почти документальная повесть. ....	114

### ПОЭЗИЯ

<b>Даниил ЧКОНИЯ. Из кельнского дневника.</b> Стихи. ....	17
<b>Владимир КРЮКОВ. От многого света.</b> Стихи. ....	91
<b>Иосиф КУРАЛОВ. «Про чёрный уголь, небо голубое...»</b> Стихи. ....	108
<b>Дмитрий СЕВЕРОВ. Вода не бывает пустой.</b> Стихи. ....	138

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Александр КИСЕЛЬНИКОВ. Новейшая история России (1985—2011 гг.):</b> Записки современника. Главы из книги. ....	142
<b>Станислав МИНАКОВ. Наш Языков.</b> ....	155

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Николай ВИТОВЦЕВ. «Пирамида» ведёт на Алтай.</b> ....	161
<b>Сергей КУНЯЕВ. Николай Клюев.</b> Главы из биографического повествования. ....	173

### Книжная полка

<b>Дмитрий МАРЬИН. Три цвета времени</b> Станислава Вторушина. ....	186
<b>Авторы номера</b> .....	191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала “Сибирские огни”» В.А. Берязев.

# МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МИРОВ

## Р а с с к а з ы

### Автор А и множественность миров

Имя автора А мы не будем раскрывать, чтобы не создавать ему рекламу. Чтобы не создавать также бессмысленной интриги, сразу сообщаем, что он прославился, издав сборник странных ответов обычных людей на обычные вопросы. Успех книги был средни успеху иноязычной шутки, заискрившейся благодаря непониманию сути веселым абсурдом. Предисловие, в котором буквы «d» тянули хвостики вверх, с гриппозным красноречием уверяло покупателей книги, что в качестве компенсации за потраченные деньги они получат чтение легкое, как суфле, пропитанное густой реальностью до последней неаккуратно построенной фразы. Написавший предисловие человек с тремя выющимися волосками на кончике убедительного носа, не знакомый с автором А, сборник не читал. Удрученный простудным заболеванием, он с трудом переварил страницу из начала, страницу из середины и сопроводительную записку. Полученной информации хватило для того, чтобы в дрессированном мозгу человека сформировался текст, заранее набранный двенадцатым шрифтом и настраивающий непонятливого и недоверчивого читателя позитивно. Простуженный создатель предисловия даже построил несколько качающихся мостиков к звонким от времени фамилиям предшественников автора А в области беспристрастного документирования чужих соображений об окружающей реальности. В качестве примера он привел единственный запомнившийся ему странный ответ, который удачно с чем-то перекликался. На вопрос: «Что вам понравилось в...» (название постороннего государства вывалилось из памяти создателя предисловия) — некто ответил: «Ангелы там крупнее».

Также обладатель убедительного носа похвалил автора А за растрату нескольких (как он беспронимательно предположил) лет на опрос незнакомых граждан и поиски в потоке выцветших фраз тех ответов, которые бы «обрисовали нашу реальность с абсурдной точностью». Безусловно, на фоне приложенных усилий выглядит простительной главная ошибка предисловия: вся собранная автором А информация на самом деле не имела никакого отношения к той реальности, в которой употреблял чай с медом простуженный рецензент.

Автор А рано ощутил потребность чувствовать вокруг себя дополнительные миры. Сначала эту потребность удовлетворяли чуть лохматые по краям книги и выпуклый телевизор. Уже готовые дополнительные миры, созданные теми, кто был по каким-либо причинам недоволен окружающей действительностью, щедро, как сухие маковые головки, рассыпали семена. Засеяв ими свое плодородное сознание, юный автор А принимался ждать, нетерпеливо проверяя пальцем влажность почвы. И вскоре новая вселенная пробивалась наружу с деловитостью хрусткого насекомого, расправлялась, обсыхала, обретая необходимую легкость, и устремлялась вверх,



чтобы присоединиться к другим дополнительным мирам, окружавшим юного автора А. По ночам, лежа на наследственной перине, автор А не впитывал информацию с освещенных фонариком захватывающих страниц и не чесался неприлично под одеялом, а с внутренним замиранием изучал то, что выросло в нем за день. Дополнительные миры с тихим позвякиванием вращались вокруг него, переливаясь, как крупные мыльные пузыри.

Став старше и сообразительнее, автор А приступил к самостоятельному созданию новых вселенных, в которых не было бы ограничений, изначально заложенных кем-то другим. После первых жгучих неудач он понял, что в основе каждой вселенной лежит незначительная особенность или возможность, разветвлявшаяся затем густой живой изгородью отличий, которая навсегда отделяла дополнительный мир от реального. Во время своих бесшумных ночных путешествий автор А заметил, как легко теряются миры, особенности которых успели выскользнуть из его памяти. Работа же по их восстановлению часто не давала результата — автор А помнил лишь, что он что-то забыл. Поэтому он завел толстую тетрадь в клетку, чтобы фиксировать в ней основы своих многочисленных вселенных, особенности, делавшие возможным их существование.

Следует отметить, что автор А не стремился стать одним из тех, кто вытягивает из дополнительных миров различной длины цепочки историй, снабжая их рыболовными утяжелениями начала и конца. Он по опыту знал, что Вселенная, потеряв первоначальную легкость, тускнеет, сереет и, в конце концов, рассыпается в прах, до последнего мгновения трагически сохраняя форму, как испеченное внутренним жаром дерево. Автор А ничего не начинал и не заканчивал — он лишь выдувал новый мир и позволял ему с золотистым позвякиванием присоединиться к себе подобным. При этом он не ощущал ни умственного напряжения, ни легких спазмов внизу живота, характерных для вдохновения.

Завершивший процесс взросления автор А был негромок и застенчив, а его нежная темная борода успешно имитировала впалость щек. Еще несколько десятилетий назад, когда людям не предписывалось панически молодиться, он носил бы коричневую шляпу с розоватым нутром и полосатую рубашку, заправленную в целомудренные брюки. Однако время жительства вынуждало автора А довольствоваться джинсами и водолазками с неприлично расхлябанным воротом.

Детство, юность и значительный промежуток молодости автора А прошли в неосознанном блаженстве. Его немногочисленная и столь же негромкая семья, ценившая чисто вытертые книжные шкафы и блюда по рецептам, написанным бисерным почерком бабушки, обитала в сливочно-желтом центре города. Автор А рос среди старых предметов и уходящих в сумрак высокого потолка стен, под обоями которых счастливо улетал в космос первый человек, среди тихо осыпающихся домов, от долгого соседства с людьми перенявших их черты, и тополей, чья хрупкая древесина грозила несчастьем при урагане. Впрочем, в то время у ангелов еще не вошло в привычку помешивать ураганами городское варево.

Весь день автор А под одобрительными взглядами креслоподобных женщин, обитающих на лавках, перемещал из пространства квартиры в пространство двора пакеты, портфель и катышек давно вросшей в семью собаки. Вечером, когда обязанности заканчивались, он выходил из подъезда с пустыми руками и усаживался на значительную ржавую бочку неподалеку — в том случае, если из-за погодных условий она не была покрыта сметанным слоем снега. Прислушиваясь к шороху и потрескиванию в интимном нутре бочки, автор А находил удобную позу и принимался пристально смотреть на первый подвернувшийся предмет. Если вечер был удачен, из-за заботливо обляпанных белой краской тополиных стволов, сыпуче-кирпичных построек, которые выросли здесь раньше автора А, и дышащих влагой подвальных окон вдруг еле заметной точкой выплывала основа нового мира. Тогда автор А возвращался в гулкую квартиру, стараясь идти очень осторожно, чтобы не навредить плоду своего трудолюбивого сознания. Тетради с зафиксированными основами до-



полнительных миров автор А хранил в темном ящике письменного стола, запертом на два оборота.

На одном из праздничных обедов, когда в тарелках с листовым узором было особенно много кушаний, изготовленных по бабушкиным рецептам, автора А познакомили с невестой. Пока она была ничьей невестой, выдвинувшейся из толщи знакомого семейства, также негромкого, опрятного и пребывающего в сложных опосредованных отношениях с живописью. Невеста, предложенная автору А, была мягка на вид и неожиданно упруга на ощупь, а лицом немного напоминала щенка бульдога. Приходя к автору А в гости, она пила чай, рассказывала о том, как движется процесс ее обучения, а затем, изъявив желание выслушать от него аналогичный рассказ, крепко захватывала ртом хрупкое печенье. Подумав, автор А согласился считать невесту своей. Исследуя ее поведение в различных условиях, он посещал вместе с невестой кинотеатры, концерты и спектакли. Кроме того, они побывали в зоопарке, музее ремесел и на выставке кошек, где невеста была очарована поднимаемыми над головами публики тягучими животными. Провожая невесту домой под доброжелательным светом уличных фонарей, автор А целовал ее в пахнущие съеденным за день губы. Иногда они спускались в помещения, предназначенные для громкого ночного времяпрепровождения. Автор А тщетно боролся с музыкальным грохотом, повторяя в напоминающее пельмень ухо невесты слова, сказанные за день. Благодаря вспышкам разноцветного света, выхватывающим их из темноты, слова обретали особую значимость и весомость.

Через приличный промежуток времени невеста автора А безболезненно трансформировалась в жену. Автор А заметил лишь внешнюю сторону изменения своего жизненного положения: ночью, возвращаясь из очередного бесшумного путешествия, он стал наткаться в кровати на чужие конечности, а в углу его комнаты поселилась темно-золотистая, скептически настроенная икона, переехавшая вместе с женой. Также на некоторое время у автора А появилась новая обязанность: утром приносить мягко обозначающейся под одеялом жене на подносе скромный завтрак, который она азартно съедала на прикроватной тумбочке. Автор А подолгу наблюдал за свежей супругой, озаренный слегка рассеянной улыбкой, что порождало слухи о нежной склонности. Однако на самом деле автор А надеялся заметить в движениях, случайных словах или привычках жены тень тех возможностей и допущений, которые помогли бы новой вселенной распусться на влажной почве его плодородного сознания.

Жена автора А придавала гораздо больше значения произошедшим изменениям, поскольку была склонна нетерпеливо подглядывать в будущее, не дожидаясь его наступления. Движимая стремлением растить детенышей от неординарного отца, она сосредоточилась на изнурительном поиске в авторе А необычного. Результаты были огорчительны: повадки автора А, монотонная добросовестность, с которой он предавался своей тихой работе, связанной с цифрами, и неумение остроумно рассказывать о дневных происшествиях указывали на абсолютную заурядность его личности. Жена автора А из-за природной нетерпеливости страдала приступами спонтанной, суетливой активности, во время которых она пыталась вслепую пробить полотно жизни и подняться на новый, более высокий уровень, соблазнительно сиявший в будущем различной степени отдаленности. Автор А был лишен даже этого. Единственной его особенностью была архаичная нежная борода, но супруга не любила ее за коварную колочность.

В конце концов внимание отчаявшейся супруги автора А закономерно сосредоточилось на ящике письменного стола, в котором что-то секретно хранилось. Она неоднократно замечала, как автор А с тихим шуршанием перемещает в ящике нечто невидимое. На наводящие вопросы о его содержимом автор А не отвечал, кротко уводя разговор в сторону запасов пищи на следующую неделю и новинок кинопроката. Он благоразумно остерегался посвящать женщину в тайны дополнительных миров и бесшумных ночных путешествий. Однако жене автора А любые тайны с



детства представлялись белесыми зарослями липкой паутины, бессмысленно скрывавшей нечто важное или предосудительное. Поэтому однажды, воспользовавшись тем, что автор А ушел по своим связанным с цифрами делам, она достала ключ, спрятанный в чисто вытертом книжном шкафу, и после подobaющего четырехсекундного промедления открыла ящик.

На его дне поседевшей от пыли кучкой лежали махровые тетради в разноцветных обложках. Не успев удивиться, супруга автора А извлекла красную, с внязыковой надписью «Matemathik» на обложке, и открыла на прикушенной скрепками середине.

«Здесь не было собак, и люди были вынуждены лаять друг на друга сами. Облаяв и прогнав соседа, следовало зайти к нему в гости, извиниться и угостить самым лучшим чаем. Чай здесь делали не из листьев, а из зеленых ягод, которые обретали съедобность, аромат и приятный красноватый оттенок только в том случае, если их срывали маленькие темнокожие женщины. Эти женщины ни на кого не лаiali, потому что всю жизнь хранили обет молчания».

Жена автора А посмотрела на забытую на столе тарелку с безучастной скобкой недоеденного хлеба, все-таки удивилась и вновь приблизила к глазам экономно испиленную тетрадь.

«Здесь государствами управляли амебы. Когда приходило время для принятия важного государственного решения, вокруг амебы раскладывали стопки заранее подготовленных документов и следили в микроскоп, к какой из них будет протянута первая ложноножка. Если по каким-либо причинам не удавалось точно это определить, объявлялось всенародное голосование. На голосование каждый приходил со своей персональной амебой. В случае гибели амебы следовало предоставить в соответствующее ведомство свидетельство о смерти, копию паспорта, две фотографии амебы 3x4, две фотографии владельца 3x4 и справку об отсутствии задолженностей. Новую амебу гражданин получал в течение недели. Так как простейшие, невзирая на все усилия науки, жили недолго, в учреждениях были огромные очереди...

Здесь смерть и все связанное с ней считалось неприличным в самом интимном, пропитанном солоноватыми выделениями значении этого слова. При случайном упоминании о похоронах женщины краснели, а мужчины издавали понимающее хихиканье. Представители семьи, в которой кто-то недавно умер, в обществе чувствовали себя неудобно, связанные тайным стыдом. Матери и отцы старались вырастить детей порядочными людьми, чтобы они умерли попозже, предварительно достойно справившись с позором потери родителей. Зато даже для мнительных старушек неизбежность этого непристойного события была сродни неизбежности посещения туалета».

Тем же вечером беспокойная супруга автора А сообщила ему две вещи, одинаково взбаламутившие его прозрачное внутреннее спокойствие. Во-первых, она с неаккуратной ловкостью упаковщика наклеила на автора А призвание писателя. Во-вторых, несколько тетрадей были переданы новообразовавшемуся коллеге автора А, тоже писателю, уютно копошившемуся в редакции утратившего читателей журнала, среди стройматериалов, усохших рукописей, пугливых посетителей и вахтерши. Вахтерша снабжала обитателей редакции бутербродами. Измельчая зубами один из них, новообразовавшийся коллега должен был составить объективное мнение о тетрадях и затем доставить тетради и мнение автору А.

Почесывая высыхающее призвание, автор А робко усомнился в его истинности, хаотично рассказав супруге о губительных утяжелениях начала и конца и о хрупкости дополнительных миров, надолго тускнеющих после любых манипуляций. Однако женщина, охваченная приступом жизненной активности, не слушала автора А и разворачивала перед ним многоцветные перспективы. Автор А беззащитно улыбался в нежную бороду и деформировал под столом соломинку, вытащенную из хлебницы. Словесные конструкции, в которых он пытался закрепить сущность дополнительных миров, были слишком тяжелыми и с грохотом падали, не долетев до



супруги. Продолжая поиски необходимых формулировок и ощущая ненависть к своему речевому центру, автор А лег спать на три часа раньше обычного. Ему снились не имеющие отношения к происходящему геометрические фигуры.

Новообразовавшийся коллега автора А был родом из Вятки и напоминал ватку. Развернув перед автором А одну из тетрадей, в которой основы дополнительных миров были скорректированы черной гелевой ручкой, он говорил долго и округло. Его словесные конструкции тоже были слишком тяжелыми, и автору А удалось поймать только некоторые из них. Он узнал, что одарен воображением и ему следует работать. Деловитый коллега прямо на обеденном столе препарировал три зафиксированных в тетради мира и вытянул слегка неровную цепочку истории из четвертого, чтобы дать автору А наглядный пример.

— Но лишние утяжеления для них опасны... — шепнул автор А.

— У них нет цели, — сказал коллега и отсек зубами край невесомого пирожного, надеясь смягчить кремом тщечно организованную ангелами простуду.

Напряжение, придававшее организму автора А необходимую твердость и гибкость, внезапно ослабло. Он уловил, как с яблочным стуком начинают опадать окружавшие его дополнительные миры. Представляется затруднительным установить, что конкретно вызвало этот процесс — незапланированное закрепление автора А в роли неудачливого писателя, вмешательство жующего коллеги в медленное вращение дополнительных галактик или внезапно обнаруженная бесцельность их существования. Вероятно, свою роль сыграла каждая из этих причин. Автор А безмолвно следил за разрушением упраздненных вселенных, которые оказались лишь кисловатыми плодами его плохо выдрессированного воображения. Он также чувствовал, как из него выдувается прозрачный, тяжелый пузырь ненависти к несостоявшемуся коллеге. Махровые тетради в тот же вечер были выкинуты в жужжащий мусоропровод. Наиболее живучие дополнительные миры еще некоторое время досаждали автору А, слепо кидаясь на него, как мотыльки на лампу, однако довольно скоро и они исчезли, уступив место непривычно шершавой действительности. Следует отметить, что тяжелый пузырь ненависти автора А еще долго преследовал ваткоподобного коллегу, плохо сказываясь на его здоровье.

Последующие события в жизни автора А были немногочисленны и неприятны. Удовлетворяя желание супруги обитать отдельно от смиренных родителей, он поселился в вафельном окраинном доме, заполненном недорогими гражданами. Город растянулся цепочкой бессмысленных расстояний, которые следовало пережить в подземном поезде. Затем жена автора А куда-то делась, и он остался наедине с необъяснимо низким потолком и тихой работой, связанной с цифрами. По вечерам автор А пил желтое пиво и слушал, как кто-то впечатывает в его потолок хорошо развитые ноги. В единственной оставшейся вселенной ему было неуютно и твердо. Он страдал от чувства преждевременной старости и незаполненности существования. В довершение всех мелких бед автора А посторонний кот ржавого окраса повадился оставлять на его балконе свои бежевые чурчхелы. О своем жизненном положении автору А хотелось говорить стихами, точнее, одной строчкой, которую он вынес из упорно закрывавшегося томика с расплывчатой сиренью на обложке: «Все высвистано, прособачено». При слове «прособачено» автору А представлялась картонка, через дыру в которой с неизвестной целью продергивают серый беспородный хвост.

Однажды вечером холодный и размокший от употребленного пива автор А бесцельно наблюдал за тем, что происходило в припудренном светящейся пылью квадрате телевизионного экрана. Обычно экран демонстрировал автору А разноцветное счастье посторонних, вызывая одновременно ужас непричастности и печальное любопытство. На этот раз квадрат замкнул в себе несимметричное лицо известного фигуриста, который делился с посредственными зрителями секретами успехов. Произносимые фигуристом слова угадывались примерно за пять секунд до произнесения, поэтому автор А уже находился в состоянии полусна, когда у спорт-



смена спросили, что больше всего привлекает его в выбранной сверкающей профессии. После скоротечного раздумья фигурист сообщил, что ему нравится оставаться на льду тонкие белые следы коньков.

Автор А проснулся, уловив давно забытое золотистое позвякивание, и, чтобы закрепить в себе этот момент, с детским затаенным изумлением сказал:

— Вот оно.

Ему захотелось поделиться удивлением не только с крепкими ногами соседа, ритмично сотрясавшими потолок, поэтому автор А кинул тапком в балконную дверь, чтобы привлечь внимание хоронившего сегодняшние чурчхелы кота. Кот также удивился — впервые с тех пор, как был извергнут в окружающее пространство бездумной шерстяной матерью. Удовлетворенный автор А перевернулся на другой бок и перешел в состояние медленного сна.

Утром он обнаружил, что воспоминания о произошедшем расплывчаты и не имеют выступов, за которые можно было бы зацепиться, чтобы вытащить их на освещенный разумом участок. Однако автор А был уверен, что знакомый звук вращения миров возник именно после телевизионного ответа на не представляющий интереса вопрос. Поэтому дальнейшие его действия, спровоцировавшие негромкие дискуссии в кабинетах, коридорах и столовой, были логичны.

Вместо того чтобы приступить к взаимодействию с цифрами, автор А ходил по упомянутым помещениям и задавал вопросы. Он уточнял у скромных потертых коллег, как они относятся к погоде и собакам породы такса, почему пьют кофе и смотрят телевизор, каковы их впечатления об отпуске и что они обычно делают по вечерам после работы. Некоторые ответы — как правило, вырванные у наиболее неподготовленных и сломленных внезапным натиском — автор А записывал в растерзанный блокнот, со страниц которого на него с жалостью и укором взирали благоразумные списки продуктов. Когда предназначенная для проверки документов женщина сообщила, что, помимо жужжащих насекомых и высоты, боится также звука, производимого падающими на пол модными журналами, автор А обнял ее, сбив под блузкой монументальный лифчик, и поцеловал в сморщенную шею.

Выйдя из серого рабочего здания и почувствовав, как от оранжевого света фонарей неуловимо меняется цветовое восприятие, окрашивая окружающее пространство в сливочно-желтые тона, автор А просиял. В его животе бурлило вдохновение. Он все еще не мог постичь, по какой именно причине некоторые ответы на обычные вопросы, подобно раннеутреннему ветру, дующему со стороны океана на северо-запад, доносят до него звон и шуршание казенных за несуществование дополнительных миров. Но теперь он убедился в том, что достаточно легко может вызывать эти успокаивающие звуки. Сочась приятнью к окружающей среде, автор А приобрел пухлую сардельку для ржавого кота и дозу крепкого алкоголя для невидимого соседа. Теперь автор А осознал, что оба этих существа стремились побыстрее подвести его ко вчерашнему ослепительному открытию, различными способами лишая пагубного покоя. Впрочем, кот отсутствовал, а сосед не открыл волнующемуся автору А дверь, поскольку ранее сам обеспечил свой организм достаточным количеством напитков.

Испытывая радость от возвращенного позвякивания дополнительных галактик, кружение которых происходило теперь за пределами его высохшего от бездействия сознания, автор А увлекся странными ответами со страстью, которую он никогда не испытывал ни к жене, ни к непознанным женщинам в транспорте. В погоне за золотистыми звуками он задавал вопросы коллегам, попутчикам, дворникам, продавцам, водителям, пьяным подросткам, непонимающим детям и матерям, лицам строительных национальностей и бездомным. Несколько раз автор А получал телесные повреждения и пугал коллег синеватыми вздутиями на мечтательном лице. Монотонность работы, связанной с цифрами, перестала умиротворять автора А, он больше не ощущал благодетельного страха перед начальством, что приводило к недочетам и взысканиям.





Однажды, перемещаясь под землей из серого рабочего здания в вафельный дом на окраине, автор А с сочувственным интересом разглядывал тех, кто вместе с ним был втиснут в гремящую жестянку третьего с конца вагона. Напротив автора А помещался господин Н, приведенный сюда своими неисповедимыми путями. Небольшая рука господина Н была продолжена авоськой с продуктами, а сам он дремал, иногда поблескивая глазами белками в щелях щетинистых век. Господин Н не знал, что также заключил в третий с конца вагон девицу Т, оставлявшую на поручнях мутновлажные следы холодных от переживаний ладоней, неудачника Р, торопливо выписывавшего в блокноте бесконечную формулу лекарства от болезни Пика, и редактора Х, искавшего огненные письмена в рекламных текстах и названиях станций.

Ознакомившись с населением вагона, автор А более внимательно рассмотрел тех, кто не пребывал в состоянии полусна, не слушал музыку и не блуждал по страницам книг, сиюсь склеить разорванные тряской строчки. Его заинтересовали пассажиры, лишенные орудий быстрого времяпрепровождения. Пытаясь проследить направление их расфокусированных взглядов, устремленных в неизвестные глубины, автор А начал понимать. И в его мягком мужском животе вновь забурило вдохновение.

Покачившись в такт с соседкой, прозревавшей подслеповато-голубыми глазами неведомое, автор А склонился к ее пахнущим духами завиткам и спросил интимно и громко, чтобы не утонуть в туннельном шуме:

— Зачем вы ездите в метро?

— Чтобы наполнить землю звуком, — ответила застигнутая врасплох женщина, после чего посмотрела на автора А сфокусированно и возмущенно.

Но автора А она больше не занимала, поскольку он понял окончательно. Умчавшийся в прошлое ваткоподобный коллега ошибся, как, впрочем, и сам автор А. Дополнительные миры, кружившиеся в недрах его плодородного сознания, были лишь отблесками, которые обладали цветом, звуком, вкусом и весомостью елочной игрушки. Истинные же посторонние галактики существовали снаружи, и их видел не только автор А, но и другие люди, в задумчивости и дреме примеряющие на себя законы иных миров. Бессознательно приняв китообразное допущение, на котором покоился случайно замеченный мир, они давали ответы, логичные там, но не здесь, и чуткий автор А слышал победный звон доказанного существования.

Стоит отметить, что спустя два года возмечтавший распылить свою радость по данному конкретному миру автор А отнес в издательство удручающе пухлый экземпляр книги, доказывающей существование иных галактик. Экземпляр был понят неправильно, однако принес автору А некоторую известность и деньги, на которые тот произвел в своей квартире косметический ремонт и улучшил звукоизоляцию. Но мы намерены оставить автора А в момент наивысшего удовлетворения жизнью, который наступил значительно раньше.

Извергнутый метрополитеном автор А стремительно шел на запад и жадно воспринимал окружающую действительность. Он видел, как вокруг передвигались многослойно укутанные старухи, неприметные отцы и матери семейств, почти высосанные растущим потомством, возбужденные бытием подростки, подкопченные приезжие, короткие дети, серые служащие, стандартно оформленные представители субкультур и правоохранительных органов, медведеподобные начальники, юркие подчиненные, заткнутые музыкой юноши в полосатых шарфах, заросшие плотью женщины в горошек, неуютно пахнущие мужчины в полоску, содержатели кошачьих и псовых, нежно-бледные компьютерные мальчики и поджаристые девы. И вокруг каждого, питаемые их рассеянным вниманием, с золотистым позвякиванием вращались дополнительные миры, подобно крупнопузырчатой мыльной пене заполнявшие собой все существующее пространство.

— Люблю, — признался пространству автор А.

— Кого? — спросили любопытные.

— Не знаю, — отмахнулся автор А, который ценил ответы, а не вопросы, и побежал дальше, глядя нежной бородой воздух.



## Кроткая О и совершенство

Имя кроткой О мы называть не станем, потому что она его очень стесняется. Оно кажется кроткой О слишком совершенным — плывущим, нежным и хрустяще-снежным, как балерина, декорированная лебединными перьями. К сожалению, кроткая О обладает развитым воображением и, представляя себе все это нестерпимое великолепие, апоплексически краснеет и вся замыкается, захлопывается, до тягучей судороги сжимая кулачки и все свои теплые, розовые отверстия.

С раннего детства кроткая О имела репутацию очень робкого ребенка — сперва в кругу семьи, а потом и в пыльном дворе, где трава почти не росла, а дети чертили закорючки прямо на земле, обходясь без мела и асфальта. Маленькую О пытались подбодрить и поддержать, чтобы она осмелела — ставили на табуретку читать стишок перед потеющим Дедом Морозом, оделяли лучшим куском деньрожденного торта (с розочкой), хвалили перед посторонними, наряжали по праздникам в платья с оборками, рюшами, кружевом, колочей тесьмой, рукавами-«фонариками» и прочими жуткими штуками, жадно впивавшимися в мягкую кожу. Взрослые с трепетом и восторгом начинающего энтомолога ждали, что маленькая О раскроется, вылетит из кокона своей стеснительности прекрасным уверенным махаоном. Однако происходило нечто совершенно обратное — сломленная атакующими по всем фронтам вниманием, красотой и дружелюбием, ослепленная жгучим сиянием совершенства, в которое они ловко складывались, маленькая О убежала в свою комнату и трубно там ревела, болтая в воздухе ножками.

Страх перед совершенством, в детстве еще не осознаваемый, а лишь болезненно чувствуемый, с годами разросся, оплетя собой всю небольшую и довольно милую личность кроткой О, остепенился и даже приобрел некоторую теоретическую базу. Во-первых, кроткая О понимала, что на совершенство она просто не имеет никаких прав. Во-вторых, рядом с этим обжигающим божеством она чувствовала себя особенно незначительной, глуповатой, трусоватой и толстоватой, предназначенной для мелких, малоинтересных дел где-нибудь в жизненной тени. В-третьих, кроткая О постоянно ощущала присутствие других — смелых, ответственных, с компьютерной скоростью думающих людей, сотворенных кем-то мудрым, но не очень справедливым, именно для того, чтобы обладать совершенством. И кроткая О боялась, что эти прекрасные создания заподозрят ее в посягательстве на их собственность, и как-нибудь неопределенно, но ужасно накажут. Или в погоне за совершенством ее, случайно оказавшуюся рядом, просто затопчут, как на слоновой тропе. Ну и, в-четвертых, кроткая О считала, что обладание даже самым крохотным совершенством предполагает необыкновенную ответственность, к которой она была совершенно не готова.

Впервые пойдя в школу, кроткая О не села за одну парту с девочкой, у которой был самый красивый в классе бант (белый, с серебристыми узорами), и намеренно позволила бурлящему потоку первоклассников пронести ее чуть дальше и притиснуть к другой соседке, настороженной, черноглазой и с бородавками на пальцах. С ней, старательной и средней по всем показателям, кроткая О и дружила до окончания школы, позволяя списывать и трогательно переживая, когда подружка бессловесно страдала у доски.

Маленькая О радовалась спокойным носатым четверкам и опасалась пятерок, которые, казалось, были готовы ее, дерзнувшую, хлестнуть по рукам своим надменным хвостиком-хлыстиком. Единственной, полученной в первом классе похвальной грамотой кроткая О, дрогнув от испуга, порезала мизинец, и почетную бумагу, умиротворенную кровавой жертвой, убрали подальше в ящик секретера. Мама хвасталась грамотой перед родными и друзьями потихоньку, когда маленькой О не было в комнате, чтобы не спровоцировать очередной приступ трубногo рева.

Кроткая О любила собак, но они были слишком совершенны в своей преданности, беспредельном обожании повелителя и почти человеческой сообразительности.

Чувствуя, что не имеет права на собаку, кроткая О рано и упорно стала утверждать, что предпочитает кошек. Кошки равнодушно смотрели на нее своими круглыми инопланетными глазами, царапали при случае, метили ее скромные туфли и только изредка подходили, чтобы почесать об нее ухо или мордочку. Тем не менее кроткая О уговорила маму приобрести для нее черно-белого котеночка, втайне надеясь воспитать из звериного младенца нечто, похожее характером скорее на собаку, но не столь совершенное. Котенок оказался с дефектом — у него от рождения не было части хвоста — и кроткая О, увидев это, мелко задрожала от радостной приязни к животному.

Кот царапал маленькую О, выл безнадежным голосом по ночам и все-таки дрессировался. Он научился прибегать на свист и приносить брошенный мячик, останавливаясь по дороге и сжимая челюсти, чтобы задушить эту круглую прыгающую мышь. Более того, он овладел искусством приносить тапочки — правда, по одному, напряженно волоча слишком тяжелую для него ношу по полу. На этом собачечь коты исчерпывалась. Эксперимент по превращению в представителя иного вида не прошел для него бесследно — всю свою жизнь животное, исправно метя территорию и раздирая обои, прожило с очень удивленным выражением на меховом лице.

Невзирая на все ухищрения, кроткой О удалось окончить школу с оценками, которые внушали родителям оптимизм. Оптимизм оказался бесплодным, поскольку кроткая О впала в оцепенение, едва увидев пронзающее своим совершенством облака здание учебного заведения, в которое родители, полагаясь на природные способности дочери и некоторые связи, надеялись ее устроить. Каждый идеальный угол, каждая строго поблескивающая гранитная плита смотрели на кроткую О с кошачьим равнодушием, безмолвно сообщая, что они созданы для людей иного сорта, не согласных на заранее выбранную ею серенькую жизнь. Кроткая О постояла немного перед готическим трезубцем, возносившим одаренных и необыкновенных в карьерную стратосферу, и безропотно упала в обморок.

Нервную девочку пришлось устроить в другой вуз, в котором из нервных, бедных, неуспевающих, неприкаянных и просто мечтающих вернуться обратно в школу девочек выращивали учительниц. Кроткая О осталась довольна: совершенство и близко не подходило к этим стенам, его здесь, кажется, считали непедagogичным. Только из телевизора и необходимых классических книг били порой знакомые жгучие лучи, но кроткая О чувствовала себя в относительной безопасности, отделенная от совершенства в первом случае пространством, а во втором — временем.

Кроткая О не ходила в парикмахерскую — давно освоенную стрижку, вышедшую из моды примерно одиннадцать лет назад, ей делала спокойная и доброжелательная мама. Придать птичьую яркость своей малозаметной, как будто слегка размытой внешности кроткая О тем более не стремилась. В магазинах одежды она тихо радовалась, увидев торчащую из платья нитку или неровный шов на кофточке, и по возможности старалась купить такую вещь. Даже в овощных рядах она старалась выбрать яблоко с пятнышком и истекала жалостью к помидору с побитым бочком.

Витрины ювелирных магазинов, издавек колотившие ее сиянием металлического, гладкого и неумолимого совершенства, кроткая О обходила стороной. К счастью, магазины вообще устроены мудро: те, в которых продавалось дорогое, идеальное, пахнущее диким зверем и заморским деревом, всегда так ярко сверкали зеркалами и отполированными поверхностями, что кроткая О сразу понимала — сюда ей заходить не стоит.

Но однажды губительная притягательность совершенства все-таки подействовала на кроткую О. В обществе очередной незаметной подружки, учительницы истории, кроткая О гуляла по торговому центру, спасаясь от жары в искусственной прохладе. Они заходили в магазины, обещавшие оглушительные скидки на дешевые вещи,



сшитые торопливыми желтоватыми ручками. Кроткая О любовно пробежала пальцами по кривому шовчику, вмятине, оставленной пропавшей пайеткой, банту, венчавшему своей нелепостью почти совершенное платье. Она даже купила треснувшую у горлышка вазу — длинную, изогнутую стеклянную трубку для тонких и высоких цветов, которые ей никто не дарил.

И вдруг кроткая О и ее подруга одновременно, повинувшись воле незначительного маркетолога Феди, взглянули на витрину магазина сумок. Там были сумки пляжные и сумки зимние, с меховыми хвостиками, сумки вместительные и сумки крохотные, в которые можно было положить разве что мобильный телефон. И над всем этим, вознесенная особой подставочкой, парила самая дорогая сумка, мягкая снаружи и прохладно-скользящая внутри, украшенная, отделанная и простроченная именно там, где это необходимо, и слегка стилизованная под ретро. Возможно, последний пункт оказался решающим для кроткой О, которая ценила устаревшее наравне с дефективным. Она впиалась взглядом в идеал из натуральной кожи, чувствуя, что вот-вот стогрит в пламени совершенства, и останется, как в сказке Андерсена, лишь честное и жалкое оловянное сердечко. Или того хуже — она, кроткая О, купит на все имеющиеся деньги, которых, как назло, хватает, эту сумку, и тогда... Что будет «тогда», кроткая О старалась не конкретизировать, но она знала — это будет катастрофа, крушение жизни, самосожжение индийской вдовы, и, кроме того, у нее закончатся деньги, а следующей зарплате ждать еще долго.

Подруга восторженно щебетала, воспроизводя руками в воздухе контуры сумки и сетуя на то, что идеальный предмет так непоправимо дорог. Совершенство влекло кроткую О, как дачный фонарь влечет пушистых бабочек-«совок».

Кроткая О зашла в магазин и нежным, мелодичным голосом, по которому продавцы безошибочно определяют небогатых покупательниц, попросила сумку.

— Какую сумку? — одновременно и учтиво, и пренебрежительно уточнил продавец.

Кроткая О повела его к витрине. Скромная, уютно затененная жизнь дрожала и осыпалась, как вересковый холм при землетрясении.

— Эту, — сказала кроткая О и, собрав оставшиеся силы, заставила свою руку слегка отклониться влево. Рука указала на сумку, лежавшую у подножия совершенства: распродажную, прошлогоднюю, милую, с трогательным сюрпризом внутри — прорехой на подкладке.

Работала кроткая О учительницей начальных классов. Она тихо радовалась и небольшой зарплате, и тому, что в таком раннем возрасте у детей редко проявляется совершенство ума, души и уж тем более — тела. Со своими учениками она обращалась бережно и ласково, и только с некоторыми, самыми умненькими, самыми хорошенькими, проявляла особую осторожность, точно это были не дети, а раскаленные утюги или кипящие чайники. Кроткую О считали терпеливой, незлобивой и немного чудной. Впрочем, завуч Клавдия Петровна, имя которой мы приводим полностью в надежде на то, что она прочитает и ей станет стыдно, называла кроткую О юродивой.

Безропотная и не требующая финансовых вложений О могла бы стать прекрасной женой для пугливого господина Н или скромного автора А. Но ангелы бдительно оберегали кроткую О от встречи с ними, опасаясь возникновения идеального союза.

Кроткая О, съехав от родителей, жила одиноко, в окружении кактусов, которые за нетоварный вид и категорическое нежелание цвести продавали за полцены; пары декоративных крыс, злых и бесплодных, потому что пара эта волею судьбы оказалась лесбийской, и вещей, в которые кроткая О влюблялась с первого взгляда за их уязвимое несовершенство. Эти вещи она приобретала в дешевых магазинах, на рынках и на ярмарках, забирала у знакомых, которые как раз намеревались выкидывать старый хлам, и даже находила на улице. Стулья у кроткой О были скрипучие, или с



протершейся обивкой, или с больной ножкой, которая все время разбалтывалась и ее надо было укреплять. У заварочного чайника треснул носик, и заварка всегда немного проливалась. На столе сын приятельницы когда-то расписался выжигателем по дереву: «Коля бубу». Еще у кроткой О был черный телевизор с серым, от другой модели, пультом, люстра с зияющим дуплом на месте одного плафона, немного кособокий книжный шкаф, полное собрание сочинений Ленина, которое никто не хотел читать, проигрыватель для грампластинок, которые никто не хотел слушать, деревянный орел из Гурзуфа с трещиной на гордом крыле и много-много других вещей, травмированных долгой жизнью или сразу появившихся на свет слегка дефективными. Каждый раз, видя нечто, обладающее небольшим дефектом, кроткая О озарялась улыбкой и радостно думала: «Мое...» Но вещи откровенно, безнадежно неполноценные ее смущали: она чувствовала, что несовершенство, перейдя определенную грань, легко может стать совершенным.

Кроткая О быстро научилась подлечивать своих любимцев, когда они уже совсем приходили в негодность, и обзавелась необходимыми реставратору-любителю инструментами и материалами. Ту трещину, царапину, выщерблинку, которая и стала причиной любви к предмету, кроткая О всегда оставляла в первозданном виде.

Возможно, в дальнейшем кроткая О могла бы стать профессиональным реставратором, чтобы выравнивать и лакировать старые вещи, а не молодые мозги своих старательных учеников. Но резко менять свою жизнь позволено только расчетливым и ловким счастливчикам. Возможно, ей бы даже удалось со временем открыть свой магазин антиквариата. Но и это было предназначено для других — прекрасных и ответственных, с рождения умеющих управлять сложнейшим многосуставчатым механизмом, который носит змеиное имя «бизнес». Кроткая О боялась, что ее затопчут, и, возможно, в этот раз была права.

Казалось бы, все в жизни кроткой О предвещало, что умрет она сухонькой, жалостно-улыбчивой старой девой. Ангелы даже заранее вычеркнули ее из списков продолжателей человеческого рода. Но однажды, стоя возле книжного развала и ласково глядя страницы второго тома трилогии «Братья Бушуеты», одинокого и ущербного, кроткая О неожиданно стала объектом внимания молодого человека в свитере. Молодой человек обладал очками, отшельнической бородкой, робким взглядом, спелым прыщом на носу и другими признаками невестребованности. Он сделал несколько кругов вокруг лотка с книгами, прежде чем решился приблизиться к кроткой О. Все мягкое, нежное, миловидное и непритязательное, что он смог разглядеть в кроткой О вопреки, а может, и благодаря своей сильной близорукости, тихо и упрямо тянуло его к этой женщине, упакованной в строгую учительскую одежду.

Старательно избегая визуального контакта, они познакомились. Обменялись номерами телефонов и при звонке каждый раз деликатно покашливали, прежде чем сказать «алло». Несколько раз прогулялись по кривым переулкам старого центра. Кроткая О никак не могла запомнить в деталях непримечательную внешность своего поклонника, и он представлялся ей неким сочетанием очков, бороды, свитера и побелевших джинсов. С наступлением теплого сезона кроткая О впала в отчаяние: привычный свитер сменился рубашками и футболками, и на каждом свидании она боялась, что не узнает своего друга. Однако где-то между седьмым и одиннадцатым поцелуями она наконец запомнила, как он выглядит. У него не было одного переднего зуба, он картавил, мокро и плохо целовался и носил, помимо очков, нелепое имя Геннадий. Кроткая О смотрела на него с тихой приязнью и думала: «Мое...»

Серьезных разговоров они не вели и обещаний не давали, ходили в театры, кино, магазинчики забытых вещей и иногда — друг к другу в гости, где смущенно, выключив свет и зарывшись под одеяло, проводили совместную ночь. Ни кроткая О, ни Геннадий не ощущали жгучей влюбленности или испепеляющей страсти — тем более что оба с детства боялись испепеляющего и жгучего, — но Геннадий



подарил подруге большое старинное блюдо с прекрасной трещиной и, кажется, был не прочь жениться. Конечно, не сейчас, а спустя некоторое, не очень определенное время.

Неожиданно среди всего этого размеренного, плавного, умиротворяюще несовершенного грянул гром. Он грянул не с ясного неба — шел летний дождь, потоки воды разливались по бугристому асфальту, группки прохожих скапливались на берегах луж, примериваясь, как бы половчее перепрыгнуть, джентльмены, закатав брюки, переносили своих нелегких дам. И в это время ангел-стажер, позднее получивший выговор за склонность к неуместным шуткам, решил, что будет очень забавно, если кроткая О, поскользнувшись, с плеском упадет в лужу прямо на глазах идущего следом незнакомца — блондина с мощным трапециевидным торсом. По блондину издали было видно, что все его удачно вылепленное тело постоянно распирает громкий, добродушный смех, готовый по любому поводу вырваться наружу. Ангел-стажер очень хотел услышать этот смех, поэтому подстроил все так, чтобы широкая длинная юбка кроткой О задралась до самого лица, обagrившегося стыдом еще в полете.

Кроткая О барахталась в луже тугим мокрым коконом, из которого торчали бледные ноги. Ступни у нее были маленькие, тридцать пятого размера, совсем как у пугающе совершенной Золушки, поэтому кроткая О старалась покупать обувь на размер-два больше. Промокшие балетки сразу же слетели, а кроткая О беззвучно плакала от бессилия и позора, пытаясь выпутаться из облепившей ее юбки и болтая в воздухе ногами — как в детстве.

Распираемый смехом блондин совершенно не оправдал надежд ангела — на секунду он застыл в восхищении, глядя на эти нежные, с округлыми коленками и крохотными ступнями, прекрасные, в сущности, ноги. Будучи выпускником института физкультуры, он высоко ценил телесную правильность. Затем он извлек кроткую О из лужи, помог ей вернуть юбку в приличное положение и повел к себе домой, уверяя, что без необходимого просушивания и прогревания она незамедлительно заболит. Сердобольный незнакомец жил неподалеку от места катастрофы.

Если бы кроткая О изначально знала, что обладает совершенными ногами, это стало бы для нее личной трагедией — вроде наследственной, коварной и в чем-то неприличной болезни. Но добрый прохожий так и не сказал ей об этом. Он увидел в кроткой О то же, что различил ранее близорукий Геннадий: мягкость, миловидность, нежность и непритязательность. Вымытая и распаренная, завернутая в хозяйский халат, О сидела на кухне, благодарно пила чай с коньяком, сохла и расцветала, как ирис после дождя. Она искренне полагала, что учительская непривлекательность защитит ее от домогательств хозяина и иных противоправных действий, да и вообще от природы была не только кротка, но и доверчива.

А хозяин смотрел на нее и ощущал в своей простой и понятной душе некие теплые шевеления. То ли во всем были виноваты нежные ноги с золушкиными ступнями, то ли кроткой О необыкновенно шел махровый мужской халат, то ли побочным эффектом шутки ангела-стажера стала неконтролируемая вибрация какой-то крохотной шестеренки в механизме Вселенной, то ли по кухне пронесся, подобно сквозняку, отголосок очередного неосознанного решения, принятого именно сегодня господином Н. Кроткая О вдруг показалась мощному незнакомцу принадлежащей к той немногочисленной породе женщин, к которым хочется присматриваться, изучать подробности их облика, пока мелкие милые детали не сложатся в общую картину водянистой, недоступной праздному взгляду красоты.

Хозяин квартиры и халата был между тем красив доступно и даже, по мнению кроткой О, чрезмерно. Он был густоволос, голубоглаз, а все, что находилось ниже чуть квадратного лица, представляло собой гармоничную, масштабную композицию из мускульных бугров, мужественных изгибов и углов, а также некоторого количества кубиков. И от жгучих лучей совершенства, которые продрогшая О ощу-



тила с некоторым запозданием, она раскраснелась гораздо заметнее, чем от чая с коньяком.

Кроткая О не сорвалась с места и не убежала с жалобным криком, даже когда узнала, что хозяин квартиры помимо других необыкновенных достоинств обладает именем Святослав. Святослав был смешлив и немногословен, испускаемое им сияние, кажется, можно было какое-то время терпеть, кроме того, кроткая О не была избалована вниманием противоположного пола. И особенно — вниманием подобных его представителей. Она чувствовала, что замороженно летит на яркий огонек совершенства, и он вот-вот обожжет ее мягкий носик.

Прошло несколько недель после знакомства. Святослав ворковал вокруг кроткой О — как голубь вокруг своей серенькой избранницы. Называл, правда, не птичьими — «зайкой». У нее в гостях он восхитился ее любимыми вещами, даже теми, которые в данный момент проходили курс лечения, отметил все трещинки и сколы как признаки благородной старины, подразнил крепким пальцем захрипевшую от ярости крысу (ее партнерша не так давно скончалась) и назвал обитель кроткой О «антикварной». На следующий день он, смеясь от радости, подарил кроткой О отвратительный в своей целостности и новизне деревянный подсвечник и золотые серьги. На серьги, маленькие и остро поблескивающие, кроткая О долго смотрела с недоумением, а потом впервые в жизни пожалела, что у нее не проколоты уши.

Святослав принял недоумение за восторг и стал помимо букетов ненатурально красивых роз дарить кроткой О дорогие украшения. Он был убежден, что она стала учительницей, чтобы бескорыстно приобщать, сеять и взращивать, и пытался за свой счет привнести в ее жизнь блестящее. Сам Святослав был достаточно ответственным и смелым, чтобы управлять змеиным механизмом бизнеса. По вечерам кроткая О надевала блестящие подарки перед зеркалом и долго смотрела на себя — изменившись, окруженную непривычным сиянием.

Близость совершенства уже не пугала, а одурманивала кроткую О. В театры они не ходили, зато побывали на футболе, где бледная и растерянная О даже переживала за какую-то команду, хотя так и не смогла разобраться, где чьи ворота. Святослав болел бурно, вскакивая и обнимая кроткую О, которая в эти моменты вдруг становилась счастливой.

Потом новый поклонник, которого кроткая О даже в мыслях боялась, но очень хотела назвать возлюбленным, подарил ей новую крысу — толстенную, ручную и велюровую на ощупь. Старая крыса решила ее убить, так что пришлось купить вторую клетку, чтобы противоположности жили по отдельности. Святослав хохотал и называл крысу-старуху почему-то «графиней».

А потом кроткая О вспомнила о Геннадии, который сначала называл ее, а спустя неделю обиженно затих. И совесть набросилась на нее, как облезлая крыса на соперницу.

Кроткая О позвонила Геннадию, чтобы рассказать, что теперь у нее есть Святослав, и она в замешательстве, она одурманена и не знает... Геннадий тихо картавил о том, что понял, чувствовал, а потом вдруг тонким голосом вскрикнул: «Или он, или я!»

Кроткая О была женщиной не только совестливой, но и последовательной. Она также позвонила Святославу, чтобы рассказать, что раньше у нее был Геннадий. Святослав посмеялся, пожурил ее и назвал «ловелаской», но внушительно добавил, что вторым он не был никогда, даже на соревнованиях в институте.

Кроткая О отчего-то заплакала, погладила старинное блюдо с прекрасной трещиной, приложила к девственным ушкам золотые серьги и позвонила маме. Мама долго, с плохо скрываемой гордостью, отчитывала дочь за любвеобильность. И, выслушав характеристики обоих поклонников, велела брать Геннадия, а сияющего Святослава назвала в волнении «не нашего поля яблочком».

Целый день кроткая О размышляла — напряженно, до боли в маленькой, аккуратной голове. Потом размышляла целую ночь. Она вспоминала приятные прогул-

ки, походы в театр и на футбол, свитер и трапециевидный торс. Вспоминала каждый разговор, уделяя особое внимание отдельным словам и характерным выражениям, ныряя в них, удивляясь красоте смысловых узоров и снова просыпаясь. Целомудренно сжимая нежные розовые отверстия, вспоминала моменты максимальной близости. Смотрела на контуры любимых пожилых вещей и слушала, как грызут свои клетки крысы, стремясь к неведомой свободе.

А наутро она выбрала. И уже через три месяца прижималась к жениху шелковым скользким боком, пока перехваченная красной лентой дама выпедала им про торжественный день и новую ячейку.

«И ничего страшного, — утешала себя кроткая О, умиленно глядя на то ли еще жениха, то ли уже супруга, который, сосредоточенно оттопырив сочную губу, надевал ей на палец кольцо. — Он же у меня такой глупенький».

То, что Святослав, при всех своих пугающих достоинствах, обыкновенный, яблочко круглый, веселый дурак, открылось ей в ночь мучительного выбора. И кроткая О сразу успокоилась, доверившись этой радостной догадке.

Супруги прожили в браке достаточно долго и произвели на свет двоих детей, которые умом пошли в отца, а красотой — в мать. Таким образом, ангелы уберегли кроткую О от ненужных душевных метаний. Союз кроткой О и глуповатого совершенства завершился, разумеется, разводом — как и предрекла дочери опытная мама, Святослав нашел себе другую, молодую и с еще более восхитительными ногами.

А кроткая О, как и мечтала, занимается мелкими, незначительными делами в жизненной тени, собирает и лечит травмированные вещи и радуется скромным успехам своих детей, никакими особыми талантами не отмеченных. Она снова завела кошку, которая относится к хозяйке презрительно. У кошки только один глаз, и она упрямо рискует остатками зрения, грызя кактусы, которые у кроткой О, как всегда, цвести отказываются наотрез.





Даниил ЧКОНΙΑ

## ИЗ КЁЛЬНСКОГО ДНЕВНИКА

\* \* \*

Вот облаков небесных рать,  
Безвестная доньне,  
Намерилась меня карать  
За мелкий грех унынья.

Сижу над тихою строкой,  
Над медленным строеньем  
Строки, над тихою рекой  
И вод её струеньем.

И в этих близких небесах  
Отсвечивает пойма.  
Там взвешивают на весах —  
Там я раскрыт и пойман.

Живя на быстрых скоростях,  
Меняю обстановку.  
Пусть облака меня простят  
За эту остановку.

\* \* \*

Иллюминаторы — что золото медали. Аэропорта  
застеклённая стена. Вам, улетающим, чего-то недо-  
дали, нам, провожающим, вся будущность темна.  
Вот набирает высоту земная долька. Она растает  
через миг, и — не гляди вослед взлетевшему, не гля-  
дывайся, только ещё пытайся угадать, что — впе-  
ре-ди. Твои догадки всем расставшимся едва ли помо-  
гут прошлого вернуть весенний блик... Чего наду-  
мали, напели, наваяли — теперь осмысливай, но  
выбор невелик.

Гул оголтелый над бредущими глумится, они рас-  
ходятся куда-то в никуда... Стальная птица — за дру-  
гой — взлетают птицы, и свет небесный ловит их,  
как невода.

### ФОТОХУДОЖНИК

Тайны — как видеть — не выдав,  
 Тенью сгоравшего дня  
 Высветил Додик Давыдов  
 И приукрасил меня.

Высветил в гаснущем свете,  
 Занавес не осветив.  
 Вижу я в этом портрете  
 Прошлого грустный мотив.

Небыли-беды, обиды,  
 Времени выгул и гул...  
 Додик — лукавец! — Давыдов,  
 Ты меня не обманул.

\* \* \*

Становились ложными слова, но зато не сложными — умора! Наболтала, наплела молва: тут тебе Содом, и тут — Гоморра! Выйди на вечерний ветрогон, ветра против плюй — и вся отвага. А потом доплёвывай вдогон: стерпит всё привычная бумага. Столько было непохожих лиц, и предупреждали их пророки... За окном мелькание синиц разбавляет полдень одинокий.

### БАЗАРНЫЙ ТОРГАШ

Он вечно приговаривает: брат мой! А облапошить всё же норовит. Грозится, мол, на родину обратно уедет. А пока — душа горит. Он — узелок, затянутый втугую. И тычется в слепые тупики.

И сочинить судьбу себе другую ему, как видно, вовсе не с руки. И смех его, такой ненастоящий, и плач, не составляющий труда... Он и живёт, как будто ворон спящий. И смотрит он куда-то в никуда.

\* \* \*

О чём-то токуют колёса,  
 Толкуют, на стыках стуча.  
 Выходит луна из-за плёса,  
 Туман за собой волоча.

Тускнеет ночная ограда.  
 И веток обломанных хруст  
 До нас долетает из сада,  
 Который по осени пуст.

Гудит на мосту электричка.  
Кого она хочет увлечь?  
Какая дурная привычка —  
Тянуть стихотворную речь.

Пускай это вовсе не поза —  
Стремление выловить звук.  
Но даже суровая проза  
Песком вытекает из рук.

\* \* \*

Гулянье осенней заразы  
Тебя пробрало до кости.  
И ночи пусты и безглазы,  
И сердце зажато в горсти.

Но свет потолочную фреской  
Вдруг выдернет: прочь ото сна!  
От всплеска до нового всплеска  
Надежды  
стучится весна.

### ВОЗВРАЩЕНЬЕ

Можно письменно и устно говорить о том,  
что глядится очень грустно опустевший дом.  
Что весну ломает ветер, что твердеет наст, что  
мужик башкою вертит, крепок, коренаст. Мне-  
то что, признаться честно, в этом мужике!  
Мне, конечно, неизвестно, что в его башке.  
А гадать — что пальцем в небо тыкать — не  
резон. Вижу, взглядываясь немо: неприкаян он.

\* \* \*

Ветер бросил горсть песка,  
И не оттого ли  
Показалось: смерть близка  
До сердечной боли?

Но ещё один порыв  
Ветра, злой и свежий,  
Мне шепнул: до той поры  
Ты ещё и не жил!

Понапрасну не пеняй,  
Не ругай погоду...  
Понял, хватит для меня  
Молока и мёду!

И пошёл я вдоль волны,  
Бережной, прибрежной,  
Вдоль взбухающей весны  
В сердце, в песне нежной.

\* \* \*

Что поразительно — там, на краю земли, где, что ни утро, чистые пороши. Они воспоминанья намели, и ты мне написала: мой хороший! И мне, как прежде, светит этот свет. Годами понапрасну вьюга выла. Прошло так много быстротечных лет... Обратный адрес написать забыла.

\* \* \*

Упаду лицом в ладони, я когда-то говорил. Видно, утлый чёлн не тонет, жить ещё хватает сил. Я, наверно, бестолково эту жизнь свою живу. Но ещё мне снится слово, снится будто наяву, будто всё-таки случится, и старанья не пусты... Где-то слово волочится, продираясь сквозь кусты.

\* \* \*

Свет и зелень, хлорофилл, ряд деревьев ветхой... Я тебя не подловил на идее ветхой. Соблюдая свой режим до конца недели, не зови меня чужим — что с тобой мы делим? Или я уже немой, будто порешили, или день-другой — не мой, не ко мне пришли. Говорю, закройте рты, гнусные зеваки! Говорю, не верь им ты, всюду-всюду враки. А кровинка на губе — горькая калина. Снится, вдовая, тебе на могиле глина.

\* \* \*

Они сидят растерянно в гнезде.  
Они — птенцы сияния дневного.  
Но к полуночной тянутся звезде  
И пробовать крыло готовы снова.

Полёты начинаются с утра.  
Усталые снимаются с орбиты.  
И встречные весёлые ветра  
Снимают накипь с крыльев, как сорбиты.

И с высоты слетают голоса —  
Какую песнь из каждого исторгла.  
Луна, река, окрестные леса —  
Испуг не пересилит их восторга.

Юрий БРИГАДИР

## ПРАВИЛА ВОЛЧАТ

П о в е с т ь \*

*Око за око — и скоро весь мир ослепнет.*

**Граффити где-то в Англии**

0.

Тридцать пять лет назад я последний раз в своей жизни сдавал экзамен по физике. Более нелепого занятия я вообще не припомню. Ничего, ровно ничего из того, что я тогда мучительно запоминал, никогда и нигде в реальной жизни не пригодилось. Сдал я где-то в полдень, а часам к девяти вечера половина формул была утоплена в алкоголе. В течение, наверное, месяца благополучно умерла почти вся вторая половина и только одна какая-то особенно муторная последовательность символов болталась в голове еще с год, пока я не упал с мотоцикла... Без физики я чувствую себя прекрасно до сих пор. Для меня это так и осталось баловством, вроде балета или шахмат: явление вроде бы есть, а толку с него — ноль.

Честно говоря, сам факт сдачи экзамена я бы даже не вспомнил через столько лет, если бы не одно обстоятельство — на сдаче я напрочь забыл формулу из третьего вопроса, красивую такую, строгую и логичную. Я пытался задействовать зрительную, моторную и ассоциативную память, даже незаметно лег примерно в ту же позу, в которой запоминал проклятый набор букв и цифр, за что сразу получил замечание. Я мысленно листал страницы учебника, но восстановить смог только два абзаца первоклассного беспросветного тумана. Я вспоминал, что делал в тот момент, пил ли кофе или трескал пельмени; был ли это вечер, ночь или вообще утро; был ли кто-то рядом или во Вселенной оставался я один... Все было напрасно. Решив, что на тройку я выйду даже без сознания, а четверка натянется само собой с помощью ораторского искусства, я виртуально плюнул, встал и... сел обратно за парту.

Экзаменатор вопросительно посмотрел на меня, а я жестом показал, что меня осенило, и судорожно схватился за ручку. Осенило меня на самом деле: я вдруг вспомнил, как бесился, запоминая эту стройную, бесполезную формулу, как скрипел зубами и ругал матом трехмерное пространство. Ярость как раз и помогла мне. Достаточно было только восстановить то ощущение бессмысленной злобы, пустоты и отчаяния.

Если попросить меня складно аргументировать, я отвечу, что это так же осуществимо, как сделать чертеж вот той радуги, вид сверху. Не будет у меня никаких

---

\* Журнальный вариант.



аргументов. Их попросту не существует. Но я могу попытаться озвучить, так сказать, гамму чувств. Объяснять на уровне эмоций не в пример проще, потому как эта сфера нам ближе, чем идиотская физика. Можно ведь не помнить содержание учебника, но вдруг проникнуться той ненавистью, которую он у тебя когда-то вызывал — и вдруг без запинки, буква в букву, цифру в цифру, повторить формулу.

Это эмоциональная память. С помощью нее я впитываю кармическую грязь, разлитую во Вселенной, информационную липкую отраву, кровную ненависть, выношенную веками злобу, бескрайний депрессняк, а более всего — жесткое безразличие к другим и желание быть всенепременно любимым. С какого такого бодуна, интересно?..

Экзамены я сдаю все реже и реже. Когда-нибудь у меня случится последнее в текущей жизни испытание, а потом останется только врать внукам о том, каким я был умным и красивым. Тут вообще с моей стороны без проигрыша, потому как они меня в молодости из блевотины не доставали, так что я для них все равно буду немного святой и сильно маразматик.

Но я-то умру в шезлонге, окруженный миниатюрными тайками, а мир — он останется! С этой вот эмоциональной памятью, частной и общей. Тут Юнг наверняка бы меня поправил и изобрел бы термин «эмоциональное бессознательное».

Знаете, что он мне напоминает, этот современный мир? Фильм ужасов, в котором кодла энергетических вампиров вдруг поняла, что жрать-то нечего! Получилось так, что чистая родниковая энергия кончилась мгновенно и без предупреждения, как кончается вода в колодце. Ушла — и все. И нечем напиться, просто нечем — при внешнем благополучии, при огромном количестве шезлонгов и, опять же, таек.

То ли мне кажется, то ли я меняюсь, но в последнее время я и сам чувствую дефицит эмоций. Я вынужден закрывать глаза и в мыслях своих уходить в те годы, когда чувств было много, и можно было радоваться так, что сердце рвалось на части, или пугаться так, что оно же и останавливалось. Беда в том, что все чаще я не вижу в глазах людей ничего живого. Они что-то читают на своих ридерах, слушают музыку из белых наушников, бредут, не поднимая глаз, или смотрят сквозь тебя... Но не видят тебя, не воспринимают. Что они читают?.. «Американского психопата»? «Бойцовский клуб»? «Нейромантика»?.. Если бы... Они читают пустоту. Слушают пустоту. Едят пустоту. Пьют пустоту и ее же трахают.

Через пять лет придут массовые дешевые компьютеры, встроенные в очки, и реальность станет вообще не нужна. Можно будет смоделировать из воздуха шезлонги и таек, курить безвредные для окружающих электронные сигареты, пить искусственное пиво в виртуальной компании и кого угодно мочить в сортирах. Я даже предвижу первые салоны по продаже *real emotions*, вперемешку с ларьками попроще, где тебе тупо заливают синтетический адреналин.

Сколько мне (или всем нам) еще осталось до той горечи в словах Астафьева, которую он выдал, вытащил из себя перед смертью: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание...»

Мне кажется, то же самое почувствовал Олдос Хаксли, мистик, утопист, любитель мескалина, псилоцибина с ЛСД, когда спросил самого себя: «А что если наша Земля — ад какой-то другой планеты?» Спросил — и понял, что дальше спрашивать бесполезно.

Некоторые фразы называются афоризмами, потому что легко могут задушить, вырвать аорту или поменять местами стороны света. «Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты...»

Так вот, последнее время мне тоже кажется, что наша Земля — не то место, куда приходил Астафьев. Я не смогу этого доказать, как не смогу выдать точный чертеж, карту или схему полного и беспросветного духовного каннибализма. Но я это чувствую, как и большинство животных, покрытых кожей.

Может быть, это и имел в виду Астафьев? И не это ли имел в виду Олдос Хаксли?..

«А что если наша Земля — ад какой-то другой планеты?»

Да ладно! Так ли это невыносимо? Включите логику — это еще какой луч надежды.

Ведь тогда точно где-то существуют белоснежные ракушечные пляжи, кристальная зелень деревьев, места, где не принято убивать детей и где сами дети не способны уничтожать все живое. Где любовь — это норма, а ненависть лечится мятными таблетками. Где не надо учиться ломать позвоночник одним ударом или отстреливать все конечности за две секунды. Где люди не против помочь первому встречному, а в лифтах гадят только собаки.

Но если предположить другой вариант: наша Земля — это *рай* какой-то другой планеты... И попадание сюда инопланетное быдло воспринимает как награду за терпение и веру. И мы для них — ангелы хрен знает какого света... или как там это называется. Ангелы, погрязшие в пустоте, слушающие музыку из белых наушников, читающие в метро про то, как умирают неудачники, и при этом не чувствующие ничего. Чему мы научим праведников и святых другой планеты? Ах да, забыл — убивать мыслями. Это актуально.

«Мне нечего сказать вам на прощанье...»

## 1.

«Жара...» — вяло подумал майор, вытерев платком шею и заходя в гостиную.

Внутри натужно работали кондиционеры, но снаружи было такое буйное лето, что поначалу пригрезилось, что и здесь все плавится. Мягкие шторы бессильно свисали. Наталья сидела на диване, сосредоточено перелистывала какой-то журнал, но смотрела сквозь него. Взглянув на офицера милиции, она еле заметно кивнула, бросила журнал на стеклянный столик и спросила дежурно и без эмоций:

— Кофе?

— Спасибо. Какой тут кофе... У меня к вам неофициальный разговор, Наталья Леонидовна...

— Догадываюсь...

Измученный жарой майор невежливо обозначил улыбку одним углом рта и продолжил:

— Я, если вы не возражаете, сразу к делу. Похититель вашего сына, к сожалению... к большому моему сожалению, ответить не сможет. Он, как известно, застрелился... По крайней мере, такова предварительная версия. Но дело не закрыто. Есть основания полагать, что Петр Алексеевич Найденов был не один...

— Мм, — вдруг сказала Наталья и взялась рукой за лоб.

— Вам плохо? — майор сделал вид, что встревожился.

— Мне плохо уже давно. Продолжайте.

— Хорошо... Расследует дело старший лейтенант Кавалеров. Но... давайте откровенно, Владимир Геннадиевич заплатил мне за работу, а я выполнил ее... — на секунду замялся офицер, подбирая фразу, — не до конца...

— А вы думаете, что смогли бы выполнить? — усмехнулась женщина.

— Обычно я справлялся... — поморщился майор и перешел от безысходности к делу. — Не требую меня извинить, но хочу предложить вам помощь. Получается, небескорыстную, поскольку деньги я уже взял. Но помощь искреннюю...

— Чего же вы хотите? Мужа уже не вернуть... Сын, слава богу, со мной.

Майор опустил глаза, помолчал и снова взглянул на Наталью.

— Теперь речь, как ни странно, о вас...

— В каком смысле? Меня тоже хотят похитить?

— Хуже. Знаете, у сыскарей есть старое правило — искать того, кому это выгодно. А на сегодня, извините, это... — майор чуть замялся, — вы.



— Что?! — выпрямилась Наталья.

— Я не следователь. Но знаю, кто он такой и как он думает... Факты есть факты. Вы наследница всего имущества мужа, не так ли?..

— Да, Володя написал завещание. Он просто хотел, чтобы не было никаких «но».

— Тогда это первое. Я не знаю вашего реального финансового положения, но даже того, что просто лежит на поверхности, хватит не на одну семью и не на один год...

— Послушайте, Игорь Валерьевич, — перебила женщина, — я сама толком не знаю, как вы говорите, своего реального финансового положения. Я была слишком далека от его дел. Мне, кстати, сейчас придется что-то делать со всем этим... Не знаю, то ли продолжать управлять, то ли продавать все... У меня от этого голова кругом. Милевич с утра приходил, говорил, что положение серьезное, надо что-то предпринимать. А времени нет... желаний нет. Сил нет вообще... А там все дымит, там же производство...

Игорь поморщился, покрутил головой и продолжил:

— Не отвлекайтесь. Второе... Мы вскрыли сейф в доме Петра Найденова. Там, в общем, почти ничего нет. Несколько личных документов, какие-то фотографии... Единственная бумага, которая имеет ценность — это завещание. Судя по всему, он довольно сильно привязался к мальчику...

— Что вы несете! — ахнула Наталья, закрыла лицо руками и закачала головой из стороны в сторону.

— Правду. К сожалению, без нее сейчас никак. Завещание заверено нотариусом, оно на имя Николая Владимировича Гиреева.

— Кого?.. Как?.. Что?! — мгновенно перестала раскачиваться Наталья и убрала руки от лица. — Он завещал все Коле?

— Именно. Поскольку Коля несовершеннолетний, то распорядиться его имуществом придется вам. Вы — полноправный владелец дома в нормальном тихом районе, не очень хорошего автомобиля, пары счетов в банках... Но это не столь важно. Важно, что в результате всех этих событий человеком, которому, скажем так, *повезло* с точки зрения следователя более всего, являетесь вы.

Наталья смотрела на него широко открытыми глазами.

— Это же абсурд... — сказала она тихо.

— Это факты, — пожал плечами майор, — им и только им будет верить следователь Кавалеров. А больше его, честно говоря, ничего не интересует. Понимаете? Его назначили всего три дня назад, а он уже нашел подозреваемого. Вернее — подозреваемую. Без всяких, заметьте, погонь, выстрелов, засад и прочего. Хорошая перспектива, вам так не кажется?

— Это... — дальше женщина не смогла ничего сказать и просто застонала.

— Ладно, — твердо сказал майор, — в мои планы не входило вас пугать. Давай-те думать, что будем делать, Наталья Леонидовна. Это важно. Я очень, очень, поверьте, не рад, что приходится вас напрягать в этом состоянии, но выхода нет — нам вместе придется что-то делать.

— Делать? Я не собираюсь оправдываться! — зло выкрикнула его собеседница.

— Очень даже правильно... Оправдания только усугубят подозрения.

— А дом действительно мой? — вдруг перебила его Наталья.

— Да. Но не прямо сейчас. Бумаги, оформление... посоветуйтесь с юристом. Кстати, когда к вам должен заехать Юрий Константинович?

— В три. Они с Милевичем все утро что-то обсуждали, потом мне все привезут, я должна решить... — Наталья опять застонала.

— Голова? — спросил майор.

— Нет, — покачала головой хозяйка, — сердце. Вернее — под сердцем. Вы не знает, где находится душа?





— Что? — не сразу понял Игорь. — А... знаете, душа сейчас мало кого волнует. Давайте лучше работать. Никто за нас этого делать не будет. Поэтому у меня сейчас души, считайте, нет, да и вам не советую.

— Хорошо. Дом, значит, мой... Я что-то должна говорить следователю? Ну... что-то правильное?

— Давайте сделаем так. Я постараюсь максимально отодвинуть эту встречу, но отменить ее, разумеется, не смогу... После разговора с вашим юристом наберите меня. Я приеду, и мы вместе постараемся как-то выбраться из этого лабиринта. Ту, видите ли, слишком много «если». И потом... я не знаю, как объяснить, это больше интуиция, но я думаю, что Камень... похититель был не один. Если так, то все очень сложно. Вы не заметили, наверное, но после смерти Владимира Геннадиевича Милевич отпустил всех привлеченных специалистов. Я бы хотел, чтобы вы твердо помнили, что теперь вас и Колю охраняют только сотрудники службы безопасности «Антакорса», и это хорошо — вы их знаете в лицо. С другой стороны, у них, кроме вашей личной охраны, еще море дел. Если вдруг случайно увидите незнакомое лицо — ни при каких обстоятельствах не подпускайте его к себе. В этом случае незарно даже спрятаться, до появления наших... извините, *ваших*.

— Я поняла, буду прятаться под кроватью... — устало и горько усмехнулась Наталья, — А дом, значит, мой... Буду прятаться... Камуфляжная сетка где-то была. Муж на охоту с ней ездил.

— Ну и прекрасно. Шутите — это уже хорошо. Я сейчас должен идти. Скажите, а где Коля?

Хозяйка испуганно вскочила, но взяла себя в руки и тут же села.

— Слушайте, вы меня напугали. Пожалуйста, не делайте так больше. Он спит у себя в спальне. Лена ему читала книжку, должна быть рядом с ним.

Майор огромным усилием воли обозначил виноватую улыбку:

— Не хотел. Но знать в данном случае нужно. До вечера.

Он поднялся и быстро вышел.

— До свидания, — обессилено ответила Наталья, посмотрела ему вслед, взяла в руки журнал, тут же бросила и побежала вверх, к сыну, в уютную спальню с африканскими детскими обоями.

Она летела по лестнице с никелированными поручнями, мелькая ногами в тапочках, прыгала через ступеньки, цепляясь за перила, тащила себя, с колотящимся сердцем, на второй этаж. Возле двери несколько раз глубоко вздохнула, чтобы не испугать, и осторожно открыла дверь. Лена сидела в кресле рядом с кроватью; повернув голову на звук и опередив мать, она успокаивающе прижала палец к губам. Наталья кивнула, немного постояла и вышла. Все было хорошо. За окном изнывало лето. Внутри работал кондиционер. Жара и неприятности были где-то там...

Коля раньше не любил спать днем. Поначалу его с трудом уговаривали, но детский врач сказал: не желает ребенок — и не надо его заставлять. Пусть спит ночью, это не противоречит природе. С ним согласились — все же светило педиатрии.

Так было до того самого момента, когда ранним утром случайный патруль ДПС заметил за городом целеустремленно бредущую фигурку мальчика. Изорванное полотно старого шоссе криво петляло вдоль прямой как стрела новой трассы, но мальчишка шел в город именно по нему, при этом он не торопился и сэкономил силы. Детям в таком возрасте гулять, конечно, не запрещено, но бравые милиционеры справедливо предположили, что это тот самый похищенный ребенок, о котором орали на каждом углу, и тут же свернули на разбитую дорогу. Догнав мальчика, они осторожно уточнили у него фамилию и тут же отчитались по рации, что одной гадостью в мире стало меньше.

Радиоголос, искаженный эфиром, нервно приказал им немедленно везти ребенка в город, и уже через двадцать минут несколько черных машин встретили их недалеко от поста ГИБДД. Мрачные пассажиры этих машин предъявили документы,



пересадили мальчика в наглухо тонированный джип на заднее сидение, посоветовались, после чего одни рванули в город, другие — в обратном направлении. Обескураженные милиционеры пожали плечами и поехали по своим делам.

Внутри джипа Коля сначала сел, а потом лег на бок. Водитель посмотрел в зеркало и твердо сказал:

— Ноги не клади на сидение. Испачкаешь.

Коля промолчал, но опять сел ровно и стал смотреть в окно. Там все мелькало, мельтешило и бороздило, догнивал весенний расползающийся снег. Грязь была фантастическая.

— Я тебя знаю, — сказал мальчик, — ты Чингис. Мы к папе едем?

Водитель на мгновение бросил взгляд в зеркало заднего вида, тут же посмотрел вперед и аккуратно пропустил неприятный люк между колесами.

— Мы к папе едем? — снова спросил мальчик с бронзой в голосе.

Чингис кивнул, не желая разговаривать.

— Почему молчишь? — крикнул Коля.

Водитель снова посмотрел в зеркало. Ребенок начинал доставать. Чингис сбросил скорость, нарочито мягко остановил машину на обочине, потом отпустил руль и, глядя прямо перед собой, стал чеканить каждую фразу безо всяких эмоций:

— Не кричи. Мешаешь вести машину. Едем домой. Отца там нет, но есть мама. Или ты только к папе хочешь?

— К маме тоже, — подумал и не стал спорить Коля.

— Тогда сиди, скоро приедем. Не отвлекай меня, я двадцать часов не спал.

— Почему?

— Искал тебя. Мы все тебя искали. Если вопросов нет, то поедем.

Коля шмыгнул носом и замолчал. Но когда Чингис уже трогался, он вдруг встретился и спросил:

— А дядя Камень где?

— Найдем, не волнуйся, — процедил сквозь зубы водитель и усмехнулся, когда Коля вдруг попросил:

— Не убивайте его... Он тоже не спал.

Чингис стиснул руль руками.

— Ты машину его можешь узнать? — осторожно спросил он.

— «Ниссан», — без размышлений выпалил мальчик.

— Не путаешь?

— Там значок был...

— Модель какая? Еще что-нибудь было написано?

— Большой «Ниссан». Как джип.

— «Террано», «патрол», «инфинити»? Не помнишь?

— Не знаю. Там были буквы, но я забыл. У папы лучше машина, «Митсубиси Паджеро»...

— Номер тоже не помнишь? — перебил его водитель.

— Я не видел. Там грязь была.

Чингис помолчал.

— Ладно, все, отдыхай. Скоро к маме приедем, — потом взял с переднего сидения сотовый телефон, нажал кнопку и быстро отчитался: — Минут через двадцать. Если в пробку не попаду, конечно... Хорошо, я проеду по параллельной улице.

Всю оставшуюся дорогу Коля молча глядел в окно.

На обочинах медленно догнивал, растекался серой кровью последний снег.

А сотрудник службы безопасности Марат Руфаев, позывной «Чингис», вдруг осознал, что не помнит, когда у него самого закончилось детство. Памяти хранила несколько секунд блаженства, ощущения материнской любви, солнечный запах молока... А потом всю жизнь — борьба со страхом, косые дожди, трассеры, бетонная пыль на зубах, соленый привкус, ощущение прицела на спине, мимолетное расслаб-



ление, когда после прыжка падаешь за кирпичную стену и на какое-то мгновение становишься невидим и недосягаем для пуль...

В самых ранних воспоминаниях страх был неярким, тлеющим, иногда смешным и нечетким. А потом он стал резким, разноцветным, пылающим и рвущим сердце на куски. Вот и вся разница.

## 2.

Мама отчего-то бегала, трясла меня, тормошила, спрашивала, заглядывала в глаза, кричала на всех, била кого-то наотмашь, снова кидалась ко мне и обнимала что есть силы... В какой-то момент мне стало больно, и я вскрикнул. Потом кто-то подошел и мягко, но настойчиво посадил маму на диван.

Я стоял посреди зала и молчал. О чем было говорить? Я не знал... Никто не знал. О чем она меня спрашивала? Не знаю. Говорила обо всем сразу и кричала какую-то ерунду. Что я маленький, что все чего-то наделали... Чингис постоял у двери, посмотрел мне в глаза — издалека и вроде по-доброму, хотя не поймешь — и вышел.

Потом откуда-то вынырнул врач, присел на диван рядом с мамой, потрогал ее руки и сделал укол. Она рвалась ко мне, но доктор не пускал ее и что-то тихонько говорил, все время одно и то же: «Все будет хорошо... успокойтесь... вам нельзя волноваться». А она уже не волновалась, она оседала на глазах, как весенний снег.

— Где папа? — спросил я и тут же понял, что лучше б я не спрашивал.

Мама опять вскочила, стала ужасно некрасивой и закричала. Я почувствовал себя виноватым и пошел наверх. Пока забирался по лестнице, несколько раз обернулся. Мама все кричала, кричала и не могла остановиться, несмотря на укол. Врач с раздражением посмотрел на меня и покачал головой.

Когда я открыл дверь, то понял, что попал не туда. Комната была моя, но она мне вдруг перестала нравиться. Слишком большая, слишком светлая... И спрятаться в ней негде. Стоишь посредине — и ни норки, ни травы, ни кустика...

Даже сквозь дверь я слышал пронзительный голос мамы: «Покормите его, покормите». Но я не хотел есть... С чего она решила, что я голоден? От людей устал — да. И даже уже немножко от нее. Или отвык...

Это теперь все так будут кричать? Так ведь и оглохнуть недолго. Я же вернулся, зачем столько шума?..

Интересно, что сейчас делает Камень?..

Вдруг я почувствовал запах. Странно... У Камня не было никакого запаха — ни в доме, ни у меня в бункере. А тут был. Детский, сладкий, противный. Я понюхал рукав — нет, не такой запах. Тут пахнет чем-то странным, словно кто-то прячется... или врет.

Я обошел комнату, посмотрел на африканские обои со слонами и жирафами. На обоях слоник разбрызгивал воду из хобота, в никуда, просто выливая ее. А ведь жарко в Африке, я по телевизору видел. Откуда он воду берет? Там, правда, река есть на обоях, но далеко. Не мог же он полстены пройти с водой и только потом ее разбрызгать. Что он там поливает? Кому это все надо?.. Ерунда какая-то. Не будет слон воду просто так носить.

Я сел на кровать — она у меня огромная, на вырост. Хочешь — так ложись, хочешь — поперек. Я посидел немного и упал на спину. На потолке застыл один солнечный зайчик. Один. И никуда не двигался. Надо будет узнать — откуда он. Еще люстра на потолке. Матовый шар с чем-то серебристым внутри. То ли мертвое солнце, то ли живая луна. Не включенная только. Я не запомнил, какие лампочки были у Камня на потолке... Помню, что света было всегда много, все сверкало. А у нас Ленка все гасит. Не успеешь выйти из комнаты — бежит, шелкает, бурчит чего-то... надоела уже. Дядя Камень огонь любит. Свет любит. Чистоту.



Открылась дверь, в комнату заглянула Ленка. Под дверью, что ли, ждала, мысли читала... Заплаканная почему-то. Посмотрела на меня и сказала, всхлипывая:

— Разденься, я постираю все...

Я помотал головой. Чего стирать, в грязи не валялся... Просто шел по ней.

— Не хочешь?

Ну что за дура! Ясно же, что не хочу...

— Я молилась за тебя, Коля. Очень рада, что ты вернулся.

Я посмотрел на нее и вздохнул. Черт с тобой, веселись. Молилась она... Снял куртку, отдал ей. Ленка тут же вцепилась в нее мертвой хваткой и стала остальное стягивать, но я не дал, вырвал из ее руки ворот рубашки и пригладил его. Она ушла с моей курткой и на прощанье улыбнулась. Почему-то виновато.

Я ничего ей не сказал. Леня было. От нее так просто не отвяжешься. Я раз слышал, как мама ей выговаривала, чтобы не слишком со мной церемонилась. После этого она и развернулась вовсю — командовала, доедать заставляла, зубную щетку на место ставить... Да не все ли равно, где она стоит? Ерунда какая-то...

А где папа? На машине хочу научиться ездить.

Я теперь многое умею. Стрелять, например. Дядя Камень показал. А как ездить — не показывал. А надо. Во всех фильмах на машинах катаются. На ногах не успеешь никуда.

Я поднялся и посмотрел во двор. Там качели висят, железные, белой краской покрашены. С осени на них никто не качался, только вот под Новый год я залезал. Холодные они зимой, неприятно. Сейчас прямо под ними лужа серая.

Лето хочу. Воду. Песок. Чтобы воздух дрожал. Я помню — над землей все кривое становится, струится.

Я стоял, смотрел во двор, лениво вертел головой... И вдруг что-то в ней взорвалось с такой силой, что я даже рот открыл. То ли выстрел, то ли живое что лопнуло, и голос раздался — хищный, отчаянный:

— Домой! Домой! Домой!

Вспышка ударила по глазам, и я на пол рухнул. Сижу, головой качаю. Голос — дяди Камня. Дальний, летящий. Сильный, яростный, словно он по пальцу себе молотком ударил. Без границ голос. Обжигающий. Как оскал у собаки: слюна с клыков капает, бездна в глазах, шерсть дыбом на спине...

— Домой!

Тут же засосало меня куда-то, вывернуло наизнанку, ударило с хрустом, и полетел я, кувыркаясь, сбивая себе все суставы, сдирая кожу, задыхаясь от запаха крови в носу, захлебываясь от ее вкуса на языке. Летели вокруг деревья черные, без листьев, красные мутные облака, через которые пыталось пробиться желтое холодное солнце, свистел черный ветер, скрипел на зубах песок, несло меня щепкой, полиэтиленовым пакетом по ветру, разбивало обо что-то, выжимало рваную горячую кашу из меня, ломало и выкручивало...

А потом стало тихо совсем, и из носа пошла кровь. Я лежал на спине, прямо на полу, а кровь струилась вниз по щекам. Липкая и соленая, она даже проникла в рот и стала жечь. Но больно не было. Да и плохо не было. И грустно тоже. Нормально было. Словно кто крутил кубик Рубика, мучился, размышлял, а потом он сам собой разрешился — и стало скучно. Сложенный кубик Рубика никому не нужен. Часы где-то щелкали все громче и громче, пока не стали больно бухать у меня в ушах.

Неподвижный солнечный зайчик на потолке стал мерцать, потом закрутился на месте, превращаясь в сверкающую воронку, а потом у меня в голове заработал плеер:

«Нет никого, кроме тебя.

Не верь этому миру, он делает тебя слабым. Вокруг одни враги.

Смотри в глаза, а если не видишь глаз — нюхай. Страх пахнет мелко и остро; ненависть — жестко, отчаянно; доброта — легко и беззаботно. Обман пахнет краси-



во, очень красиво, но этот запах быстро проходит. Если кто-то перестал пахнуть — он спрятался. Если резко начал пахнуть — это враг.

Но главное — слушай. Если слушать каждый день одно и то же, ты начнешь различать оттенки, сможешь легко отделять вранье от правды, но не доверяй никому, даже если тебе кажется, что человек прав. Правда для одного — ложь для другого.

Не доверяй никому. Каждый рано или поздно стреляет в спину. Научись стрелять первым.

Прав всегда тот, кто выжил...»

Светящаяся воронка остановилась, стало пронзительно, резко, горячо, голодно. Я глотал собственную кровь, скопившуюся во рту.

Все прошло. Не знаю, что это было. Остался вкус крови; как оказалось — на всю жизнь. Как и голод.

Потом я встал, зажал рукой нос и стал смотреть по сторонам. На маленьком комодике было много мягких игрушек; я взял плюшевого медвежонка, у которого в прошлой жизни было какое-то странное-престранное имя, и стал им вытираться. Хотел сначала вытереться шторой, но представил пятна — и не стал. Некрасиво.

А игрушки ведь не нужны, от них только пыль. Медведя не хватило, я взял какого-то дельфина, но он был жесткий, поэтому я побежал в ванную, бросил там окровавленную плюшевую дрянь, подошел к своей раковине (она у меня невысокая, специально папа приказал сделать), открыл воду и стал смывать с себя красное. Отмыл все, взял полотенце, вытерся, взял второе. Шмыгнул носом — кровь еще была внутри, но уже не жгла. Рубашка, конечно, вся пятнами пошла, кинул ее в ванну — потом Ленка разберется. Остался в одной майке.

От вкуса крови очень сильно захотелось есть. Мама была права — меня надо покормить. Я вышел из ванной комнаты и пошел на кухню. Терпеть голод я не собирался.

На кухне никого не было. На плите стояли какие-то кастрюли, но я не стал туда лезть — еще опрокинешь на себя; просто открыл холодильник, вытащил на стол какое-то нарезанное мясо, колбасу, сыр, булку взял белую, оторвал кусок, стал жевать.

Молока бы... Вернулся к холодильнику, вытащил пакет. Стаканы высоко стоят — не достану, да и лень. Стал пить из пакета. Облился весь, теперь еще и майка мокрая. Щекотно стало от влаги. Засмеялся набитым ртом, чуть не поперхнулся.

Зашла невыносимая Ленка, всплеснула руками, — я даже разозлился: да что такое, крадется она за мной, что ли?!

— Коля! Ты почему не попросил? Я бы на стол накрыла!

А что я скажу, рот-то занят. Отмахнулся одной рукой. Ленка тут же давай кастрюлями греметь, что-то готовить. Я взял свой бутерброд и пошел в столовую. Ленка — она правильная, только надоедает иногда. Бегает чего-то, мельтешит.

В столовой в окно било солнце. Хорошее, жаркое. Это снаружи оно еще холодное, а через стекло греет.

Лето хочу... Воду... Чтобы воздух дрожал над песком. Струился. Как масло в лавовой лампе... или, может, не масло туда наливают? Я люблю смотреть...

За месяц столько серого и грязного насмотрелся, что глаза болят. Зеленого хочу, мятного, живого, вкусного. Папа где? На машине хочу научиться. Чтобы быстро, чтобы не ногами ходить, чтобы везде успевать. В фильмах все на автомобилях ездят. А есть машины настоящие, но для детей?.. Не игрушечные, а чтобы с мотором была, с бензином, чтобы водить можно было по улице... Нет, наверное. Или есть? Надо папу спросить, а он еще на работе. И телефон мне надо сотовый. Слайдер или кирпичиком. Раскладушки папа не любит — и правильно.

Беда только вот в чем: дядя Камень... он только что умер. Я услышал это, почувствовал, запомнил.

Но только не пойму — почему. Он же здоровый был. Сильный, смелый. Мне кажется, он чудовище. Из «Аленького цветочка». Он к себе ушел, на остров. Но он



вернется. Не знаю как, не знаю когда, но вернется. Отдохнет, полежит, выспится — и вернется.

Я только не знаю, что с ним делать. Его ведь убить уже нельзя.

Лето хочу, чтобы воздух дрожал. Летом, если наклониться над травой — она вся живая. Там все жужжит, стрекочет, хрустит. Там всегда прав тот, кто выжил...

### 3.

Около десяти часов утра в тихом квартале города, когда те, кто работал, уже давно разъехались, а те, кто принципиально валял дурака, еще не проснулись, появились два автомобиля, резво проехали вдоль сиреневых кустов по сонной улочке и остановились возле строгих металлических ворот. Из первой машины вышла, играя желваками, Наталья, осмотрела почти незаметную на фоне ворот дверь и вдруг резко ударила ее ногой, отчего вся конструкция заходила стальными волнами:

— Открывай, сволочь!

— Наталья Леонидовна, — суетливо подбежал водитель и предусмотрительно встал между ней и калиткой, — не надо! Там все равно никого нет. Вот же ключ, — покачал он связкой.

— Понятно, — кивнула головой Наталья и глухо приказала: — Открывай!

Водитель деликатно открыл гулкую стальную дверь и тут же с соседнего участка раздался старушечий голос:

— В чем дело? Зачем вы стучите ногами? У вас рук нет?

Забор между участками строители из прошлого тысячелетия возвели навеки, но был он строго декоративным. В том смысле, что представлял собой бетонную вязь из огромных шестигранных ячеек. Кошки такую конструкцию проходили насквозь, да и человек мог перелезть безо всякого труда, используя ячейки в качестве ступенек лестницы. Сейчас из одной такой соты, не мигая, на шумных посетителей смотрели глаза бдительной старушечки.

Наталья посмотрела на водителя и поморщилась. Тот мгновенно понял, кивнул головой и подбежал по насыпной тропинке из белой крошки напрямик к нужной соте.

— Прошу извинить, если мы вас побеспокоили, — сообщил он через ограду, — это Наталья Леонидовна Гиреева. Теперь это ее дом. Я ее водитель, меня зовут Павел.

— Ее дом?.. Она что, родственница Петра Алексеевича?

Водитель оглянулся на хозяйку, задумался на секунду, тут же повернулся и ответил:

— Не совсем... Впрочем, я думаю, вы очень скоро познакомитесь поближе.

— У нас, молодой человек, — не обращая внимания на его, по ее мнению, явно бессмысленные слова, сказала бабуля, — на улице всегда очень тихо. Это приличная улица. До вас здесь жил очень интеллигентный человек. Правда, несколько раз сюда приезжали милиционеры, что-то искали и никак не могли найти. Приходили и ко мне. Само собой, это какое-то недоразумение... Обвинять в чем-то Петра Алексеевича глупо, а то и подло...

— Хм... — не нашелся, что сказать Павел, — разумеется. Еще раз примите искренние... — у водителя чуть не вырвалось «соболезнования», — извинения.

— И не сигнальте под окнами! — слегка повысила голос соседка.

— Простите... А мы разве сигналили? — удивился Павел.

— Я на будущее. У нас очень... тихая... улица, — она сказала это с разбивкой, словно бестолковому или сильно выпившему.

— Хорошо-хорошо, — замахал на нее обеими руками водитель, — мы не причиним вам никакого беспокойства...

В это время Наталья уже сорвала опечатанную бумажную ленту с дверей, которая и без того почти отвалилась, и попала в дом.



Внутри давно никого не было. Дело было даже не в пыли, не в запахе, который, впрочем, все равно отсутствовал, а в ощущении. В этом доме все замерло. В воздухе не было ничего — ни хорошего, ни плохого, ни ощущений, ни проблем, ни удовольствий. Стоп-кадр. Как если бы кто-то пытался запечатлеть для потомков сломанный метроном. Или спящего кота. Или открывшего рот крокодила, который, как известно, может таким образом проветривать глотку часами.

Наталья прошла в зал. Потрогала рукой диван, села на него перед абсолютно пустым стеклянным журнальным столиком.

Вошел Юрий Константинович, давнишний семейный консультант по юридическим вопросам, вальяжно размахивая роскошной кожаной папкой.

— Значит, дом мой?.. Я хочу все это сжечь! — тихо объявила Наталья.

— Нет, — покачал головой Юрий, — вы не можете этого сделать. Хотя бы по соображениям безопасности. Рядом еще два дома.

— А как я его могу уничтожить?

— Снести здание и вывезти мусор. Но зачем вам это? Продайте и забудьте о нем. Разве это не одно и то же?

— Нет... — проговорила она, — я бы хотела сжечь весь квартал. Все деревья, к которым он прикасался, скамейки, на которых он сидел, цветы гнусные, на которые он смотрел, воздух, которым он дышал... Разве этого нельзя сделать?

— Намерено сжечь здание, находящееся в непосредственной близости от других строений, принадлежащих другим собственникам, вы, Наталья Леонидовна, не имеете права. И потом, участок все равно останется. Давайте лучше рассмотрим реальные возможности. Сейчас осмотрим дом, посмотрим, что мы имеем в наличии, а завтра я приглашу хорошего риелтора, и он нам за три недели найдет покупателя. Район хороший, тихий... если не задирать цену, то продадим даже быстрее. Вы же не будете настаивать на максимальной цене, я надеюсь?

Наталья устало покачала головой.

— Не буду.

— Вот и славненько. Ну-с, с чего начнем?.. Я предлагаю сверху. Спускаться всегда легче.

Женщина прижала пальцы к вискам:

— Зачем я вообще сюда приехала? Голова болит...

— Наталья Леонидовна! Я могу сделать все сам и предоставить подробный отчет... скажем, к вечеру. С моими предложениями и примечаниями. Так что вы можете ехать, ваше присутствие здесь совершенно не обязательно, уверяю вас! — как можно вежливее объяснил юрист.

Наталья помолчала, встряхнула головой и твердо сказала:

— Нет. Я хочу все здесь увидеть. Я хочу понять, что произошло с Колей.

Юрий вежливо кашлянул и пожал плечами:

— Хорошо. Где-то я вас даже понимаю. Идемте наверх, начнем с чердака... или что там у нас имеется?..

— Мансарда вроде бы...

Дом был старым, но не дряхлым, к тому же недавно здесь был сделан капитальный ремонт. Судя по виду, дубовая лестница отъела львиную долю бюджета. Он была безукоризненна и совершенно не скрипела, благородно отсвечивая матовым лаком. Поручень бежал вверх без изломов и спотыканий, подстраиваясь под ладонь. Балясины из хромированной стали в текущем столетии тускнеть не собирались.

С последним пролетом лестница сильно сужалась, несколько упрощалась в дизайне и круто взлетала вверх. Под потолком из отборной сосновой вагонки кружились редкие золотистые искры пыли. Мансардные окна давали много света, но из них ничего не было видно, кроме неба. Особой обстановки, собственно, здесь и не было. Только ковровое покрытие солнечного бежевого цвета с очень длинным ворсом и маленький, похожий на японский, столик. Еще валялась пара подушек... Странное



помещение: много солнца, пространства, идеальное место для размышлений — но не получается думать. Не за что зацепиться взглядом. Пусто.

— Мне кажется, он здесь не спал, — задумчиво произнес Юрий Михайлович, — но у него была тут лежка. Как у кота.

— В каком смысле? — поинтересовалась Наталья.

— Коты — они спят в одном месте, а отдыхают в другом.

— От чего? — усмехнулась женщина. — От работы?

— Действительно, — улыбнулся юрист, — трудоголики из них те еще. Я просто в какой-то передаче смотрел. Не подумайте, что я специалист по котам.

В углу мансарды, там, где из-за крыши получилась сильно наклоненная стена, виднелась еле заметная, обшитая той же вагонкой дверь.

— А там что? — спросила Наталья.

— Наверняка технологическое помещение. Сейчас гляну... Да, просто отсек: керамика, кабель, трубы... Все ясно. Пойдемте ниже.

На втором этаже помещений было больше. Собственно, тут и жил бывший хозяин. Спальня с широкой двуспальной кроватью, но с одной подушкой. Ванная комната, в которой было только два цвета — хром и неживая стерильная глянцевая белизна. И большой кабинет с шикарным, даже слишком шикарным черным столом. На нем стояли два компьютерных монитора; еще один, сенсорный, был вмонтирован в стол. Клавиатура с выдернутым разъемом лежала на столе.

— Системные блоки изъяты, — предугадал вопрос Юрий, подошел и сел в кресло. — Да-а... о таком кресле, Наталья Леонидовна, можно только мечтать... — юрист с удовольствием крутанулся и откинулся на спинку.

— Они так и не нашли ничего в компьютерах?

— Ничего. Жестких дисков в них попросту не оказалось. Куда он их дел — никто не знает. Обыскали все. Судя по тому, что винчестеры изначально были в контейнерах, он их вытаскивал и куда-то прятал, если надолго уезжал. Может быть, со временем и найдем. Тогда многое станет ясно. А пока все пасмурно...

— Пойдемте на первый... — повернулась женщина, потеряв всякий интерес к кабинету.

На первом этаже было гораздо просторней. Кухня, столовая, совмещенная с залом, и специальная комната для прослушивания музыки. Из зала дверь вела в просторный гараж, из него — под летний навес.

Из кухни можно было спуститься в подвал с прачечной, из гаража — в тренажерный зал и еще в одно помещение, о котором не знал никто. Его Петр Алексеевич Найденов называл «бункером» и несколько дней держал там малолетнего Николая Владимировича Гиреева. Цель неизвестна.

В этом самом «бункере» Наталья села на кровать и замолчала. Юрий стоял рядом и чувствовал себя неудобно. Рядом был стол с монитором и клавиатурой, но стула не было. Сестра рядом с Гиреевой он не решился, поэтому просто стоял и смотрел на стену. На ней косо висел рисунок. Обычный, детский, без особого сюжета. Дом, дерево, вверху справа солнце с жирными лучами, один маленький человек и один большой.

— Это, должно быть, Коля нарисовал... — вдруг сказала женщина, — Он вообще любил... Только дома он рисовал роботов и драконов, а тут... Как вы думаете, кого он изобразил?

Юрий пожал плечами:

— Не буду гадать, Наталья Леонидовна. Если честно, я в детских рисунках ничего не понимаю. Давайте лучше поднимемся, тут уже смотреть не на что.

Женщина промолчала, потом сняла туфли и легла на кровать.

— Что вы делаете? — недоуменно спросил юрист.

Наталья лежала и смотрела вверх.

— Думаю... Как все просто: разрушил все и скрылся. И никак его не достанешь. Нет такого способа, чтобы вытащить его оттуда. Остается только ждать.





— Чего ждать? — не понял Юрий Михайлович.

— Когда я туда попаду... Хочу спросить. Хочу найти, вырвать сердце и спросить.

— Ну это вы зря. Жизнь все равно продолжается... — ему стало стыдно за дежурную отговорку. — Наталья Леонидовна, примите решение, пожалуйста! Мы продаем дом? Если да, то вы можете о нем забыть. Я приглашу вас только подписать бумаги, ничем лишним, уверяю вас, не побеспокою.

Гиреева отвернулась к стене и стала царапать обои большим красивым ногтем.

— Он, наверное, так же засыпал. Смотрел на стену... Пальцем водил... Потом закрывал глаза.

Юрист посмотрел по сторонам, вздохнул, повернулся и решительно вышел, бросив на ходу:

— Я вас жду на улице. Не задерживайтесь.

Наталья не шевельнулась.

У самого крыльца Юрий лицом к лицу столкнулся со старушкой из соседнего дома.

— Здравствуйте еще раз! — неожиданно резко сказала пенсионерка и представилась: — Моя фамилия — Глинская. Вероятно, слышали? Меня зовут Ираида Семеновна.

Юрист понятия не имел ни о каких Глинских, но кивнул. Этот жест можно было трактовать как угодно — хоть «да», хоть «нет», хоть как хондроз шейных позвонков. Профессия предполагала импровизацию.

— Очень приятно... Юрий Константинович! — представился он, — знаете, мы уже уезжаем. Если у вас какое-то дело, с удовольствием побеседуем с вами в следующий раз. Уверяю, мы сможем положительно решить любые проблемы... Любые! — подчеркнул юрист, поднимая указательный палец.

— До следующего раза дожить надо, — без всякой дипломатии съязвила старушка и тут же ошарашила юриста: — А собаку заберите сейчас!

— Какую собаку? — раздался с крыльца голос Натальи.

— Раз вы хозяйка, то и пес ваш, — повернулась к ней Глинская.

В этот момент к ногам старушечки молнией метнулся небольшой, но очень упитанный и лохматый пес с длинными ушами. Хвост его вертелся с космической скоростью, глаза зияли преданностью.

— Что? Зачем мне это? — не поняла Гиреева.

— Это ваше дело. Просто сначала исчез Петр Алексеевич, потом пришли милиционеры. К тому времени Джек уже пару дней ничего не ел, а главное — не пил... Выскочил из дома, стал прямо из лужи лакать. Я его взяла к себе, не пропадать же собаке.

Джек сел, перестал хвостом изображать вентилятор и высунул язык не хуже Эйнштейна.

— Это его собака? — угрожающе спросила, тут же заводясь, Наталья. — Его?!.. Его собака? Это точно? Вы не шутите? — уточняла она.

— Да какие шутки, любезная... У меня суставный ревматизм, стала бы я до вашего двора просто так ковылять!

— А-а-а! — закричала женщина и вдруг сильно ударила пса ногой. Пес, полный недоумения к людям, успел увернуться, но все же Наталья слегка его задела. — Убью, гад!

Джек рванул сквозь кусты за дом, не особо вникая в происходящее, ведомый исключительно инстинктом. Людей понимать вообще не надо. Их надо или любить, или бояться, а рассуждать тут нечего. Возможно, он в чем-то был виноват, это сейчас не важно. Важно уйти из-под ноги, постараться отсидеться и залезть в рану, если таковая обнаружится. Не впервой.

Юрий Константинович, хотя и опешил на мгновение, тут же привел себя в состояние полной боевой готовности, крепко схватил Наталью за плечи и стал успокаивать, не особо подбирая слова:



— Тихо! Собака ни в чем не виновата... Зачем вы так. Перестаньте, это же просто глупо, Наталья Леонидовна... Песик же — не хозяин, что ж вы так на него?..

Женщина обмякла у него в руках и беззвучно заплакала.

В этот момент с грохотом открылась металлическая дверь и во двор вошли Коля с Чингисом. Охранник посмотрел Юрию в глаза и вопросительно поднял подбородок. Тот головой показал на Наталью и пожал плечами. Коля подошел к маме и дернул ее за руку. Женщина встрепенулась:

— Марат, в чем дело? Почему Коля здесь? Ты с ума сошел?

— Мама, — сказал вдруг мальчик, — это же мой дом, правда?

Наталья присела на корточки, взяла его лицо в свои руки и стала горячо шептать:

— Сынок, это не твой дом, это вообще не дом, это горе одно, поедем отсюда быстрее, мне здесь больно, забудь о нем...

— Мам, — жестко повторил вопрос Коля, — это же мой дом? Мне сказали, что это мой дом, что дядя Камень мне его оставил!

— Я его сожгу, сынок, не волнуйся!

— Не надо сжигать! — звонко вскрикнул мальчик.

— Почему не надо? — удивилась женщина.

— Я жить тут буду!

Наталья резко вскочила и устало, сдавленно закричала. Или ей показалось, что закричала — никто ведь не услышал.

Ее мир, бывший до этого момента болезненным, но все же неуловимо симметричным, как узор в калейдоскопе, вдруг сошел с ума и закрутился с такой безумной скоростью, что зеркала лопнули, мир взорвался хрустящим безумным хаосом, рассыпав свои бессмысленные стекляшки. Но этого никто не понял. Кроме нее.

Старушка просто покачала головой.

Джек осторожно выглянул из-за угла.

Коля мягко отпустил мамину руку и поднялся на крыльцо.

Чингис вообще не шелохнулся: подопечный был в полной безопасности. А это — главное.

#### 4.

Этот псих мне не понравился. Чингис, правда, сказал, что он не псих, а психолог или психиатр, но не все ли равно...

Мама неделю назад начала разговаривать с папой. Она сидела в его кабинете и часами спорила, убеждала его, смеялась и плакала. Сначала, если кто-то заходил, она замолкала и опускала глаза. А позавчера, когда я зашел, она вдруг повернулась ко мне и сказала:

— Да вот можешь у Коли спросить! Правда, сынок?..

Не знаю почему, но я тут же кивнул головой. Это было странно, но я не удивился, я просто почувствовал, что так надо. Папы не было, его еще весной застрелил милиционер. Я раньше думал, что они должны защищать, но Чингис сказал, что они ничего и никому не должны. Просто так получилось.

Сегодня утром маму увезли в больницу. Приехали два очень вежливых врача, с ними двое тоже в белом, но какие-то странные, огромные и без лиц. Мне сказали, что это санитары. Чудное название... У меня в одной книжке было про волков, санитаров леса. Эти тоже были похожи на волков. Только волки все чувствуют, а эти... как поленья.

Потом один врач уехал с мамой. А второй со мной остался.

— Выйдите, пожалуйста, — попросил он Чингиса, — я с мальчиком поговорю.

Марат кивнул и повернулся уходить. Но тут мне стало одиноко. И страшно. Не знаю... Я привык к нему, а когда он отходил, я чувствовал что-то такое... липкое. Становилось трудно дышать.



Поэтому я сказал:

— Нет! Пусть останется!

— Коля, — вкрадчиво сказал псих, — Марат посидит в другой комнате. Чтобы нам не мешать. Не более того.

— Что значит — «не более того»? — спросил я. Не люблю, когда непонятно говорят.

— Мм... нам с тобой просто надо поговорить.

— Чингис мне не мешает! — нахмурился я.

— Марат. Его зовут Марат, — почему-то поправил меня псих.

— Какая разница? — спросил я.

— Марат — это имя. А Чингис — прозвище. Может быть, ему неприятно...

— Чингис! Тебе неприятно? — крикнул я.

Тот вопросительно посмотрел на врача, подумал и ответил почему-то ему, а не мне:

— Я привык. Да и не все ли равно?

— Было бы хорошо, если бы ко взрослым он обращался по имени. И на «вы». Это много значит, поверьте. Но сегодня не будем настаивать на этом... Коля, — опять мягко спросил он у меня, — может быть, дядя Марат выйдет в соседнюю комнату и подождет?..

И хотя не так уж я страдал без Чингиса, но вдруг что-то почувствовал и заупрямился:

— Нет! Пусть здесь будет!

— Хорошо-хорошо, — согласился псих, — давайте поговорим втроем, это даже полезно.

Вот же хитрый какой. Что значит — «полезно»?.. Кому полезно?.. Мне просто не нравится. Опасно.

Дальше он начал меня спрашивать. Сколько мне лет, что я люблю, хорошо ли я сплю, какая моя любимая игрушка... Сказал, что у него, когда он был маленьким, был любимый плюшевый серый слон, у которого все время рвался хобот — и приходилось его зашивать.

— Слон — это хорошо. Если мягкий. Им кровь можно вытирать, — сказал я.

— Какую кровь? — то ли удивился, то ли обрадовался псих.

— У меня из носа пошла. Я медведем вытирался.

— И как? — улыбнулся врач.

— Не хватило. Пришлось в ванную бежать... А ваш слон, наверное, больше был.

Его бы хватило.

Потом псих меня спросил, во что я сейчас играю, что ем, и попросил посчитать что-то очень простое. Потом достал книжку, маленькую, с картинками, попросил прочитать строчку и повторить. Там сказка какая-то детская была. Ерунда полная. В общем, я уже стал успокаиваться, да и скучно стало. И вдруг он спрашивает:

— А дядю Камня ты хорошо помнишь?

Тут я насторожился. Он ведь сразу хотел это узнать. Только боялся. Или стеснялся. Или ждал чего-то.

— Да, — ответил я.

— Ты на него не обижаешься?

Я задумался. Обижаюсь?.. За что?.. Он меня не бил. Кормил вкусно. Стрелять учил. Умный был. Сильный. Один. Да. Мы с ним вдвоем были — каждый поодиночке. Но и вместе тоже. Он чего-то хотел, я так до конца и не понял. Он меня держал в бункере и хотел, чтобы папа себя убил. А папа себя не убил, его застрелил милиционер. Так за что обижаться? И вообще, если обижаться, то на этого милиционера... Да, на него.

— Тебе папу жалко? — спросил псих.

Я уже начал было вспоминать папу, но тут раздался голос Чингиса:



— Послушайте! — поднялся он со стула. — Что вы делаете?

— Молодой человек, — вдруг сказал псих уже не мягким, а неприятным голосом, — у вас своя работа, а у меня своя!

— Какая работа? Ребенка мучить?! Он только спать начал по-человечески!

Псих потеревил себя за нос, поправил очки, помолчал и ответил:

— Ну хорошо... Мне надо подумать. Пожалуй, вы правы, на сегодня хватит... Коля, было очень приятно с тобой побеседовать. Кстати, Марат, и с вами тоже. Знаете, я рад, что мальчик под искренней защитой. Я ничего не понимаю в ваших службах безопасности, я просто вижу, что вам он не безразличен. Одних минусов никогда не бывает, знаете ли. Всегда есть какие-то положительные моменты. Может быть, ради них и стоит, собственно, жить! — задумчиво закончил врач.

Размышляя о чем-то еще, псих ушел, а мы посидели и просто помолчали.

— Чингис, — сказал я, — поехали Настю искать!

— Зачем тебе Настя?

— Готовит вкусно. «Спасибо» скажу. Она там все знает, где что лежит. Камень ее хвалил. Джек ее любит.

— Джек всех любит, — возразил Чингис.

— Ага. Он незлой. Ему нравится, когда все хорошие... Или давай просто покатаемся?..

Чингис вздохнул:

— Ты меня толкаешь на служебное нарушение.

— Какое?

— У меня начальник — Милевич. Любой маршрут должен быть согласован. Нельзя просто так ездить, без дела. Это неправильно.

— Почему без дела? Давай придумаем дело... Раз тебя Милевич ругает.

— Может, лучше будем выполнять инструкции?

— А давай потом?

— А давай сейчас!

Черт, как неудобно быть маленьким, слабым, ничего не значащим! Вот он сейчас смотрит на меня и видит только полчеловека. Или даже меньше — треть. Он сильнее, быстрее, он много чего умеет... Его невозможно заставить силой. И пока я буду маленьким, слабым, ничего не значащим — он всегда будет первым.

Пока я не стану... каким? Каким я должен стать, чтобы среди нас двоих не Чингис был первым, а я? Что нужно сделать, чтобы не быть ребенком? Чтобы не чувствовать этого странного детского запаха; чтобы не играть, а жить; чтобы не видеть вранье в глазах у взрослых; чтобы принимали тебя за равного; чтобы боялись к тебе спиной поворачиваться; чтобы не здоровались с тобой идиотскими клоунскими голосами; чтобы подавали руку, а не гладили тебя по голове, или, того хуже, не целовали бы мокрыми губами... Что надо сделать для этого?!..

Наверное, подумать.

Взрослые ведь — тоже бывшие дети.

Я очень сильно задумался и вдруг вспомнил:

— Надо покормить Джека. А еды для него нет. Он есть хочет. Позвони Милевичу.

Тут ему нечего было возразить. Он просто кивнул и поднялся. Но самое главное — он никуда не звонил. Просто вышел на улицу, посадил меня в машину, сел за руль и мы поехали.

Значит, не всегда надо отчитываться. Инструкции можно нарушать, стоит только придумать хорошее объяснение. Лучше всего, если объяснение будет правдой. Или правдой наполовину. Но врать совсем, не думая, без оглядки — неправильно. Опасно. А еще лучше — не говорить.

— Чигиз! А что собаки едят?

— Корм сухой. «Чаппи». Или «Педигри». Обычно так.



Говорил я медленно и надолго замолкал:

— Я не помню... Не было «Чаппи»... У него была другая еда. Вареная.

— Значит — готовили... — неосторожно предположил Марат.

— А он любит, чтобы вареная... А мы ему — сухой корм! — обрадовался я.

Чингис засмеялся:

— Он же собака. Привыкнет. Не специально же ему варить?

— Я бы варил, — сказал я.

— Ты же не умеешь!

— И ты не умеешь. А Настя умеет, — выдохнул я, наконец, самое главное.

Чингис помолчал, плавно объехал какое-то препятствие и ответил:

— Коля, нельзя нам к Насте. И потом... я же не знаю, где она.

— Майор знает. Он с ней говорил.

— Ты что, рядом был?

— Нет, я просто слышал, как майор по телефону кому-то рассказывал.

— Что рассказывал?

— Что был у нее дома. Что она в ресторане работает, официанткой.

— Ну?... — спокойно спросил Марат.

— Ты позвони ему. Он скажет.

— С какой стати? — безразлично сказал Чингис.

Я замолчал и стал смотреть в окно. В соседнем ряду было посвободнее, и машины ехали чуть-чуть, самую малость, но быстрее. Проплыло окно, в котором девочка пялилась прямо на нас, расплющив нос о стекло. Я показал ей фигу. Она — язык. Тогда я изобразил две фиги, «фак», чиркнул себе пальцем по горлу и оскалил все зубы, какие у меня были. Неугомонная пигалица немедленно растянула в стороны феноменальные уши, тут же двумя руками показала «нос», оттянула вниз оба своих нижних века, после чего воткнула себе в уши большие пальцы и стала синхронно махать ладошками. Тогда я понял, что конца не будет, и просто послал ей воздушный поцелуй. Девчонка от неожиданности покраснела, после чего свалилась на сиденье, но через секунду выглянула уже с другим выражением лица. Я злорадно улыбнулся, но тут наш ряд поехал быстрее, и она исчезла из виду. Вот так-то, женщина...

— Чингис! — снова начал я.

— Да?

— А кто тогда готовить будет?

— Ну... — задумался Марат, — купим.

— У тебя жена есть?

— Нет. При чем тут вообще жена? — удивился Чингис.

— Как же ты без жены-то? Кто тебе готовит?

— Я и готовлю...

— Скучно одному?

Марат посмотрел по сторонам, аккуратно свернул направо и ответил не сразу. И жестко.

— Надоел ты мне, пацан, честно. Хожу тут с тобой, вожусь... Знаешь, как тяжело с детьми говорить? — спросил он устало.

— Почему — тяжело?

— Играть с вами надо. Жалеть. Лишнего не сболтнуть. Надоело... Ладно, вечером приедем, откажусь от тебя. Я охранник, а не нянька. Так что лучше не доставай меня!

— Зачем играть? Можно же не играть! Ты думаешь, мне надо, чтобы меня жалели? Я не маленький!

— Маленький, Коля, и глупый... Надоело.

— А ну стой! — заорал я и подпрыгнул. — А ты — умный? Если ты такой умный — почему ты такой бедный?

Я точно не помню, от кого слышал эту фразу. Кто-то из гостей когда-то сказал. Помню только, что она всех тогда насмешила...



Чингис затормозил чуть резче, чем обычно, но все равно — плавно, быстро нашел место среди припаркованных машин и еле втиснулся.

— С чего ты взял, что я бедный? — спросил он, глядя вперед. — Это ты от папы нахватался, недоумок? Тогда скажи, что такое «богатый»? Или ты себя имеешь в виду?

Я задумался и забегал глазами.

— Ну-у... Богатый — это когда можно много купить...

— Чего купить? Спокойствие? Счастье? Друга? Страну? Брата? Что?! Я могу сейчас выйти и пойти по улице. А ты можешь? Чего ты стоишь без сопровождения, человека кусок?! Сиди и не высовывайся. Вся твоя жизнь драгоценная без нас ничего не значит. Убивать можешь? Драться можешь? Думать можешь? Побеждать? Умирать? Что ты умеешь делать, насекомое?!..

Я молчал. Резко защемило в носу. Он ничего обо мне не знает. Но и я о нем — ничего. И слезы эти еще... Я заревел — легко, свободно, по-настоящему. И стало легче. Сказочно как-то, невесомо. Словно рана загноилась, а потом прорвалась. Один раз у меня так вышла заноза.

Марат ничего не говорил, ждал, когда я закончу реветь, постукивая по рулю пальцами. Потом оглянулся и спросил:

— Пить хочешь?

— Нет, — ответил я, глотая слезы, — мороженого хочу.

— Вот же детский сад! Ладно, есть тут одно кафе с клоунами...

— Не надо клоунов! — я сразу же перестал реветь. — Ненавижу!

— А-а, соображаешь! — одобрил Чингис. — Есть и без клоунов...

— Лучше в ларьке возьми, — сказал я, вытирая рукавом лицо, — я про кафе ничего не говорил. Про мороженое только.

— Хм... Согласен. Извини, — двигатель снова заурчал, — будет тебе ларек. Вон, на остановке что-то похожее.

— Это газеты, — присмотрелся я.

— Глазастый, — хмыкнул Марат. — Ладно, мороженое у нас тут на каждом углу. Не волнуйся.

Я и не волновался.

— Можешь на меня пожаловаться, — вдруг как-то неопределенно сказал Чингис.

— Зачем?.. Кому?..

— Я же обидел тебя... Милевичу, например. Маме, наконец, — усмехнулся он. — Так меня быстрее отстранят. Мы же оба этого хотим?

— Я не хочу! Ты не обидел. Это я обиделся. Сам.

— Сам с усам... — задумчиво проговорил Марат, — а я, выходит, не при чем?

— А ты — нет... Не уходи.

— Зачем я тебе? Страшно?

Я замялся. Посмотрел на свои руки и ответил:

— Да.

— Жить, Коля, всегда будет страшно. Это я тебе так, на будущее. Если ты думаешь, что оно светлое. Война — она никогда не кончается. Просто бывает тихая, а бывает — громкая.

— Слушай... — вдруг придумал я, — а если ты все равно вечером уходишь, давай к Насте съездим?.. Пожа-алуйста!

— И что я ей скажу? — неожиданно спросил Чингис.

Я даже зубами скрипнул. Глаза закрыл, чтобы он не видел, как я обрадовался. Заерзал, сел поудобнее и неуверенно ответил:

— Я скажу...

— Да она тебя пошлет куда подальше, да и все. Скажет он! Вот, кстати, ларек.

— Не надо! — сказал я. — Потом... Давай поедем...



Я просто почувствовал, что он согласился, а я не хотел этого упускать.

— Вот ты пристал... — буркнул он. — Ладно... Тогда давай так: я под тебя не подстраиваюсь. Буду разговаривать... как со всеми. Поймешь, не поймешь — твое дело. Запомнишь, не запомнишь — без разницы. Договорились?

Я поглядел на него снизу вверх. Взрослые всегда думают, что делают нам одолжение. И забывают, что мы проживем дольше.

А значит — будем умнее.

## 5.

Ресторан «Янтарь» открывался рано по простой причине — он не был в полном смысле рестораном, скорее — недорогим кафе. Студентам он не особо подходил, а офисным работникам — в самый раз. В зале было две зоны — самообслуживания и с официантами.

В этот час во второй зоне почти никого не было, и когда через плетеную арку туда вошли мужчина с ребенком, к ним моментально приклеился вышедший из кабинета менеджер. Разумеется, это была не его работа. Но отчего ж не размяться...

— Прошу! — широким жестом пригласил он посетителей. — Кушать будете?

Мальчик в этот момент уже забрался на стул и потянул к себе меню.

— Э-э... — поколебался мужчина. — Да. Коля, ты что будешь?

— Сейчас! — сказал ребенок, переворачивая страницы так грубо, что менеджер поморщился.

Чингис перехватил его взгляд, улыбнулся и твердо попросил:

— Пусть нас Настя обслужит!

Менеджер поднял брови. Иногда и он удивлялся.

— Вообще-то, это, кажется, не ее столик.

— Что нам теперь, пересаживаться... Алексей? — с трудом прочитал на бейджике витиеватую надпись клиент.

— Хорошо. Располагайтесь, — подумав самую малость, разрешил менеджер.

— Минералки сразу принесите! — попросил Марат.

Алексей важно кивнул, посмотрел в одну известную ему даль и слегка махнул кому-то рукой. Откуда-то быстро выплыла молодая женщина в изящной, даже несколько кокетливой форме с белоснежным фартуком. Пока она шла, Чингис тихо, но внятно сказал:

— Вот Настя. Хотел с ней поговорить — пожалуйста. Я тебя охранять должен, а не кухарок твоих уговаривать. Но совет дам. Ты ведь... хоть и маленький, но мужчина.

— Это как? — также тихо спросил Коля.

— В глаза ей смотри! Они тогда теряются.

— Кто теряются — женщины?

— Да, — усмехнулся Марат.

Мальчик бросил меню на стол и посмотрел на Настю.

— Не так! — вдруг громко сказал Чингис.

— Простите, что? — не поняла официантка, машинально открыла блокнот и наткнулась взглядом на Колю. Тот не сводил с нее глаз, но говорил с Маратом.

— А как? — спросил он.

— Ты сильнее ее.

— Не знаю... — неуверенно произнес мальчик.

— Я говорю — сильнее! — нахмурился Чингис.

— Может быть, я подойду попозже? — подчеркнуто вежливо спросила Настя, отвела глаза и закрыла блокнот.

— Нет! — вдруг отчаянно сказал Коля. — Не надо позже... Давай сейчас!



Женщина почти фыркнула, но опять открыла блокнот и приготовилась записывать:

— Слушаю?

Мальчик начал стучать пальцами правой руки по столу, высоко поднимая запястье. Настя удивленно смотрела на его руку. Потом Коля с размаху хлопнул ладонью и смял скатерть:

— Ты вот тут ходишь, еду разносишь... А Джек сухой корм ест. А он не привык. Ему варить надо. И мне варить надо. И Чингису...

— Мне — не обязательно... — усмехнулся и перебил Марат.

— Ты там наверху гуляла. А я внизу был, — не обращая внимания на его слова, резко и звонко продолжал Коля, — один. Ничего не знал. Тебя не видел. Но ты готовила, а я ел. Вкусно. Мясо было жареное, я помню. Сделаешь еще?

— Что? — из всего этого монолога она поняла только то, что речь идет о собаке. — Ты про какого Джека?

— Про голодного! — вмешался Чингис.

— Я что-то вас не понимаю! — сказала Настя. — В чем дело?

— Зато мы понимаем... Ну-ка, Коля, достань бумагу и прочитай.

Мальчик кивнул, похлопал по карманам, нашел вчетверо свернутый лист, развернул его и, шевеля губами, стал старательно и с удовольствием читать:

— Настасья Павловна Бес... темьянова. Русская. Год рождения один... вот это как будет, Чингис? — спросил Коля и пододвинул к нему бумагу.

— Не надо, дальше давай...

— Ну ладно... Образование начальное высшее... Что такое начальное высшее? Школа, что ли?

— Поступила в институт, бросила, — сказал Марат.

— А зачем поступала? — удивился мальчик.

— Ты у нее спроси! — показал на женщину рукой Чингис.

— Настя, — спросил Коля, — зачем поступала?

— Э-э... — протянула потрясенная Настя и не нашлась, что ответить.

Мальчик глянул на нее снизу вверх и продолжил:

— Место работы — ресторан «Янтарь», официантка... Это ж здесь! — засмеялся Коля. — Предыдущее — домработница у Найденова Петра Алексеевича. Не замужем. Детей нет. Проживает по адресу... тут цифр и букв много, не буду читать... Не привлекалась. За границу не выезжала. Один неоплаченный... что такое «кредит», Чингис?

— Что-то купила. Дорогое. Сразу денег не хватило, будет частями отдавать...

— На сумму... тут какие-то цифры... не буду, не нравится... Мать... Бестемьянова Лидия Константиновна. Отца нет. Почему нет? А где он? — удивился Коля.

Двое, ребенок и взрослый, обсуждали стоявшую рядом женщину... как если бы она была в коме или вообще — нарисованная.

— В чем дело! — вдруг очнулась Настя, загнипнотизированная этим спектаклем, и вскрикнула: — Вы из милиции, что ли? Да сколько можно, я уже вам все рассказала!

Марат взял пустой чистый бокал, покачал его, посмотрел на свет и аккуратно поставил на стол:

— Я минералку просил у вашего борова. Ну и где вода? Слышишь, Коля, говорят, ты из милиции!

Мальчик отчего-то с удовольствием покраснел.

Женщина поколебалась и принесла бутылку.

— Открыть?

Чингис поморщился, железными пальцами сорвал пробку, плеснул себе и Коле:

— А Джек действительно есть хочет, — сказал он задумчиво. — Поедем?

— Куда? — спросила женщина.





— Адрес ты лучше меня знаешь. Слушай, Настя, тебе не все ли равно — где работать? Присядь!

— Нам нельзя! — ахнула Настя.

— Таким как ты всегда все будет нельзя! — усмехнулся Марат. — Объяснить тебе по-простому, раз не понимаешь?

Настя поколебалась. Оглянулась по сторонам.

— Ну?.. — осторожно спросила она.

— Ты вот этому мальчику нужна! Узнаешь его?

— Нет, — сразу испугалась женщина, — я его первый раз вижу.

— И он тебя ни разу не видел. Но руки твои запомнил. Оцени это! — миролюбиво сказал Чингис.

— Какие руки? — с трудом соображала Настя. — Погодите, а это не...

— Ты несколько дней работала не только на Петра, но и на этого мальчика! А он сидел в подвале. Трескал, понимаешь, то, что ты готовила...

— Поедем с нами! — подал голос Коля. — Я хочу, чтобы мы вместе были. Камень про тебя хорошо говорил. У тебя же нет никого? Зачем тебе ресторан? А там Джек, он тоже по тебе соскучился! Он есть хочет!

Женщина круглыми глазами посмотрела на Марата:

— Я не знаю... ерунда какая-то...

— Да никто не знает, — ухмыльнулся Чингис. — Такой вот пацан, особенный... Ты можешь его не жалеть. Отвернуться. Не обращать внимания. Но ему сейчас непросто. Ему всегда теперь будет непросто. Сама подумай: на свете миллионы людей, миллиарды... А он только тебя просит. Тебя часто просят помочь? Мужчины часто просят? Не смотри, что он маленький. Он сильный. Поможешь — не забудет, а отвернешься — тоже не забудет. У волчат память хорошая.

— Да что я должна делать-то? — неуверенно спросила Настя.

— Что и раньше — работать в доме Найденова. Получать зарплату. Здесь ты кто? Принеси-подай, исчезни и не мешай... Кто за задницу ущипнет, кто чаевых не даст, а кто и вовсе норовит сбежать, не рассчитавшись, скотина. А там ты, милая, какая-никакая, а хозяйка будешь. Разве плохо?

— Хорошо! — вдруг улыбнулась женщина.

— Тогда поедем?

— А управляющий? — спросила Настя.

— Подсказать? — усмехнулся Чингис.

Настя покачала головой, но сделала последнюю попытку:

— Не могу я сейчас! Да и в казенном я сверху донизу, переодеться надо! Давай-те завтра?

— Нет! — испуганно и звонко крикнул Коля.

— Нет! — эхом откликнулся Марат и тут же встал. — «Завтра» у нас теперь свое собственное.

Женщина посмотрела на потолок, словно там был какой-то особо ценный совет, усмехнулась, облегченно выдохнула, сорвала с себя фартук и швырнула его на стол.

— Черт с вами... Уговорили!

— Ура! — шепотом закричал Коля и неожиданно заулыбался.

Из глубины ресторана незаметно проявился кисло раздраженный — издалека было заметно — управляющий и хмуро поинтересовался:

— В чем дело, Настасья?

Она посмотрела на Чингиса со жгучим вызовом. Мятно-перечный такой, требовательный, лукавый взгляд. На такой нельзя не ответить. Стоять, ничего не делая — тоже нельзя.

Марат крикнул, подошел вплотную к менеджеру, взял его за лацкан и слегка потянул вниз:

— Мы забираем Настю... С этой минуты она — наш сотрудник.



— Не понял... — действительно не понял менеджер.

— Рассчитайте ее. Сегодняшний день можете не учитывать. Так уж и быть...

— Но... — все еще тормозил менеджер.

— За минералку возьмите, — Марат сунул ему в нагрудный карман хрустящую новую купюру.

Управляющий машинально прижал карман ладонью и робко поинтересовался:

— Простите, а вы кто?

— Я из службы безопасности компании «Антакорс». Настасья Павловна успешно прошла собеседование и принята на работу.

— Понимаю... — выразительно кивнул менеджер. — Одну минуту, сейчас все сделаем...

Когда на крыльцо «Янтаря» вышли трое, они уже могли вместе улыбаться, говорить намеками и понимать друг друга еще не с полуслова, но будучи уже на пути к этому.

Чингис снял автомобиль с сигнализации и твердо приказал:

— Настя вперед, Коля — назад!

Это было разумно, никто даже не возразил.

Женщина, усевшись, вдруг рассмеялась.

— Ты чего? — удивленно посмотрел на нее Марат.

— Да ладно, — отмахнулась она. — Или сказать?.. Ладно, скажу... Я полчаса назад думала: ну и денек начался... Тяжело, муторно. К вечеру ноги загудят, опухнут. У меня венка одна, зараза, варикозная почти... Буду ходить, приносить-уносить, улыбаться, руки правильно держать, между столиками струиться, чтобы других не задеть. А кругом сволочи, хамло... Потом домой... Придется самой добираться, мы же поздно заканчиваем. И так каждый день. Такая тоска, если бы знали... Идешь домой, а думаешь — как же потом на работу-то... Еще не отдыкала, понимаете, а уже страшно обратно идти.

Коля уже расположился на заднем сидении, но вдруг резко встал, дотянулся и обнял ее сзади, жарко шепнув ей в ухо, быстро и азартно:

— Мы тебя не отпустим теперь! Да, Чингис?!

Тот хмыкнул и привычно запустил двигатель:

— Пристегнулись все! — приказал он, — Коля, ты тоже!

Но получилось совсем не зло. Даже, может быть, ласково, по-доброму. Но где оно, это добро, хранится? Не раскопаешь.

## 6.

Милевич сидел в рубашке с короткими рукавами, держа в одной руке трубку стационарного телефона, а в другой — свой мобильник. Перед ним лежал только что пришедший факс.

— Одну минуту! — крикнул Милевич в трубку, положил ее на стол и перехватил поудобнее свой сотовый. — Я понимаю, я понимаю!..

В этот момент на пороге кабинета появился Чингис, явно не собиравшийся сразу же исчезнуть.

— Так... — посмотрел на него замороченный начальник на Чингиса. — Что?!

— Костя, я прошу меня освободить от охраны Коли, — вдруг ляпнул Чингис.

— Ага, — с издевательской ноткой в голосе протянул Милевич, — делать мне нечего, только вас тасовать! И кого вместо тебя?

— Дипломата можно, Серегу, — необдуманно сказал Чингис и сам же поморщился.

С коммуникабельностью у Дипломата были проблемы. Отсюда и прозвище.

— У него мужики в руках обсираются, а ты хочешь ребенка ему подсунуть! У тебя что, вообще в башке переклинило?.. Наталья, — важно поднял палец вверх



Милевич, — Наталья тебе доверяет. Я спрашивал. Коля привязался. Чего тебе еще надо?

— Наталья в тумане сейчас. Она что угодно скажет. Сегодня одно, а завтра — поперек.

— Чингис, ей-богу, не до этого мне. Ты видишь, что тут творится? Наталья в себя придет, Колю ей на коленки посадим, губернатора какого-нибудь прицепим, само собой, а сейчас — некогда! Не могу я тебя заменить...

Милевич взял со стола сотовый телефон, покачал в руке, бросил обратно, вздохнул и спросил уже спокойней:

— Как там вообще твой подопечный?

— Он хочет жить в этом доме.

— В каком? Найденова? — удивился Милевич. — А чем ему свой дом не угодил?

— Не знаю. Психолог сказал — пройдет. Он много говорил, я мало что понял...

— Ладно, — перебил его Милевич, — давай так: несколько дней перекантуется, пусть пацан делает, что хочет, просто глаз с него не спускай... а потом решим. Но на всякий случай видеокamеры там прикрути и сюда на сервер картинку выведи. Найди нашего айтишника, скажи — я приказал, пусть на складе возьмет, что потребуется. И компьютер Коле поставьте, пусть отвлечется... Что-то еще?

— Деньги на питание и на прислугу...

— Ого, — удивился Милевич, — он уже прислугу нанял?

— Я детям не умею готовить, — раздраженно ответил Чингис, — а в ресторанах — дерьмо для взрослых...

— Стоп! — перебил его начальник и набрал короткий внутренний номер. — Катя! Сейчас подойдет Руфаев, выдайте ему пятьдесят из резерва службы безопасности. На какие нужды?.. Напиши — «организация системы видеонаблюдения».

Бросив трубку обратно, Милевич хотел что-то добавить, но телефон требовательно заверещал — и Костя только развел руками, глядя в глаза Чингису.

Поняв, что аудиенция окончена, Марат вздохнул и вышел в приемную.

Через час Чингис с компьютерщиком уже затаскивали в дом высокотехнологичное барахло. Системный блок занесли в кабинет и подключили к двум мониторам — одному обычному и второму сенсорному, врезанному в столешницу. Коля сразу стал их осваивать и надолго выпал из реальности.

— Ух ты! — присвистнул айтишник, зависнув летучей крысой из фильма ужасов под самым потолком.

— Что такое? — спросил Чингис, больше любопытствуя, отчего тот не падает, хотя все законы природы это приветствуют.

— А тут уже есть камеры! — объяснил специалист. — Под пожарную сигнализацию замаскированы. Их только подключить и настроить... Все грамотно! Сейчас прослежу, куда витая пара пошла...

Через пятнадцать минут обнаружили все нужное и ненужное, а еще через час дом был полностью подключен к серверу. Чингис достал сотовый и позвонил в офис.

— Картинка пошла, — отпартовал он, — фас, профиль... Видно хорошо? Пятна на линзах имеются? Почистим... Камер достаточно? Все, ставь на слежение...

На крыльцо выскочил Коля с криво нарезанным бутербродом в руке. Между слоев пухлой булки торчали какие-то неизвестные овощи.

— Не понял, — удивился Марат, — что за кухня народов мира? Только не говори, что это Настя тебе такой ужас приготовила!

— Не-е, — с любовью оглядел кулинарное произведение искусства мальчик, — это я сам! Она наверху убирается, — и вцепился зубами прямо в центр композиции.

— Ладно уж, пошли, научим тебя есть, — покачал головой Чингис.

— Зафем? Я и так фуюю! — возразил мальчик.

— И за что мне это все?.. — проворчал телохранитель, вздохнул и прошел в дом. — Пошли, чудовище...



## 7.

На мой взгляд — было чисто... Почти чисто. Лапы Джеку я сам лично вытер мягким ковриком. Хотел найти полотенце, но возле двери его не было. Пока вытирал, он меня умудрился всего облизать.

Но все равно — грязи не было. А Настя где-то ее все равно нашла и убирала три дня. Непонятно, откуда женщины берут мусор... Сидишь, играешь себе, ешь — ничего нет, чисто. Вообще ничего. Потом приходит Настя и целый час вытаскивает откуда-то горы грязи, да еще и причитает при этом. Похоже, она сама ее и приносит...

Пока она носилась со шваброй и пылесосом, нам с Чингисом пришлось во дворе делом заниматься.

Сначала мы учились залезать в машину и вылезать из нее. Вернее, это я учился, а Чингис показывал. Он сказал, что очень много людей погибло, не освоив самого элементарного навыка — быстро покидать машину или в нее забираться. В общем, я учился открывать все двери, бросаться внутрь и пристегиваться. На все места, включая водительское. Потом я отстегивался, распахивал настежь дверцу, вылетал на улицу и бежал к стриженным кустам барбариса. Со второго раза я стал успешно их перепрыгивать и исчезать с глаз. Почему со второго? Потому что в первый раз я решил пролететь через живую изгородь и содрал с себя половину кожи. Барбарис, оказывается, был весь утыкан иголками.

Больше всего эта физкультура нравилась Джеку. Он бегал с высунутым языком вокруг и жутко радовался всему, кроме барбариса. Это понятно, он с ним еще раньше познакомился. Я несколько раз упал, споткнувшись о Джека, а однажды даже прихлопнул ему ухо дверцей. Не само ухо, а шерсть на нем. Джек заскулил, ухо умудрился вырвать и стал его чесать задней ногой.

— Нормально, — сказал Чингис, — пес у нас теперь будет фактором неожиданности. Чтобы не расслабляться.

— Я ему ухо поранил! — кинулся я спасать Джека.

— Не думаю. Не волнуйся, он же собака. Собаки всегда в шрамах. Их просто не видно из-за шерсти. Я тебе покажу как-нибудь, как они дерутся. Давай еще один раз, а потом...

— Компьютер? — быстрее пули предположил я.

— А потом, — назидательно поморщился Чингис, — сквозной уход через салон.

— Это как? — спросил я.

— Открываешь дверь с одной стороны, захлопываешь, пробираешься, открываешь дверь с другой, уходишь в том направлении.

— А зачем? — удивился я. — Я уже есть хочу. И компьютер...

— Есть хочу — это вообще отлично, — кивнул головой Чингис, — но не обращай на это внимания.

— Почему?

— Голод — это, наверное, меньшее, что тебе придется в жизни терпеть. Еще будет холод, боль, ненависть и еще всякое. Ко всему придется привыкнуть. Не показывай никому, что ты хочешь есть... или что ты мерзнешь, или что тебе плохо. Ни-че-го никому не показывай! И еще... пока ты маленький, над тобой все будут насмехаться. Это нормально. Убьешь их потом. Это их насмешки — не твои. Ну... пошел!

Я прыгал вокруг машины еще час.

«Убьешь их потом». Ну да. Камень мог так же сказать... или даже говорил — я просто плохо помню. Потом, конечно, потом... Куда они денутся.

Я забирался в автомобиль, выпрыгивал, пробирался по сидениям все быстрее и быстрее. Я сбил коленки и локти, а Джек от радости даже потерял голос — столько удовольствия он, наверное, сроду не получал. Но ухо уже под дверцу не засовывал,



поумнел. В конце концов Чингис, очень довольный, сказал, что хватит, и мы пошли в дом.

Хотя Настя все еще носилась с пылесосом, добывая остатки грязи, но обед все равно уже был готов. Восемь рук у нее, что ли?..

— Мойтесь! — приказала она.

Я посмотрел на Чингиса. Он кивнул. Я вздохнул и пошел в ванную.

Здесь, конечно, было не так удобно, как у меня в старом доме. Там раковина под мой рост, невысокая. А здесь — большая, взрослая, я еле достал до крана. Помыл руки, конечно, а лицо не стал. Я им на землю не падал.

Вытер руки полотенцем, вышел и сразу наткнулся на Чингиса. Он провел мне по лбу пальцем, развернул за плечи и снова затолкал в ванную. Пришлось мыть лоб. Подумал, помочил еще щеки, потом взял полотенце и все это отполировал до блеска. Полотенце тут же стало другого цвета, предательского, я его просто повесил чистой стороной наружу и опять вышел.

В этот раз Чингис подозрительно прищурился, но промолчал, а пока он думал, я забрался на стул, схватил ложку и кусок хлеба. Я так есть хотел, чуть слюной не захлебнулся от запаха супа.

— Погоди, — сказал Чингис. — Настя, налей ему полстакана воды!

— Зачем? — спросил я. — Я воду не хочу.

— А ты выпей, — то ли попросил, то ли приказал он, я так и не понял. Но спорить я не стал.

Чингис — он даже не сильный, он правильный. Скажет вроде неглавное, а оно так и получается, что в точку... Воду так воду. Хотя слушаться всегда неприятно, но сейчас спорить не хотелось. Да и что это вода меняет? Пусть будет вода.

Я выпил полстакана залпом.

— Посиди минуту так, — сказал Чингис.

Я даже разозлился: то это сделай, то другое, то потерпи, то посиди... Джеку налили миску — он уже все вылакал и облизывается. Я что, хуже собаки?!

Чингис объяснил:

— Вода меняет твоё тело. Готовит его. Промывает. День начался — выпей воды. Есть собираешься — выпей воды. Спать собираешься — тоже. Немного. Когда будешь умирать, тебя обязательно будут поить. Так всегда бывает, если кто рядом. Но запомни — даже если никого нет, перед смертью выпей воды. Ну все, можешь есть...

Я рванул зубами хлеб и погрузил ложку в суп. Умирать — это наверняка не сейчас. Какая разница, кто там будет рядом... «Перед смертью выпей воды...» Надо запомнить.

После супа была курица с картофельным пюре, а после нее — чай. Но конфет не было. Были орехи и сухофрукты.

— А конфет нет? — жадно спросил я.

— Нельзя! — сказал Чингис.

— Почему?

— Сахар разрушает эмаль. Зубы портятся.

Я вздохнул, но не стал ему надоедать. Сам он пил зеленый чай с молоком, без сахара. По-моему, тогда уж лучше просто молоко — так вкусней. Или черный чай с молоком и с сахаром. Или вообще с медом. А так... цвет некрасивый. У кофе, например, с молоком цвет становится приятный. А зеленый чай молоко превращает в какое-то серое пойло. Как будто он не с молоком, а просто грязный, испорченный... Ну ладно... Свой чай я и без конфет выпью.

Я уже привык к дому Камня. А как-то на днях надо было решить, кто и где спит.

— Ты в спальне, — сказал тогда Чингис, — я внизу, на диване, он раскладывается. Оттуда я куда угодно попаду, если что. Настя, думаю, наверх поселим.

— Куда наверх? — удивилась она. — В мансарду?



— Да! — крикнул я. — Там классно, свету много! Правда, деревьев не видно. Зато дождь слышно... и видно, как он льется по стеклу. Я люблю, когда по стеклу...

— Я бы лучше дома ночевала. Хорошо? Утром приеду, вечером уеду...

— Настя, я тебя возить не смогу, я всегда должен быть с Колей, — предупредил Чингис.

— Я сама уеду, — усмехнулась Настя, — я быстро хожу, щучкой. Остановка в трех кварталах. Раз — и там.

И тут я, по-моему, неплохо придумал:

— А давай ее вместе отвезить домой! Вместе — и щучкой.

Чингис посмотрел на меня странно и усмехнулся:

— Что еще придумаешь?

— Еще ты ее можешь отвести, а я могу спрятаться в бункере. Там никто не найдет, если что.

— Вот же бойскаут, — усмехнулся Чингис. — Прекратите оба! Вторую машину нам сейчас не дадут, но на такси средства выделены. Вот телефон, — Чингис протянул Насте визитку, — как только нужно будет куда-то по хозяйству — звони, это наши партнеры. Привезут, отвезут, подождут... Никаких других перевозчиков. Никаких частников. По своим делам можешь ездить хоть на автобусе, хоть на велосипеде — дело твое. А вечером будем тебя на такси отправлять.

— Чтобы не обидели, — подсказал я, — или не ограбили.

— Это не самое главное, — похрустел суставами пальцев Чингис.

— А что главное? — удивился я.

— Главное — не менять окружение подопечного. Тебя. Настя каждое утро должна быть здесь... и, желательно, живая.

— Настя, — испугался я и почувствовал, как в глазах начало щипать, — зачем тебе домой?

— Ну... — объяснила она, — я там отдыхаю лучше. У меня комната на подселении. Закроюсь и сплю. Понимаешь, там же мое все... Две подушки. Одна большая, а вторая маленькая, под руку. Как тебе еще сказать... я там могу поспать полчаса, а отдохнуть — как целый день.

— И все? — удивился я. — Подушки — и все?

— Ну, — подумала Настя, — это сложно объяснить. Этого вроде мало, а на самом деле — много.

— А тебя там кто-нибудь ждет? — быстро сообразил я.

— Ты такой любопытный! — засмеялась Настя и взъерошила мне волосы. — Нет, никто меня не ждет.

Я посмотрел на Чингиса и все понял. Осталось только, чтобы он понял:

— У нее там гнездо с подушками. Нам надо их привезти — и все. Вместе съездим. Все. Втроем.

Мне стало так все предельно ясно, что я не понимал, почему они не соглашались. Мнутя, глазами углы ищут. Ведь нет же проблемы? Плохо быть маленьким. Никто с тобой серьезно не говорит. А мне надо, чтобы люди вокруг были понимающие, чтобы они слушали меня и не смеялись.

Чингис посмотрел на Настю, почесал нос и спросил ее:

— Может, ты иногда будешь тут ночевать? Коля будет рад.

— Конечно, рад! — крикнул я. — Я тебя даже слушаться буду!

— А по-другому, значит, не будешь? — спросила Настя.

Тут я почувствовал, что сказал что-то не так. Пока я думал и морщился, Чингис встал, засмеялся и сказал:

— Когда говоришь с женщиной, не кидайся словами. Ты ей пообещал. Этого нельзя делать. Они этого только и ждут.

— Не говори ерунды, Марат, — вдруг вспыхнула Настя и отмахнулась, — это просто разговор!



— Я поэтому и говорю, что это просто. Чтобы потом не было сложно. Когда он вырастет.

— Я подумаю, — вздохнула Настя.

— Ты подумай! — сказал я.

Мне показалось — по-взрослому. Как в кино, что ли. Там всегда так — красиво, тяжело, точка в точку, ни раньше, ни позже. I'll be back.

Чингис ничего не сказал, только посмотрел вниз и улыбнулся одними глазами.

— Сам-то чего не ешь? — спросила его Настя.

— Да, — спохватился Чингис и схватился за ложку, — чего это я!

Мы с Чингисом всегда трескали так, как будто еда завтра кончится. Вся. Так говорила Настя.

— Мне иногда даже страшно, — сказала она как-то, — вот не будет, скажем, обеда, а буду я. И вы придете голодные. Эти глаза напротив...

— Вот и свела судьба нас... — усмехнулся Чингис.

— Что? — не понял я.

— Песня такая... — ответил Чингис. — Мы подождем, Настя. Мы подождем.

— Конечню! — кивнул головой я, мужественно заталкивая в себя котлету.

— Очень сильно надеюсь, — улыбнулась Настя и пошла за чайником.

Пару дней она действительно уезжала домой, где у нее гнездо. А потом в мансарде появились две подушки. Одна большая и одна маленькая.

И она сделала себе другое гнездо. Там было столько солнца, что воздух звенел и переливался. И еще — окна смотрели почти вверх. Туда, где птицы.

У Насти там был низенький диванчик и тумбочка, и шкафчик. Иногда я залезал туда, лежал на ковровом покрытии и смотрел вверх. Джек искал меня по всему дому, а когда находил — сильно радовался. Хотя ему тяжело было пониматься по лестнице. Потом Настя находила нас обоих и выгоняла вниз.

— Будете мне мешать — уйду обратно жить. Домой.

— Почему? — спросил я.

— У каждого должно быть свое собственное место. Ты можешь в него прийти, но только с моего разрешения.

— Как гнездо? — спросил я.

— Да. И потом, я женщина...

Тут я не совсем понял. И что это значит? Я вот — мужчина...

— Ты не мужчина еще, ты еще мальчик. Был бы ты мужчина, ты бы сам в мою спальню не залез. Хотя... или залез, но это уже из другого фильма. В общем, захотите с Джеком полежать в мансарде, спросите разрешения...

Я не стал возражать — просто почувствовал, что так правильно. И, потом, на улице все равно было больше интересного.

Через неделю Чингис повесил во дворе здоровый красный боксерский мешок. Я думал, он наденет перчатки, но он только перемотал кисти рук эластичными белыми лентами и стал часами бить — сначала медленно, тяжело, а потом все быстрее, да так, что я не видел его рук.

— А форму-то я изрядно потерял! — удивился Чингис.

Еще через неделю ленты стали везде серыми и местами розовыми. Настя их постирала.

— А можно мне тоже? — попросил я.

— Тебе еще рано, — ответил он, — вернее, не рано, конечно... Рано — с таким мешком. Он же под меня настроен... Все будет, не волнуйся. Я же тебя учу двигаться. Завтра пониже отпущу крепление.

Двигаться он меня учил, это да. Чингис заставил меня прыгать через скакалку. Она мне сразу не понравилась... и в ногах путалась. Я вообще хотел отказаться, потому что я точно знал, что скакалки — для девочек. Но оказалось, что Тайсон тоже прыгает... и Джеки Чан, и даже оба брата Кличко. И Чан прыгал так, что ног не было видно. Не зря же они это делают.



— Любой бой, даже бокс — это ноги, — сказал Чингис. — Тебе может показаться, что в бою надо уметь бить. Это, конечно, так. Но ноги — это тактика, мастерство. Оказаться там, где тебя не ждут, гораздо важнее, чем сильно ударить. Я тебе покажу пару фильмов, где проигрывают вчистую бойцы, обладающие страшными ударами. Вначале они кажутся намного сильнее противников. А все потому что ноги — это... ум. Ты, наверное, думаешь, что бокс — это драка... а это, Коля, шахматы!

Каждый день мы с Чингисом учились прыгать, бегать, колотить мешок и приседать. Мне скучно не было. Хотя я уставал и ранился, а многое не получалось, но главное — мне показалось, что надо мной вроде как зонтик.

Как-то под вечер, когда я прыгал через скакалку, начался дождь. Но Чингис приказал не останавливаться. Вода сначала капала, а потом мы сразу стали мокрыми, словно свалились в воду. Даже скакалка стала тяжелой, и я запутался. Тогда Чингис посмотрел на меня, остановился, отложил свою скакалку, развел руки в стороны и посмотрел в небо. От его лица отскакивали жесткие капли, а он улыбался. Потом он закрыл глаза, а вода струилась по его телу.

Тогда я сделал точно так же — руки в стороны, лицо вверх. И почувствовал, что я сильнее дождя.

Когда сверкнула молния, а потом, через несколько вдохов и выдохов кипящей тишины, небо разорвалось на части, мне почудилось, что я сильнее грома. Рядом с Чингисом я не боялся. Я мог бежать сквозь огонь, падать с огромной высоты или даже истекать кровью. Но страха я не чувствовал.

## 8.

В один из погожих дней Чингис, устав колотить мешок и приняв контрастный душ, полез в гараж навести порядок.

«Ниссан» к тому времени перестал быть уликой, его вернули на место, хотя уже и не на ходу — неумолимые следователи вскрыли ему брюхо, ничего особенного не нашли, но после этого ездить «японец» сразу перестал. Чингис заглянул внутрь и без всяких особых ухищрений увидел банальное воровство запчастей — машина была выпотрошена до состояния макета, служивые сняли даже обшивку салона.

К тому времени в гараже прижился бравый железный конь Чингиса, и двум машинам надо было как-то делить жизненное пространство. Изрядно полегчавший корпус «японца» Чингис придвинул вплотную к забору, за которым жила старушка, и больше не тревожил. Коля в нем учился крутить баранку (рулевое колесо осталось), нажимать педали и чудом сохранившиеся кнопки.

Инструменты в гараже у Камня были когда-то сложены идеально. Но лихорадочный обыск, разумеется, от порядка ничего не оставил. Чингис поднимал гаечные ключи, молотки, монтировки, протирал их от пыли и рассовывал по ящикам. Мусор высыпал в мешки, чтобы потом вывезти с глаз подальше. Часть банок с красками пришлось выкинуть, какие-то из них выжили и были расставлены по полкам. Крепеж всех видов Чингис немного рассортировал и рассыпал по жестяным коробкам.

Верхняя полка была почти пустая, с нее при обыске все своротили вниз. Но альбом по «Нисану», большой, с иллюстрациями, лежал нетронутый — кому он нужен, этот альбом...

Чингис альбом достал, протер от пыли и даже открыл, почувствовав вдруг, что в альбоме слишком пухлая обложка. Бросив альбом на верстак, он рассмотрел обложку повнимательнее и вытащил из не слишком приметного разреза пачку бумаг и фотографий.

Фотографии были явно из детства, черно-белые, со стриженными под ноль воспитанниками чего-то государственного. Судя по всему — как раз из того детского дома, откуда вышел в мир Камень.





На двух маленьких снимках детей было немного, человек пять-шесть. На одной большой фотографии присутствовал, видимо, весь контингент. Они чинно сидели на большом крыльце, занимая все ступеньки, снизу улеглись два пацана, не уместившиеся с остальными. На обороте большого фото был полустертый список ребятешек — порядковый номер, имя и фамилия. Читалось далеко не все, а некоторые фамилии и вовсе выцвели.

Пятнадцатым в списке значился Найденов Коля. Впрочем, четвертый, одиннадцатый и еще трое тоже носили эту фамилию. Видимо, с ее выбором руководство особенно не заморачивалось. Чингис с трудом, но все же нашел в пацане что-то общее со взрослым Камнем. Впрочем, он его живого и не видел... А так — мальчик как мальчик. Худой только. Хотя толстых на фото вообще не было — не санаторий.

На листах бумаги было вообще что-то непонятное: стрелки, ромбы, домики, названия, иногда имена. Судя по всему, сам Камень очень давно не вытаскивал бумаги из альбома или вообще о них забыл. В любом случае, смысл написанного сходу разобрать не удалось.

Через полчаса Чингис закончил уборку, сбросил мусор в черные пластиковые мешки, взял с собой все бумаги, сунув их в непрозрачный пыльный пакет, и пошел в дом.

За порогом он первым делом столкнулся нос к носу с Настей. Увидев мужика в грязевых потеках, она всплеснула руками и тут же отправила его в сторону ванной. Марат улыбнулся, сделал вид, что страстно целует (ужас отразился на ее лице), протянул ей пыльный пакет и ушел туда, где фаянс, кафель и горячая вода делают из грязных орангутангов человекообразных.

Держа гадость двумя пальцами, Настя бросила ее на тумбочку в прихожей и немедленно убежала на кухню отмывать руки ромашковым средством для мытья посуды.

По дому вихрем промчался Коля с душераздирающим призывом к обеду.

— Через полчаса! — крикнула ему вслед Настя, вытирая руки.

Коля тут же исчез за порогом, оставив золотые пылинки в солнечном воздухе. За ним мохнатой тенью вылетел на улицу Джек, полный радости.

— Терпеть не умеет, — сказал Чингис, выходя из ванной.

— Ты тоже-то не очень-то терпеливый, — с загадочной улыбкой заявила Настя.

— Ну... полчаса-то я потерплю, — улыбнулся Чингис и заметил пакет на тумбочке. Подумал секунду, достал сотовый и набрал Милевича: — Костя, я тут нашел в гараже фотографии и бумаги Камня. Нам или ментам понадобятся? Приезжай, посмотри... или я сожгу... Хорошо, не буду трогать.

Милевич не на шутку заинтересовался. Это понятно, он должен был проявить любопытство. Но почему в его голосе мелькнул испуг? Этого Чингис не знал. Он решительно развернулся, дошел до стола с компьютером, прихватив пакет, отсканировал все бумаги, спрятал файлы в папку со скучным названием, а сами бумаги сунул в ящик стола. На всякий случай.

Вечером, уже на закате, все трое сидели в саду и ели арбуз. Марат и Настя на стульях за круглым пластмассовым столом, а Коля на качелях. Он умудрялся одновременно уничтожать красно-зеленый полумесяц и при этом ставить рекорды полета.

— Не обляпается? — спросила Настя.

— Обязательно, — уверенно ответил Чингис, — это не страшно... но вот упасть может.

В этот момент Коля не удержал кусок арбуза, сам тоже неудачно зависнув, но Чингис вовремя погасил опасный маятник качелей.

— Азарт — это плохо, — сказал Чингис, ставя Колю на землю, — ты тогда опасности не чувствуешь.



— Зато когда наверху зависаешь — живот становится пустой и холодный! — сказал Коля.

— Это да-а... — протянула Настя. — Может, ему сегодня спать пораньше лечь? — она посмотрела на Чингиса.

— Режим без изменений, — твердо сказал Марат, — у нас еще вечерняя тренировка. И надо об иностранных языках подумать... Скоро осень. Пора учиться.

— Пойдет в школу — научат! — беспечно отмахнулась Настя.

— Ты в школе какой язык учила? — усмехнулся Чингис.

— Английский.

— Скажи что-нибудь...

— Э-э... Спик... там чего-то... Нет... Я спик англиш! Тудей!.. Вот.

— Есть два способа воспитания, — философски заметил Чингис, откашлявшись и придя в себя, — обычный и полезный. Обычный — это как в нашей школе: все растет само по себе, как плесень. Там вообще ничего не надо, даже ума. А полезный — это когда после обучения человек что-то может. Например, подобрать код к замку.

— Я уже учился. Зимой, — выдавил из себя Коля сквозь брызжущий соком новый арбузный кусок.

Настя вопросительно посмотрела на Чингиса.

— Он плохо читает, пишет как попало, знает несколько английских слов, может складывать простые числа. Это информация от Милевича, — ответил тот.

— Иероглифы еще, — заявил, отдуваясь, Коля.

— Какие? — удивились оба хором.

— «Человек», «день», «большой», «сердце»... «один», «два», «три»... ну это просто совсем... «я»... «Я» долго писал — он сложный.

— А «любовь»? — вдруг спросила Настя.

— Тоже сложный. Даже еще сложнее. Там сверху когти в сердце. А ниже... забыл. Но это старый иероглиф. В новом сердца уже нет. Там просто друг.

— Обалдеть... — усмехнулся Чингис. — Научишь?

— Конечно! — почти обрадовался Коля.

— А телефон учительницы помнишь?

— У мамы есть...

— Надо вызвонить.

Машину Милевича Чингис услышал квартала за три — по звуку мотора и по манере зло газовать, когда это не требовалось. Милевич всегда водил агрессивно. Нервы.

Ксеноновый жгучий свет полоснул по забору, мотор за ним взревел и затих. Усталый Милевич толкнул дверь и по инерции чуть не упал вперед, когда она бесшумно открылась на смазанных петлях.

— Почему настужь? — спросил он, не поздоровавшись и держа в руках портфель.

— Только что открыл, для тебя, — спокойно ответил Чингис.

— А вдруг не я?.. Впрочем, ладно... Бумаги далеко?

— Вот.

— Ага! — обрадовался Милевич, выдохнул с облегчением и сунул пакет в портфель.

— Смотреть не будешь?

— Я сегодня уже столько пересмотрел... — усталым голосом ответил начальник, — завтра утром гляну.

— Чаю хочешь? Арбуз есть! — предложил Марат.

— Нет... Некогда, — бросил босс, закрыл портфель и взялся за ручку воротной двери. Пальцы его подрагивали. Он замер на несколько секунд, потом обернулся и добавил: — Завтра к двум часам дня Коля должен быть у мамы в клинике. Сильно просит. Отвезешь, побудешь с ним, потом доставишь обратно.



— У вас что там, аврал? — спросил Чингис. — Тебя же шатает! Если я нужен по работе — только скажи... Тут я просто нянька. С этим и простой охранник справится...

— Мне так спокойней, Марат, — ответил Милевич. — А если здесь будет просто охранник, у меня начнется просто бессонница. А сейчас я хоть четыре часа, но сплю...

## 9.

Раньше я и Чингис были отдельно. Он мог меня привезти, отвезти, что-то показать, но мне с ним было неудобно. Словно я ему мешаю. Или даже он мне. Говорю же — по отдельности.

Но теперь все изменилось. Когда я выскочил из машины (плавно, без задержек, как учили — отстегнуть ремень безопасности, открыть дверь и выпрыгнуть наружу не головой вперед, а ногами), то чувствовал все время его взгляд. Но главное — это, конечно, не сам взгляд, а одобрение. Словно он кивал головой.

Вечером или ранним утром, когда солнце только что показалось, видны длинные тени. Вроде ерунда, но страшно — кажется, что ты огромный. Твоя тень пересекает дорогу, уходит куда-то вдаль, где свою собственную голову уже не разглядишь. Можно взмахнуть руками и стать еще больше. Но если идти на солнце, то теней, конечно, не видно — они сзади. Просто ты знаешь, что там, за спиной, тянешься ты сам, огромный, черный и непонятный.

Чингис для меня — вот такая темная тень. От этого страшно. Он огромный, осторожный, сильный и правильный. Когда я выпрыгиваю из машины, все сразу вокруг понимают, что я — часть его, а он — часть меня. Это нельзя объяснить, это как редкий запах или непонятный цвет — он такой... и больше никакой. И все расступаются, даже если он отходит от меня чуть дальше, чем нужно.

«Если растерялся — всегда лови мой взгляд, — говорит он все время, — все ответы в глазах. Как только мы глазами встретились — дальше смотри, куда я покажу глазами. Я голову поворачивать не буду — только глаза».

Мы дома тренировались. Я так конструктор собирал, машину игрушечную, с пультом — только по его глазам. С третьего раза собрал, она даже поехала. «Возьми»... «вниз»... «вправо»... Когда он на секунду закрывал глаза — это означало «правильно», а когда смотрел прямо, не мигая — «неправильно». Иногда он моргал, потому что просто хотел моргнуть, без смысла. И я не сразу научился такое отличать от «правильно». Но все же научился.

Чингис рассказал, что так общаются профессиональные картежники, когда играют на деньги. Только там участвует все лицо... и руки. Почесал нос — одно значение, постучал пальцами по столу — другое. Когда делаешь это быстро, то никто не замечает.

Мы приехали в тринадцать пятьдесят, а ровно в четырнадцать я попал к маме. Чингис остался внизу, а меня провели на второй этаж.

Я боялся, что она будет сильно больная или старая. А она нет — красивая, как всегда. Только глаза блестят... и медленная какая-то стала, плавная. Обняла меня и вздохнула. Я тоже обнял ее, пригрелся и заплакал. Просто так.

Когда мы поехали сюда первый раз, мне сказали, что мама в больнице. Но в больнице я лежал только один раз, а потом только видел больницы в фильмах. Тут было совсем по-другому: и мама не лежала, и люди в белых халатах не бегали. Никто не стонал и не ругался. И крови не было. Нигде.

У мамы была обыкновенная комната с большим окном, где она спала, а еще вторая, где стоял письменный стол и диван, на котором мы сидели.

— Что-то ты худой! — воскликнула она и ожила, когда я вытер слезы. — Есть хочешь?



На журнальном столике стояла корзина с фруктами. Пришлось съесть яблоко. Но это я зря сделал, потому что потом мне принесли еще какую-то еду — полный обед, даже с пирожными.

Мама поела, а я поковырял вилкой за компанию.

— Что-то ты плохо ешь! — подозрительно посмотрела на меня мама.

Пришлось пирожное съесть. Чаю выпить. Апельсин... У меня даже живот заболел.

— А тебя скоро вылечат? — спросил я.

— Я не знаю, — сказала она, снова какая-то медленная и плавная.

Зашел врач. Она его так назвала. Но на врача он был не похож, он даже не был в халате, зато был большой и гладкий... и говорил слова, которые я не понимал.

— А маму можно забрать? — спросил я.

— Ее никто не держит, Коля, — сказал врач, — просто она устала... и от этого разучилась спать. Мы пытаемся ей помочь. Как только она снова сможет спать, сама вернется домой. Хочешь, я тебе позвоню, чтобы ты за ней приехал?

— Конечно. Мам, а как это — разучилась спать? Тебе просто надо закрыть глаза. И все.

— Я знаю, сынок. Но когда я их закрываю, то вижу папу... и с ним разговариваю. И спать совсем не получается, потому что некогда... И что мне делать?..

Я не знал — и стал ей рассказывать про Джека, про компьютер, про Настю, про боксерский мешок и про кусты барбариса. И что с Чингисом мне не страшно совсем. И что я научился прыгать через скакалку. Не так быстро, как Чингис, но раньше-то я вообще не умел.

Мама слушала. И тут я понял, что с ней не так. Раньше она была сильная. Она могла так посмотреть, что мурашки по спине. А теперь даже у меня глаза сильнее — я смотрю на нее, а она словно расплывается. Я держал ее за руку, гладил, но силы не чувствовал. Руку можно отогреть — и она станет горячей и мягкой. А если отпустить — она опять станет холодной.

— Ты приезжай ко мне почаще... — сказала она на прощанье. — Меня так быстрее выпишут.

— А мы тебя сейчас заберем! — вдруг придумал я.

— Нельзя мне, — вздохнула мама, — сама понимаю, что нельзя. Буду крепче — сама вернусь. Ты не волнуйся, я все о тебе знаю, Марат звонит каждый день, мне трубку приносят.

— Я тебе буду каждый день звонить!

— Не каждый. Когда ты звонишь, я сильно волнуюсь... и лекарства не действуют. Так врач сказал. А мне очень надо выздороветь...

Когда я спустился вниз к Чингису, то слезы уже давно вытер. Марат этого не любит. Разбил коленку, говорил он, — улыбайся. Порезался — зубы стисни. Люди всегда радуются, когда тебе плохо. Главное, говорил он, — рану обработать правильно. Если небольшое ранение — самому. Если серьезное — найти того, кто поможет. Этот помощник — он всегда появится, потому что люди любят смотреть, когда ты ранен. Мир полностью состоит из зрителей и зевак. Полностью. И в нем всегда аншлаг.

— Что такое «аншлаг»? — спросил я.

— Когда в зале нет мест. Все занято.

Я знаю, как бинтовать колено и ступню. Голову и локоть пока не получилось. Голову — потому что не видно, а локоть — потому что одной рукой. Еще я знаю, что йод коричневый, а зеленка, понятно, зеленая. Что в рану нельзя их заливать, а только вокруг. Что от укуса собаки можно заразиться бешенством, а от укуса клеща умереть, но не сразу, не в этот же день. И много еще чего.

Чингис внизу говорил по телефону с кем-то, и из обрывков разговора я ничего не понял.



— Кто такой «опекун»? — спросил я потом.

— Э-э, — протянул Марат, — ну это как папа-мама, только неродной.

— Плохой? — насторожился я.

— Почему плохой? — удивился Чингис.

— У Золушки была мачеха. Неродная.

Он улыбнулся, присел на корточки, расправил мне воротник рубашки и сказал:

— Не бойся. Пока я рядом, никаких плохих не будет.

— Но ты же уйдешь! — отчего-то все равно испугался я. — Дядя Костя прикажет — и ты уйдешь.

— Если прикажет — уйду. Но он не прикажет еще очень долго. Я успею тебя всему научить. Только давай не будем лениться. Хорошо?

— Ага!

По пути домой мы заехали в пару мест. В первом месте он оставил меня в машине и приказал ждать. Недолго, я даже не успел на телефоне выйти в игре на следующий уровень. А во втором мы вместе сходили в какой-то офис и отдали папку с документами.

— Смотри, как надо идти, — объяснил он. — Я правша, бить и стрелять могу только правой. Поэтому ты не должен мне правую сторону даже случайно закрывать. И второе — не забегай вперед. Идешь слева, можно чуть-чуть сзади. Нельзя идти медленно, но и бежать нельзя.

— Почему?

— Чтобы не привлекать внимания. Руки в карманах не держи. Будешь падать — не успеешь вытащить, разобьешься. Слушай не только то, что впереди, но и что за спиной. Вот сейчас сзади кто идет?.. Не оглядывайся!

— Женщина. Каблуками стучит.

— Да, это самое простое, шпильки. Их слышно издали. Щелк-щелк. Подростки-девчонки в таких не ходят, старушки-тетки в таких не ходят — уже многое о ней по звуку сказать можно. Даже то, что работает она здесь, а не клиент с улицы.

— Почему? — удивился я.

— Она идет уверенно, точно зная, куда именно.

Я все-таки оглянулся. На меня мчалась с охапкой папок девушка в обтягивающем синем платье. Красивая. Оглянувшись, я встал как вкопанный, и она чуть в меня не врезалась.

— Осторожней, мальчик! — недовольно вскрикнула она и исчезла за поворотом, ловко меня обогнув.

— Не останавливайся! — взял меня за плечо Чингис. — Если сильно надо — оглянись на ходу, мельком...

Час пик еще только начинался, и мы смогли проскочить домой быстро.

В доме нас ждал псих, он пил чай с Настей. Психолог или психиатр, да.

Увидев меня, он вскочил, отчего-то обрадовался и раскинул руки.

— Здравствуй, Коля! — объявил он.

— Доров... — промычал за меня Чингис и ушел куда-то вглубь дома.

Псих посмотрел ему вслед и покачал головой:

— Давай поговорим! — предложил он.

Я пожал плечами.

Псих засуетился, освободил стол, достал из портфеля какие-то игрушки с книжками, блокнот, ручку и положил какой-то совсем уж маленький телефон на стол.

— А как вы там SMS набираете? — спросил я. — Я и на айфоне-то не попадаю...

Это я соврал. У меня вообще-то Samsung. А у папы телефон был бронированный, как трансформер. Он им орехи колот, на спор.

— Какие SMS? — весело, как к дурачку, обратился псих.

— На телефоне. Кнопки ведь совсем маленькие.



— А! Нет, это не телефон. Это диктофон, для записи голоса. Он нам мешать не будет.

— Хорошо... — сказал я и сел на диван.

— А ты можешь за стол сесть? — спросил псих.

— А вы сами сюда садитесь, тут места много.

Псих немного поморгал, потом поднялся и пересел ко мне на другой край дивана.

Через полчаса мне стало совсем неуютно. Он спрашивал какие-то странные вещи, отчего мне приходилось напрягаться и думать о том, а чем я обычно не думаю. Он перескакивал с одного на другое так быстро, что я не успевал сообразить. Сначала он меня раскачивал, как на качелях. А потом, когда я взлетал, резко останавливал. Вопросы были простые, но они сбивали меня. Со мной никогда никто так не говорил.

— Тебе нравится молоко?

— Да, — отвечал я, — только без пенки.

— А какого оно цвета?

— Белого.

— Как снег?

— Ну да.

— А снег тебе нравится?

— Да... в него можно падать — и не ударишься: мягко.

— А есть его нравится? Любишь есть снег?

Я не понял и задумался. Сосульку у меня мама отбирала. У нее горьковатый вкус, пресный. А снег я никогда не ел. Надо будет попробовать.

— Если в снегу ты найдешь живую рыбу, что сделаешь? — не унимался он.

— А как она туда попала? — удивился я.

— Рыбак шел и потерял, — мгновенно ответил псих, — а ты ее увидел. Что сделаешь?

— В ванну отнесу. Нет, на кухню.

Тут он зашипел, как змей в мультфильме, радостно и гнусно одновременно:

— Тебе ее будет жалко? Жалко или нет? Она все равно не говорит, не плачет, ее не слышно. Ты можешь ее спасти или пройти мимо. Ты можешь ее взять на руки, посмотреть и опять положить на место. Ты можешь помочь ей, а еще можешь сделать вид, что это вообще не твое дело. Что ты сделаешь, когда увидишь прыгающую на снегу рыбу?!

Последние слова он почти прокричал, схватив меня за руку.

Я вырвался, соскочил с дивана и побежал на улицу. Я больше не хотел никаких рыб — ни живых, ни мертвых, ни на снегу, ни на траве. Я этого психа уже ненавидел. Он попал мне куда-то глубоко в мозг. И там застрял.

Джек на улице сразу кинулся ко мне, я обнял его и вдохнул запах нагретой шерстью. Он вывернулся и лизнул меня прямо в губы. Тьфу. И мне все сразу стало понятно.

Псих вышел на крыльцо следом, препираясь с Чингисом:

— Марат, у вас своя работа, у меня своя. Я же вас не спрашиваю, почему у ребенка коленки сбиты!

И тут я услышал в голове: «Они хотят, чтобы ты навсегда остался игрушкой». И еще, хотя это невозможно, я *услышал* улыбку. Не знаю, как мне это удалось, ведь когда улыбаются — не бывает звуков. А потом я посмотрел в глаза психа и тихо сказал:

— Я ее убью.

— Кого? — хором спросили Чингис с психом, причем Чингис ничего не понял, а псих обрадовался.

— Рыбу.



Встал и пошел за дом, туда, где качели. Джек меня обогнал, радостный, довольный.

Игрушкой я уже был...

Игрушкой.

Я.

Уже был.

## 10.

Учительница приехала почти вовремя, припарковавшись на улице у железных ворот.

— Я вас ждал, Маргарита Анатольевна, здравствуйте, — кивнул Чингис, выйдя ей навстречу и распахнув тяжеленную на вид, но совершенно беззвучную металлическую дверь.

— Добрый день, я немного опоздала, — поздоровалась учительница, — хорошо, что перезвонила уточнить. Я ведь думала, что по старому адресу. А вы вон куда забрались!.. Знаете, я, конечно, слышала о той истории, это ужас... Буду рада помочь!

Чингис вежливо кивнул:

— Машину оставьте здесь, только чуть назад сдайте — ворота не должны быть перегорожены, согласно инструкции. Меня зовут Марат, я Колин охранник. В доме еще домработница Настя и собака по кличке Джек, будьте осторожны.

— Она что, кусается? — подняла брови женщина.

— Как раз наоборот. От избытка доброты пес может вас облизать или даже запрыгнуть на колени. А он очень шерстяной... и лучшую половину жизни проводит на улице.

— Понимаю! — засмеялась учительница. — А худшую?

— Худшую — в ванной. Вас не будет смущать, если я буду иногда во время занятий находиться рядом?

— Тоже по инструкции? — спросила Маргарита Анатольевна.

— Нет, в инструкции этого нет. Это, скорее, моя личная инициатива. Так мне проще будет контролировать его свободное время. Все время мельтешить у вас перед глазами я не буду, только иногда... С Колей непросто...

— Я знаю, — кивнула головой Маргарита Анатольевна. — Конечно, можете присутствовать. Компьютер у вас есть?

— Есть стационарный. Если хотите — привезем ноутбук. Есть также медиасервер с телевизором и объемным звуком...

— Это хорошо, но я бы хотела установить несколько учебных программ. Ноутбук был бы удобней.

— К следующему занятию будет. Что-нибудь еще?

— Если можно, чашку кофе... — улыбнулась учительница.

— Разумеется, сейчас задействуем Настю.

Полтора часа прошли незаметно. Тридцать минут первый урок, потом десять минут перерыв, двадцать минут непринужденного разговора, на проверку тоже оказавшегося замаскированным уроком... и последняя тридцатиминутка на закрепление. Без фанатизма, хрипа и мозолей на пальцах.

— Вы где живете? — спросил уже на улице Чингис.

Маргарита Анатольевна ответила, после чего Марат секунду подумал, достал из кармана конверт, добавил в него купюру из своего бумажника, закрыл клапан и протянул:

— Бензин мы оплачиваем вперед. А это... *сэпери*, — с натугой вспомнил он и покраснел, — в конце каждой недели. Я правильно сказал?

— Почти, — дипломатично ответила учительница, едва заметно улыбнувшись.



Она взяла «дорожные», без стеснения открыла конверт, пересчитала купюры и кивнула головой:

— Я приеду послезавтра, в это же время.

— Домашнее задание мы выполним, — пообещал Чингис и добавил, не моргнув глазом, — любой ценой.

— Не испортите мне ребенка, Марат, — попросила учительница.

— Не испорчу, — уверил ее Чингис, — жить будет.

Как только Маргарита Анатольевна отъехала, на крыльцо тут же выскочили Коля с Джеком. Пес довольно облизывался, а мальчик держал в руке огромную грушу.

— Мытая? — спросил Чингис с недоверием.

Коля уже успел вонзить в нее свои зубы, поэтому только кивнул головой.

— Настя дала? — прищурился Марат.

— Угу, — промычал Коля с набитым ртом.

Джек зевнул, мгновенно, боком сел на крыльцо и стал задней ногой чесать уши. Усердно глядя в пустоту, он тщательно продрал когтями правое ухо, потом, сменив позу, левое. Потом сел ровно и посмотрел в глаза Чингису. Не увидев реакции, улыбнулся и вопросительно наклонил голову набок.

Марат плюнул, махнул рукой и пошел за дом, к боксерскому мешку.

Мальчик и пес тут же рванули следом. Джек сделал это так резко, что пару секунд бежал на месте, проскальзывая когтями по гладкой поверхности, пока не восстановил сцепление.

Коля накинулся на мешок так, будто тот ему нанес оскорбление. Чингис в это время просто прыгал через скакалку.

— Весь удар на две фаланги! — заорал он Коле, увидев у него опасное богомолье движение. — Сустав так выбьешь! Ни писать не сможешь, ни в шутеры погонять!

Мальчик послушался, выпрямив кулак.

— Видишь, так даже звук другой! Хлесткий.

Коля запыхался, стараясь ударить сильнее.

— Плечи подключай. Руки сами по себе — ничто. Плечо силу дает, удар как плеть получается. Ногу в упор. От ноги вся мощь. Все плюсуй в копилку — нога, плечо, кулак. Пальцы береги, они сами по себе хрупкие. Две фаланги, Коля, две... Молодец! Брэк!

Коля по инерции еще подпрыгнул и опустил руки.

— А можно я в перчатках попробую? — спросил он.

— Для тебя пока не купили, подбирать надо. Да и рано еще — мне не видно, как ты там руку ставишь, в перчатке, может кончиться переломом или вывихом. А кисть лечить — это долго. Так что пока в бинтах давай.

Коля размотал бинты, повесил их на капроновую веревку для белья. Уже давно не белые и подрастянутые, бинты топорщились по краям волной.

Чингис критично осмотрел его — тонкие запястья, хрупкие выпирающие ключицы, уши просвечивают...

— О чем думаешь? — вдруг спросил он подопечного.

Коля промолчал, уронив на Джека растерянный взгляд.

— Смотри, — объяснил Чингис, — всегда видно, когда ты колеблешься, себя гложешь, стесняешься... Всегда видно, когда тебе надо сказать, а не знаешь как. Поступай так: не решил — не делай. Решил — не жди ни секунды, бей. Словом, делом ли — неважно. Жизнь — штука короткая, пока ты стесняешься, задницу мнешь, другой уже тебя обогнал. Мир принадлежит наглым... Ты что-то спросить хотел? Я в душ; приду — расскажешь!

И ушел, чтобы над душой не стоять и против шерсти не гладить.

Коля сел на белый пластмассовый стул. На столе лежала зажигалка, и мальчик стал щелкать ею, пытаясь добыть огонь. Так, с искрами в пальцах, его и застал вернувшийся Чингис.





— Возьми себе, — сказал он, — только условия два — не курить и научиться ею пользоваться. Давай покажу. Это — резервуар с жидким газом. Бывают еще зажигалки на бензине. Здесь колесико, оно трется о кремень. Получается сноп искр. Ты нажимаешь на рычаг — и клапан открывается. Из отверстия выходит газ и встречается с искрами... Это сказочный аппарат, Коля. Им можно нанести колоссальный вред. И убить многие тысячи жизней. Намного больше, чем, скажем, из пистолета. Надо только найти правильное место — и тогда огонь не остановить. Машина сгорает полностью за пять минут. Вагон на ходу — за две минуты. Наш дом сгорит, наверное, за пятнадцать минут с момента возгорания, но соседские захватит тоже.

— А пожарные? — спросил Коля.

— Пожарные у нас не успевают никогда. Скорая у нас не успевает никогда. Милицию дождешься, но только если ты уже труп. Я это к чему говорю: зажигалка, как и нож, как и любое оружие — это ответственность. Думай вперед. Намного вперед. Нельзя убивать ни за что. От скуки убивать нельзя. Шутить, баловаться, дурачиться с оружием — тоже нельзя...

— А если... — поднял голову Коля.

— Да?

— А если того, кто папу убил? Его — можно?

Чингис сел на свободный стул, вздохнул и пощелкал зажигалкой.

— Хочешь знать? — спросил он, положив ее, наконец, на стол.

— Да! — сказал Коля.

— С этим сложнее. Тот, кто все это задумал — сам умер. Его уже нет.

— Камень его не убивал! — возразил мальчик.

— Ну... формально — да, — немного растерялся Чингис.

— Что такое «формально»? — спросил Коля.

— Это значит, что по факту, руками — действительно не убивал. Но он все организовал. А это главное.

Коля вдруг сложил ладони лодочкой и задумчиво подул между ними. Потом у него кончился воздух и он закашлялся.

— Если тебе Милевич прикажет убить... ну, кого-нибудь, и ты это сделаешь... это будешь ты или не ты?

— Мне он не прикажет. Я на виду, — сказал Марат загадочную фразу и усмехнулся.

Он вдруг почувствовал в мальчике что-то абсолютно чужое и злобное. Незнакомое и знакомое одновременно. «Психу в следующий раз ногу сломаю», — подумал он машинально.

— Хорошо, — вдруг припомнил он почти по делу, — была такая история. Завел один олигарх себе зверей, штук двадцать. Зоопарк захотел сделать. Вот папа твой не захотел, хотя мог бы, а тому сильно надо было. Были там лось, пара косуль, волк, россомаха... Но главное, из-за чего все затеял — посадил медведя в клетку. И устроил ограждение по периметру, по грудь где-то, трактором не свернешь. На клетку табличку повесил, черным по белому — не заходить за ограждение. И один пьяный товарищ, из приглашенных, все-таки зашел. И медведь ему, не будь дурак, одну руку полностью откусил, а вторую покалечил. А его брат...

— Чей брат? — спросил Коля. — Медведя?

— Нет, этого пьяного, он тоже с ними гулял... Его брат сказал, что это медведь виноват, он его сейчас завалит. Сбегал за ружьем и стал медведя через решетку стрелять в упор. Тому деваться некуда — поорал, да и помирать лег. Тут сам хозяин выскочил с помповым. Стрелка того прикладом в ухо... Тут охрана еще подлетела. Крови было много... медведю вообще не повезло, лося за компанию кто-то застрелил... и у всех глаза такие честные... А волк вообще под шумок два с лишним метра высоты взял и ушел... Неделю отмывались. Рука не прижилась. Разборки до сих пор. Вопрос проще некуда — кто виноват?



— В чем? — спросил Коля.

— Мда-а, — протянул Чингис, — ладно. Тогда другая история. Три года назад у нас одна машина в ДТП попала. Со встречи в нее грузовик боком понесло. Уходить можно было только вправо, по ситуации. Думать некогда, потому что это даже не время, когда что-то такое происходит — это как вспышка. Там не мозг работает, а рефлекс. Он на автомате и отвернул. А там остановка с пассажирами. Один калекой остался на всю жизнь, а второй из комы не вышел. Так кто этого пассажира убил? Ты сейчас не отвечай, ты подумай до завтра, хорошо?

— Хорошо... Я пойду поиграю... — то ли спросил, то ли доложил он нерешительно.

— Иди...

Джек насторожился, собрался было за мальчиком, но передумал и умчался за кусты барбариса расчленять бабочек.

Чингис достал сотовый и позвонил ненавистному «психу»:

— Это Марат, охранник Коли, здравствуйте... Знаете, пять минут назад я вам хотел ногу сломать. Сейчас тоже хочу. Но есть вопрос. Можете уделить мне несколько минут?... Нет, не по телефону... Хорошо.

Неумолимо заканчивалось лето. Август еще жаркий, еще над асфальтом миражи, еще птицы не беспокоятся. Но вот и паутинка летит, и по утрам зябко, и трава цвет поменяла с беззаботно-зеленого на тусклый и тяжелый.

И есть вопрос...

## 11.

Мы с Маратом лежали на берегу искусственного моря, смотрели через солнечные очки на небо и пытались придумать, на что похожи облака. Чингис смотрел сквозь свои обычные очки, а мне дал автомобильные — он в них за рулем сидит. Большие, но если вверх смотреть, то они не сваливаются.

— Я буду долго гнать велосипед!.. — сказал Марат, потянувшись.

Я услышал, как с него посыпался высохший песок с мелкими камушками.

Час или даже два мы ехали до этого пляжа, где никого не было, кроме редких чаек. Машину мы оставили наверху, на обрыве, среди кустов.

— Какой велосипед? — спросил я, закрывая глаза. Мир стал темно-розовым, с проблесками.

— Это песня такая была. Ни о чем, но складная.

Чингис был только в плавках, а я еще и в футболке — это Настя настояла, чтобы не сгореть. Попутно с разгадыванием облаков я набирал в пластмассовую миску плоские камни для «блинчиков», а Джек мне помогал.

— А такие пойдут? — спросил я Чингиса, отталкивая любопытный нос пса от миски.

Джек от ни разу не нюханного берега просто сошел с ума. Забыв про мои камни, он вжался носом, как пылесос, в песок и побежал выслеживать врагов и шпионов.

— Такие — да... — поднялся на одном локте Марат. — Просто будет меньше блинов. А вот эти слишком мелкие, их развернет в полете.

— Угля у нас полно, — послышался деловитый голос Насти, — а дров нет. Принесите, что ли... Костерок нужен, для чая-то.

— А так хотелось ничего не делать... — вздохнул Чингис. — Ладно, пойдем работать! — приказал он, вскочив одним резким движением.

— Ура! — заорал я и побежал к разложенным вещам, где остался топор в чехле. Сильно хотелось рубить деревья. Я видел в каком-то фильме — это было очень легко. И быстро. Но там топор был большой, а здесь маленький. Как раз для меня.

— Оденься сначала! — скомандовал Марат, сам быстро натягивая футболку и джинсы.



— И так жарко! — фыркнул я.

— Сейчас по кустам пойдём. Считай — в лес. Чтобы не пораниться, не подхватить клеща, не измазаться. Одежда — это твоя вторая кожа. Она здесь не для красоты, она должна рваться и пачкаться вместо настоящей. И кроссовки не забудь.

Я вздохнул и оделся. Тоже быстро. Я заметил, что Чингис не любит, когда я копаюсь. «Ты замешкался — и не успел. А другой успел — одеться, стойку принять, оружие вытащить... И выжил. Так кто тогда прав?»

Дров в лесу было много. Руби хоть самый первый куст, хоть целую березу чуть подальше.

— Живое дерево не горит, — объяснил Марат. — Видишь, ветка гнется, не ломается. В ней, считай, половина воды. Попробуй зажечь, — протянул он мне ветку с листьями.

Зажигалка у меня теперь всегда с собой. Я ее вытащил, щелкнул под самой веткой — огонь обнял зеленую кору, зачернил, послышалось шипение, а потом металлическая деталь зажигалки раскалилась настолько, что я сам зашипел и рукой затряс.

Огня не было. Стало ясно, что и не будет. Странно, я дома я над ведром щепки жег и бумагу — там сразу вспыхивало. Толстый журнал с картинками, правда, горел не очень... А ветка с листьями не горела вообще. Только чернела и щелкала. Трещала, вернее. Баловство одно.

Мы пошли дальше.

— Ищи сухостой всегда, — сказал Марат, — он на корню умер, но не упал. Видишь, сучки тонкие, совсем сухие — попробуй.

Я взялся за веточку, которую показал Чингис, и она сразу отломилась. Толщиной даже тоньше спички, как иголка. Загорелась сразу. Марат тут же задул огонь, у меня даже пальцам стало холодно.

— В лесу будь осторожней. Сейчас, конечно, лето, трава живая, сок в ней бродит, а вот по осени высохнет — только держись. Спичка, искра, не успел оглянуться — уже бежать надо. А бывает так, что и некуда.

Прошли еще совсем немного, и Чингис расчехлил топор:

— Это деревце сможешь срубить. Держи двумя руками, крепко. Ноги шире. Лезвие, случись что, должно между ними пролететь. И запомни — нельзя, чтобы было неудобно... или на краю обрыва, или когда под ногами хрустит, например. Встать надо... как Эйфелева башня — навсегда. Видел же? Поперек рубить нельзя, только наискосок... Вот так... Древесина идет слоями, поперек ее не перерубить. Вдоль — сама колется. Тебе надо ее обмануть — направить лезвие под острым углом. Давай!

Я от души взмахнул — и первый раз вообще промазал. Топор ушел в сторону и вонзился в землю. Второй раз я попал, но топор скользнул по стволу, чиркнул и опять ушел вниз. Третий раз я разозлился, попал точно, и на сером стволе образовалась приличная садина. В общем, пришлось ударить раз пятнадцать, и я прилично взмок.

— Теперь с другой стороны! — приказал Чингис.

Я перехватил топор по-другому. Хуже всего было то, что я ни разу не попал в одно и то же место, поэтому ствол был ужасно размочален, но даже и не думал падать.

— Помнишь мешок боксерский? — спросил Чингис, — Здесь то же самое. Не руками надо, а всем телом: ноги, спина, плечи, только потом руки. Как плеть. Выше! Выше поднимай! Пусть за тебя железо работает! Само пусть летит, под весом, только направляй!

Я занес топор так высоко, что перестал его видеть. А потом просто дал ему лететь вниз. В нужное место я все равно не попал, но угодил рядом. Раздался хруст, деревце мотнуло сухой кроной, подумало, повернулось другим боком и упало точно на меня. Вернее, упало бы, если бы Марат его не подхватил.



— Ух ты! — сказал я. — Срубил!

Вокруг все было усыпано сухими ветками и кусками коры, которые отлетали от дерева с каждым моим ударом. Джек сидел метрах в десяти и с интересом наблюдал за нашими упражнениями. Ближе он подходил только в безопасных случаях. Например, когда мы ели, играли или отдыхали.

— Теперь смотри, — сказал Чингис, — и запоминай.

Дальше произошло чудо. Он подошел к другому сухостью, срубил его двумя ударами, и оно упало не на него, а в сторону.

— В общем, хватит, — прикинул Марат и забрал у меня топор, — несем деревья в лагерь.

— В какой лагерь? — удивился я.

— Это там, где Настя. Бивуак. Место стоянки. Первое дерево бери за комель и тащи. Комель, — поспешил он на всякий случай объяснить, — это там, где толстый конец.

— Угу, — кивнул я, схватил дерево и поволок.

Потом мы скинули обе лесины с обрыва вниз, спустились сами и нарубили дров. С тонкого конца высохшее деревце рубилось легко, и я справился. Остальное доделал Марат.

— А можно я сделаю костер? — спросил я.

— *Разожгу*, — сказал Чингис.

— Что?

— Костер разжигают. Конечно. Действуй. У тебя пять минут. Это, кстати, очень много. Представь, что мы замерзаем. В снегу. Или на льду — еще лучше.

— Почему на льду лучше? — удивился я.

— Потому что закопаться некуда от холода.

— В снег от холода?

— В общем, раскладывай и разжигай. Я — мангал, а ты — костер.

Делов-то... Костер. Сто раз видел в фильмах. Делаеть горку из дров — и она горит.

Горка получилась красивая, похожая на игрушечный шалаш. Или вигвам. Или чум. Потом я взял кусок газеты, прислонил ее к шалашу и щелкнул зажигалкой. Бумага весело вспыхнула и тут же исчезла, не причинив никакого вреда дровам. Те даже не задымились, словно огня здесь никогда и не было.

Я хмыкнул, разобрал вигвам, сунул внутрь кусок газеты и мелких веток. После этого огонь мгновенно съел бумагу, а на одной веточке появился слабый малиновый огонек. Я думал, он разгорится, но он почти сразу потух.

Я оглянулся. В мангале у Чингиса уже вовсю горел огонь.

Так... Надо сделать сначала маленький костер, а когда он разгорится — накормить его уже большими толстыми дровами. Я разобрал свой игрушечный шалаш, добыл еще бумаги, мелких веток, старой сухой травы, все сложил в маленькую кочку и осторожно поджег.

Первая часть плана удалась. Кочка разгорелась хорошо. На этом огне вполне можно было поджарить одну сосиску. Когда огонь стал жарким, я обрадовался, быстро собрал вокруг раскиданные дрова и набросал их сверху. Из середины кучи повалил едкий дым. Огонь надо раздуть, вспомнил я, присел пониже, повернул голову к костру и набрал полную грудь воздуха.

Лучше бы я этого не делал. Я за секунду вдохнул столько дыма, что больно закашлялся, а из глаз брызнули слезы. Пока я рукавом вытирал глаза и катался по песку, костер успел умереть окончательно. Теперь у меня не было ни газеты, ни бумаги.

— Ход мысли частично правильный, — засмеялся Чингис, засыпая в мангал древесный уголь из бумажного мешка, — исполнял курсант Николай Гиреев. В общем, ты умер. Устал, отморозил руки, переохладился и заснул до весны. Такие трупы называются «подснежниками». Запомни.



Настя подошла ко мне, помогла подняться, оттерла салфеткой копоть, отряхнула от песка и щепок:

— Ну как можно было так увозиться за пять минут?! — воскликнула она.

— У тебя газета еще есть, — спросил я, — или бензин?

— Или граната, — развеселилась она. — Не выдумывай, сейчас Марат покажет, он у нас рукастый, — добавила она с нежностью.

Чингис подошел, наломал мелких веточек, сдвинул их кучкой, подтянул ветки покрупней, сложил, подправил, достал кусок какой-то белой коры, поджег ее, прикрыв ладонями, и немного подождал. . .

Через минуту сквозь его конструкцию стал подниматься дымок, а потом и языки пламени.

— Не трогай пока, — сказал Марат и ушел к мангалу, — но смотри, как двигается огонь. Если поймешь, как он живет, научишься им управлять.

В доме у нас есть камин. Не в этом доме, где мы сейчас живем с Настей и Маратом, а где мы с папой и мамой жили до того, как меня забрал Камень. Там было все просто и красиво. Когда камин разгорался, набирал силу, он начинал гудеть. И дыма не было совсем — он уходил в трубу очень быстро, его высасывало в трубу. Я смотрел на огонь сквозь толстое стекло подолгу. Там можно было увидеть целые истории. Пещеры из огня, змеи, воины, реки и деревья над ними, звезды, планеты, порталы в другие вселенные. А потом оставались угли, они мерцали живым малиновым, словно подмигивали. Я лежал на ковре перед камином так долго, что иногда засыпал. И уже в полусне не видел, просто чувствовал, как папа нес меня наверх, в спальню. . .

Но тогда мне не давали разжигать. Я даже не помню, хотел ли я этого. Наверное, нет. И тот огонь на этот был не очень похож. Тот — домашний, правильный, весь закрытый, огороженный, прирученный. Его можно было принять за фильм или за картинку. А этот — нет. Этот рождался в моих руках, но все равно не собирался меня слушаться. Как кот, который сам по себе. Но если узнать, как он двигается. . . или как думает. . . то можно с ним договориться. Тут Марат, конечно, прав.

Я не ел ничего вкуснее шашлыков Чингиса. Шашлыки я, конечно, ел. Много раз. Только я видел их уже без шампуров, на тарелке с зеленью. Это было вкусно. Но ведь вкусных вещей много. Пельмени, например, или поджарка.

А это было совсем другое. Мясо на шампурах впитало внутренний жар мангала и шипело соком. Оно дразняще пахло дымом, уходящим летом, уксусом, перцем, луком и травами. Я стягивал золотисто-красные куски зубами, и мелкие капли жира разлетались в разные стороны. Я ел и никак не мог остановиться.

— Не рычи! — усмехнулся Чингис, легко разделяясь со своим, еще раскаленным шампуром.

Настя посмотрела на него со странной мятной улыбкой, а потом на меня — с ужасом. Конечно, я обляпался. И не только шашлычным соком, но и кетчупом, и даже горчицей. И никуда не делись следы копоты и угля, и добавилась зелень от травы. Я собрал все, чем можно было тут измазаться. . .

Как-то незаметно, после купания, валяния в сухом песке и строительства замка из мокрого, наступил тихий вечер. Малиновые отблески на волнах, лиловые с золотом облака. . . Странная птица ходила по краю воды и что-то собирала клювом. Она вроде была наяву, а потом пришла в мой сон. . . ну или не в сон, а в дремоту. . .

— Собираемся! — очнулся я от крика Чингиса. — А то вещей не найдем.

Это мы легко. Это мы без проблем. . . Я вскочил и лично сбежал к машине раза четыре подряд, укладывая разную мелочь в багажник. Марат притащил мангал и кастрюлю из-под мяса. Настя — тарелки, ложки и вилки.

— Весь горячий мусор — в костер! — сказал Чингис, когда уже ничего после нас не осталось.

Заживо сгорели тетрапаки из-под сока, оберточная бумага и куча салфеток.



— А банки с бутылками? — спросил я.

— Это в черный пакет, по дороге выбросим. Засовывай...

— А костер? — уже в машине спросила Настя.

— Незадача, — засмеялся Чингис, выскочил из машины, добежал назад и встал над костром, широко расставив ноги.

— А-а-а! — заорал я дурниной, тоже выпрыгнул и помчался вниз, чуть не навернувшись с обрыва.

— Ты куда? — закричала Настя, но было поздно.

— Я тоже хочу!

Во-первых, я видел это в фильме. Во-вторых, я видел это в фильме, но сам никогда не делал...

— О, помощничек! — обрадовался Марат. — Заканчивай! Береги, понимаешь, лес от пожара!

Снизу шел уже не дым, а пар. Живой такой, белесый, теплый. И огонь умер. Еще б ему не умереть. Мы же вдвоем спасли лес.

А потом мы ехали домой. Сначала за стеклами было розово, потом сиренево, потом весь свет переместился вперед. Из темноты возникла дикая дорога с бесконечным травяным языком посередине. Трава даже не была пыльной. Она блестела в свете фар и иногда шуршала под днищем. Справа тянулись плотные, загадочные кусты, за которыми угадывалось тихое засыпающее море. Мы его не видели, но чувствовали. Иногда кусты прерывались, к воде убегали еще более разбойничьи тропы. Пару раз из темноты возникал немой костер с силуэтами людей вокруг, которые смотрели на нас с подозрением. Во всяком случае, мне так казалось.

А потом какое-то время мы ехали по поясу в зелени. Мы свернули на полевою дорогу и мчались посреди трав. Кустов не было. Деревьев тоже. Настя опустила свое стекло, и в салон ворвался запах меда и терпких цветов. Трава была густая, плотная и тяжелая. Мы неслись в полной темноте, словно в космосе, но навстречу летел не холодный космос, а теплый воздух, пахнувший травами, медом и, кажется, молоком. Хотя Чингис сказал, что это навоз.

А потом я опять уснул. И неизвестная птица снова стала собирать что-то клювом у края воды...

## 12.

Чингис с детства засыпал без всяких там полутонов — словно его рубильником выключали, мгновенно и до утра. Иногда даже в полете до подушки. Ничего с этим он поделаться не мог. Но раз в пару месяцев у него случалась бессонница. Спать в этот день он заваливался точно так же быстро — как боксер в нокауте, без проволочек. Но где-то посреди ночи внутренний странный будильник открывал ему глаза — и Марат с удивлением осматривался вокруг.

В этот раз слева не было ничего, а справа лежала Настя. Рука Чингиса под Настинной головой слегка затекла. Марат осторожно вытащил ее, накрыл женщину одеялом и стек, как туман, с мансарды на первый этаж. Если даже и скрипнул какой ступенькой, то — вполсилы.

Внизу первым делом он вскипятил чайник, а пока тот пыхтел — отжался от пола раз сорок, чтобы стряхнуть-разогнать остатки сна. Потом налил себе чаю, набрал в тарелку плюшек-печений, отнес все это к компьютеру и стал неторопливо разглядывать сканы с фотографиями Камня.

На обороте самой большой, групповой фотографии часть надписей была сделана карандашом, а остальные — чем попало: шариковыми ручками, тонкими цветными фломастерами и даже чернилами.

«Гастин», — прочитал Чингис. Или «Пастин» — не разобрать. «Голавлев». «Рылов». «Комиссаров». Рядом приписка красным: «2005 г., утонул». «Ганжа М., 1998,



ДТП». «Найденов А.», «Найденов П.», еще какой-то Найденов. Разумеется, были еще «Безродных», «Сироткин», «Пришлый», «Бесфамильный». В этом случае, правда, не было стопроцентной уверенности, что фамилии выдуманные. Впрочем, это уже не имело никакого значения — все четверо умерли. Двое из них — с пометкой «в заключении».

Найденов К. тоже был, куда ему деваться. Сходство со взрослым Камнем, возможно, и было, но без подсказки не угадаешь. Меняются люди. Сильно меняются. Там — голодные, злые, безвестные волчата. Здесь — взрослые люди с паспортом и положением в обществе. Конечно, если траурной приписки нет. Вот как у этого: «Каморин, Чечня, 1997, без вести».

Наверное, все это надо удалить. Конечно, надо... Жизнь уже вперед рванула, что старое ворошить, да еще чужое старое. Кнопку «Del» — и не думать.

Почти нажал. Почти. Уже и палец на клавише лежал. Как вдруг огнем затылок ожгло: «...евич». Никогда, никогда бы Марат не узнал в ушастом пацане начальника службы безопасности компании «Антакорс». Просто так, пробегая мимо, без связи, без подсказки, ленивым взором — не было режущего сходства. Такого вот, чтобы пальцем издали показывать. Даже глаза разные: там — голодные, потерянные, здесь — сытые и спокойные. Но взгляд с прищуром, неподвижный напряженный взгляд. И губы — почти нормальные, но тонковатые и сжаты, как у боксера. Через всю жизнь пронес Костя Милевич этот волчий взгляд и эти губы. Все поменял. Отъелся, кровь с молоком, стальные мышцы. Вырос так, что не в каждую дверь войдет. Но глаза эти не спрячешь...

Марат допил уже остывший чай и задумался.

Ну и что? Ну «...евич». Пусть даже Милевич. Что дальше? Мало ли кто и с кем десятки лет назад учился или воспитывался. Мало ли кто и с кем в ножички играл, по деревьям лазал, яблоки воровал. Они же не вместе с Камнем на фотографии стоят. Да даже если бы и вместе... Какая разница, через сколько-то лет...

А связь есть, как не быть. В прошлом они воспитывались в одном детдоме. В настоящем Петя совершил непонятное кривое безумное преступление. Костя его, согласно служебным обязанностям, искал. И что дальше?.. А вот что — не бывает таких совпадений!

А если холодно прикинуть — кто и какие выгоды получил после всего случившегося? Кто контролирует ситуацию? Кому эта самая ситуация принесла выгоду?..

Костя Милевич уверенно, пусть и не гладко пока, управляет огромным хозяйством ныне покойного Гиреева. По его личному приказу сам Чингис охраняет наследника — Колю. По его настоянию маму Коли держат в частной клинике, где она ни в чем не нуждается, но у нее совершенно безумные, усталые и больные глаза. И очень скоро, если ее признают недееспособной... а ее признают, теперь уже Марат не сомневался, все эти семейные дела надо будет решать юридически грамотно. Консультантов у Кости теперь целый взвод. Хорошо оплачиваемый взвод. И от его взгляда ничего не ускользнет.

Так вот... Есть начало, то самое далекое прошлое, где фотограф нажал кнопку, и на пленку попали, среди двадцати других, два невзрачных человечка, и есть конец, через много лет, где один из этих человечков вынудил Гиреева умереть, а другой пацан его якобы искал. И что, никакой связи?..

Похоже, никакой... Не осталось никаких фотографий и бумаг. Никто и никогда не свяжет Камня с Милевичем. Недалек тот день, когда дело закроют и сдадут в архив.

Мама Наталья скоро угаснет, на время угаснет. А на всю оставшуюся жизнь и не надо — этого времени хватит, чтобы провести необходимые финансовые операции. Коля тем более не помеха. Их обоих даже не надо рубить наотмашь окровавленными топорами. Они проживут прирученными и накормленными. Опека — дело богоугодное, доброе, понятное всем без исключения.



У Кости Милевича все складывалось настолько удачно, что хотелось надеть на него пальмовый венок. Одна только вот закавыка, неожиданная и поганая: бессонница у Чингиса. И фотография, так удачно спрятанная Камнем, от которой остался только скан...

... Три дня после этой ночи Марат занимался размышлениями и звонками. А на четвертый, сославшись на семейные дела, попросил у сверхмогущественного теперь Милевича подобрать ему замену на пару дней. Костя не возражал. Вместо Чингиса приехал какой-то новенький Сергей в негнущемся костюме и принял пост. Настю он слушался сверх всякой меры, Колю боялся, но не как полноценного человека, а как бояться разбить китайскую вазу. Правда, подружился с Джеком, что, конечно, не было особенным достижением — Джек любил всех, даже кошек и ветеринаров.

А Марат действительно съездил к своей сестре на другой конец города, уже оттуда рванув из города. Под Юргой он с основной трассы исчез и через час появился в забытом богом поселке, у которого даже названия нормального не было. Так как первыми эту местность освоили военные, то, укатав все вокруг гусеницами, они уехали и оставили ему номер. И поселок стал называться «Двенадцатый».

Детский дом появился тут на месте оставленных военными казарм. Не пришлось ничего строить с нуля, просто подлатали, восстановили, посыпали дорожки песком, подварили железные ворота и подмотали колючую проволоку на заборе — и достаточно, не курорт.

Сорок лет детский дом успешно рассыпался, а когда совсем одряхлел, последних детей вывезли, так как денег на ремонт не было. Марат опоздал на четыре года, застав развалины без крыш, без окон и даже без столбов. Все металлическое местные жители сдали в приемные пункты, все деревянное растащили на дрова и сараи. Остались только бетонные и кирпичные полуразрушенные стены.

Но остались и люди. В поселке были три улицы, на которых успешно доживали потомки воспитателей, сторожей, завхозов и прочего персонала. Приблудились, конечно, несколько эзков. Коровы обеспечивали травой сами себя, так как рядом был лес с лугом. Свины себя, разумеется, не обеспечивали, а ждали еду, аристократически развалившись в лужах. Ларек в виде вагончика без колес исправно торговал огненной водой, комбикормом, сахаром, солью и дрожжами. Иногда появлялись конфеты и консервы. И совсем редко — одежда и обувь цвета фильма ужасов.

Кто-то пытался работать, кто-то получал пенсию. И все безбожно браконьерничали, пили и воровали металл. Своего металла, конечно, тут давно уже не было, но совсем рядом, по трассе, в полях и в редких человеческих поселениях было чего украсть.

За два часа и литр водки Чингису удалось получить всю нужную информацию. Даже не пришлось врать, что он корреспондент или переписчик, или землеустроитель.

Первыми объявились старожилы неопределенного возраста, Саня да Сеня.

— Здорово, мужики! — крикнул Марат. — Где тут у вас детский дом?

— Да лет пять уж как того... — обрадовались старожилы.

— Ага, — поморщился Чингис, — а кто там работал, знаете?

— Петрович там последнее время завхозил... Жичигина Мария — в столовой...

— А вы? — спросил Марат.

— Мы больше по сельскому хозяйству, — переглянулись бывалые демонстражники ЛЭП.

— Тогда давайте мне для начала Петровича. — Он достал он из кармана двести рублей и протянул тому, кто стоял ближе: — Быстро водки, закуски и... Где он живет?

— На Гоголя, — машинально ответил Саня, понял, что спорол чушь и тут же поправился: — На верхней улице, второй дом от края...





— Надо же... — удивился Чингис, — Гоголя... а эта улица какая? Лермонтова?

— Эта — Ленина! — гордо ответил Сеня.

— И как я сразу не догадался... — покачал головой Марат. — Тебя как зовут?..

Познакомились.

— Мужики, возьмите то, что Петрович обычно пьет, и ко мне в машину. Некогда мне...

Через пятнадцать минут они втроем подъехали к дому бывшего завхоза. Хозяин стоял посреди огорода, опершись на лопату, и сосредоточенно наблюдал за полетом птиц. Подъезжающий джип вызвал в нем бурю эмоций. Сначала он воткнул лопату в землю, моля небеса, чтобы автомобиль не проехал мимо. Когда же тот остановился напротив калитки, Петрович дико испугался, надеясь на ошибку.

— Гражданин Петрович? — строго спросил Чингис через низкую ограду.

— Горемыкин, — поправил его помятый Петрович.

— И как я сразу не догадался... — вздохнул Марат. — Мы из отдела народного образования!

После этих слов у Петровича отказал речевой аппарат, и он долго зыркал глазами по сторонам.

Паузу Чингис затянуть не дал:

— У меня несколько вопросов по вашей бывшей работе.

— Вы про тепличное хозяйство? — непонимающе поинтересовался Горемыкин.

— Это что еще такое? — строго и начальственно спросил Марат Сеню.

Тот мгновенно утерся рукавом и поспешил объяснить:

— Петрович, про детский дом интересуются!

— А-а... Так что про него говорить-то... Развалился давно.

— Это мы знаем, — сказал Чингис, — но нужна информация. Стаканы у вас есть?

Вопрос поразил Горемыкина даже больше народного образования, и он опять потерял дар речи.

— Вот! — поднял в воздух две бутылки Саня, демонстрируя самую дорогую в деревне марку. — Зелени надергай!

— Ох, мать твою... — прорвало Петровича, — давайте в дом!

В доме Чингис предъявил ему распечатанные сканы из далекого прошлого, пока два жулика гремели посудой и резали закуску.

— Этих короедов я плохо помню — до меня еще снято было. Воспитатель, само собой знаком, Глеб Романович, уже покойничек, царствие ему небесное. А самих пацанов... ну вот этого — да, помню... Этого еще... Этого — нет, этого тоже... Этого, кто ж его не знал — Шило Валера. Сбежал при мне, с концами.

— А вот этот, ушастый?

— Это Коля или Костя. Фамилию не помню.

— Милевич?

— Да, точно.

— Не помните, что с ним случилось? — спросил Марат.

— Да кто же его знает. Вы бы Машу спросили, Жичигину, она через дом живет. Я-то что, я ж больше по хозяйству. Починить, выдать-принять, на замок закрыть... А Маша — они ж ее любили. По-своему, по-скотски, как животные, за еду, но любили. Кто ей приглянется — лишнюю котлету получит. А то и сгущенки.

— Так! — тут же поднялся Чингис. — Сеня, быстро в машину — к женщине съездим.

— Так это... — засуетился тот. — Выпьют ведь, без меня-то!

Марат посмотрел на стол, решительно взял одну бутылку водки со стола, сунул ее в карман жилета и сказал:

— Все под контролем. Пошли, представишь меня и пулей обратно!



## 13.

Сергей никак не мог заменить мне Чингиса. Даже близко. И он меня боялся. А я, как только почувствовал это, тут же стал наглеть, посадил себе синяк и поцарапал коленку. Не специально, просто я запнулся о скакалку Чингиса и упал на куст барбариса. Сергей так носился вокруг меня с зеленой и бинтом, что мне стало смешно.

После этого случая Сергей неотлучно находился рядом, даже когда я сидел за компьютером. Настя пыталась отвлечь его булочками с корицей, но он все равно ел одной рукой, а вторую держал наготове, на случай, если я вдруг соберусь падать.

«Меня не будет два дня», — сказал Чингис, когда уезжал.

Вроде бы понятно, а все равно возникли вопросы... Когда начинаются два дня? Он же после обеда уехал... Считать ли ночь? А сутки — это тоже день... или сутки — они и есть сутки? А если он имел в виду двое суток, то когда они заканчиваются?..

В компьютер теперь хоть заиграйся. Настя варит-убирается, до моих занятий ей дела нет, лишь бы я не голодал и грязным не ходил. А Сергею на этот счет ничего не сказали, лишь бы я был целый и живой.

Вот я и стал филонить. Домашнее задание по английскому не сделал. Учительница покачала головой, а я сказал, что забыл. Она взглянула на Сергея, и тот немедленно побледнел.

— Проконтролируйте, пожалуйста, в этот раз! — попросила она его.

Тот вскочил, потом сел, потом из бледного стал розовым и быстро-быстро закивал головой. Джек посмотрел на него снизу вверх и напал на его ноги.

— Я извиняюсь, — сказал Сергей, отпихивая пса, — таких инструкций мне не давали! Но я обязательно учту.

Он был тренированный и мускулистый, не хуже Чингиса. Только Марат сильный изнутри, он даже двигается спокойно и точно. А Сергей был весь на взводе и суетился. Когда Марат смотрит мне в глаза — я понимаю, что надо делать. А Сергей делал сотни каких-то мелких движений, и я понятия не имел, что он хочет. Как-то раз я захотел пить, ну и побежал на кухню. Сергей рванул следом, споткнулся о Джека и рухнул на пол. А парень он немаленький — еще и по паркету проехал через весь коридор.

На шум выбежала Настя и спросила:

— Целы все?

— Да! — поспешил ответить Сергей, потирая ногу.

Джек подбежал к нему и тут же загладил вину. Умел он это делать только единственным способом — облизать. А так как Сергей еще лежал, то лицо он ему облизывал полностью.

— Красавчики... — протянула Настя и ушла обратно, качая головой и посмеиваясь.

Сергей выругался, вскочил и побежал к раковине умываться. Джек тут же сел и стал чесать ухо ногой. Глаза его хитро и деловито блестели. Или, может, мне так показалось. Этих собак не поймешь — когда они хитрые, а когда тупые. Как говорит Марат — сплошь одни рефлексы. Это когда, например, страх — и уши сами у него прижимаются. Уши в этот момент, сказал Чингис, сами по себе, они чужие. Чтобы их прижать, Джеку думать не надо и управлять ими не надо, нужно просто почувствовать опасность.

Когда мне Марат это рассказывал, он вдруг замахнулся на меня, словно хотел ударить. И я, конечно, моргнул и присел.

— Примерно вот так получается, — сказал Чингис. — И этому тебя никто никогда не учил. Если будет вспышка — ты закроешь глаза, если на тебя будет нести машина — отпрыгнешь в сторону. Этому не учат... Тебе задание на день — изучить свои рефлексы.

Полдня после этого я изучал рефлексы, даже список составил.



Выяснилось, что на звук я поворачиваю голову, на запах у меня шевелится нос, а с глазами вообще выходило что-то удивительное. Я бы сам никогда не догадался, что глаза двигаются, когда человек решает задачу. И двигаются они по-разному.

— Это целая канитель, — усмехнулся Чингис. — Задай вопрос, только неожиданно, и смотри в глаза — куда собеседник посмотрит. Обычно в сторону и вверх. Но бывает в сторону и вниз, или просто вверх. От человека зависит, от его конструкции, от того, как он устроен. Глаза врать не умеют. Знаешь, есть такой прибор — детектор лжи, полиграф, по-научному. Работает он проще некуда — с тебя снимают показания во время беседы. Самое главное, конечно — частота пульса. Плюс к тому — давление, дыхание, кожные реакции. И когда ты отвечаешь честно, у тебя одни отклики, а когда врешь — другие. Хороший специалист может тебя наизнанку вывернуть, даже жить потом не хочется.

— Это как? — спросил я.

— Ну вот представь: он задает вопрос, на который ты не хочешь отвечать. А отвечать надо. И реакция будет у тебя обязательно. И вот ты начинаешь нервничать. Если бы тебя просто на улице спросили, ты бы ответил что попало... или в морду дал, или отшутился бы. А тут — врешь. И пульс повышается. Дыхание обычно учащается, но у некоторых — наоборот, становится реже. Тебе задают несколько нейтральных вопросов, например — как вас зовут, сколько дней в году, какого числа вы родились. Ты спокойно на них отвечаешь. Потом просят отвечать только «да» или «нет». И начинается ад. «Дважды два — пять?», «Молоко — белое?», «Красное море — красное?» — и так далее. Сначала ты себя более-менее контролируешь. Но вопросы меняются, их много. Как только ты устаешь, с тебя уже можно все считать практически безошибочно.

— А нельзя этот телеграф обмануть? — спросил я.

— Полиграф, — поправил Чингис. — Конечно, можно. Этому нас тоже учили.

— Кто? — удивился я.

— Это не так важно, — поморщился Марат. — Важнее, что неподготовленного человека полиграфист на детекторе выпотрошит, как цыпленка. А с обученным еще придется повозиться.

— А можно меня на такой машине проверить? — спросил я.

— Можно. Я тебе про глаза говорил. Глаза — это те же датчики. Детектора, конечно, у нас в доме нет. Но можно по-другому попробовать. Садись ровно и отвечай на вопросы...

Я сел. Он сказал — руки на стол, ладонями вверх. Смотреть в глаза. Ноги не скрещивать. В общем, взял Чингис блокнот, стал вопросы задавать и какие-то пометки делать карандашом.

Вначале мне понравилось. Было легко и весело. Потом просто легко. Потом уже нелегко. Потом неприятно, а потом, когда вопросы стали вперемешку и разные — чуть ли не больно. А иногда я вопросов не понимал.

— Терпи! — сказал Чингис, когда понял, что я устал. — Отвечай как есть — так меньше устаешь.

Я попробовал не погружаться.

— Первые три буквы алфавита — «А», «Б», «В»?

— Да.

— Солнце встает на западе?

— Нет.

— Зебра — белая в черную полоску?

— Да.

— Настя красивая?

— Да.

— Зебра — черная в белую полоску?

— Да... то есть... нет... ты же спрашивал!



— Только «да» или «нет»! — рявкнул Чингис.

— Да.

— Ты когда-нибудь курил?

— Нет.

— Джек злой?

— Нет.

— Мама добрая?

— Да.

— Девять минус семь — три?

— Э-э... нет!

— Это левая рука?

— Нет... да! — с его-то стороны она была левая, но с моей... Я начал путаться.

— В неделе восемь дней и одна пятница?

— Э-э... семь...

— Только «да» или «нет»! — опять рявкнул Чингис.

— Ну да... ну нет... Нет! — тут я решил, что если на полвопроса можно ответить «нет», то вторые полвопроса тоже «нет».

— «Table» — это стол по-китайски?

— Нет.

— «Table» — это стол по-английски?

— Да.

— Ты помнишь папу?

— Да!

— Он был высокий?

— Да!

— Тебе нравился Камень?

Я замолчал. Мне было сказано не погружаться и не выдумывать, говорить как есть. А если не выдумывать — то «да». Но все равно — мне что-то мешало так сказать, глаза у меня начали бегать в разные стороны. Где-то в глотке стал набухать комок. Но если не погружаться... если не погружаться...

— Да!

— Ты сейчас злишься?

— Нет... да!!! — заорал я.

— Стоп! — крикнул Чингис. — Все, закончили.

Я устал, хотя ничего тяжелого не делал. Я вспомнил — примерно так со мной иногда разговаривал псих, но псих мне никогда не нравился, а Чингис — всегда. Даже сейчас, когда я на него точно злился... или на себя?

— Медленно вдыхай! — приказал Марат. — Постарайся набрать в себя столько воздуха, сколько сможешь.

Возражать не хотелось. Я закрыл глаза и стал глушить себя кислородом. Это я уже знал — дышим мы не воздухом, а кислородом. Он вливался в меня рекой, пока не защекотало в носу и не заныл от мурашек затылок.

Потом я закашлял.

— А зачем? — спросил я, когда восстановил дыхание.

— Что — зачем? — спросил Чингис, рисуя в блокноте таблицу.

— Зачем вдыхать.

— Чтобы затереть злобу. Или горечь. Или что там у тебя... Неприятно, правда?

Я кивнул.

— А представь, что тебя так два часа проверяют. И ты некоторые вопросы уже забыл. На какой-то из них, отвечая, ты уже соврал, потом устал, время прошло... Тебе показалось, что не обязательно врать, второй раз ответил честно, но про первый — забыл. Или второй раз вопрос так задали, что он страшным не выглядит. А фактически — это два разных отклика на одно и то же. И все. Началась раскрутка. Бывало, ребята сознание теряли.



— А что там у меня получилось? — спросил я с нетерпением, показывая пальцем на блокнот.

— Не будь обезьяной, — поморщился Чингис, — слова, что ли, кончились? Глазами можно показать, в конце концов!

Он выругался, но мне не было обидно. Марат всегда все делал правильно.

— Ты меня проверил? — спросил я, немного подумав.

— Пока я выяснил только одно — ты уже пробовал курить... Но вот какая штука — тебе врать сейчас не следовало. Ты сделал это по инерции, как будто я — твой воспитатель или даже враг. А врать без смысла, просто так — нельзя... Представь — ты разведчик. Или шпион, так понятней будет... Чтобы тебе поверили, ты должен иметь сотни мелких правд, мелких, но настоящих. Например — ты любишь сигареты «Винстон», тебе нравится светлое пиво, а не черное, тебе по душе рыженькие девушки... и так далее. Ты создаешь вокруг себя массу натуральных вещей и ситуаций. Их могут подтвердить десятки людей. Ты открыт всем, как аэропорт, все двадцать четыре часа в сутки. Тебя знают, любят, с тобой дружат. Тебе нужна нескрываемая жизнь — и она у тебя есть. Поскольку она реальная, ты ее очень хорошо помнишь. Нет нужды врать, понятно? Скрывать надо только самое важное — задание, настоящее имя, пароль...

— Но я же не шпион! — возразил я.

— Это не так важно. Запомни: жизнь — это война. Все держи на виду, показывай, не ленись. Но главного пусть не знает никто...

— Даже ты? — удивился я.

— Даже я! — уверенно кивнул Чингис. — Потому что я — твой охранник, приближенное лицо. Самый опасный для тебя человек. От меня ты защититься не сможешь. Тебе остается только верить мне, а вера не стоит ничего. Запомни.

И я запомнил...

А пока Чингиса не было, проверил Сергея. Взял блокнот, попросил его сесть напротив, ноги не скрещивать и руки повернуть ладонями вверх. Вопросы я задавал такие же, как мне Чингис. Плюс придумал свои. И Настю на кухне спросил, что она хотела бы узнать.

Вопросы я полностью не записывал — это долго. Просто помечал. «Какз», например — «как тебя зовут». Или «Скл» — «сколько тебе лет». Сначала легкие, на них времени совсем мало уходило: «КЦНеб» — «какого цвета небо», «2\*2» — дважды два. Потом посложнее: «Адр» — какой адрес дома, где мы сидим. Сергей моргнул, и вдруг его глаза ушли вверх и влево. Всего на секунду, но я заметил. Чингис говорил, что так человек вспоминает.

Ну, а потом я попросил его отвечать только «да» или «нет». Не вышло ничего. Он вдруг собрался, сжался и стал отвечать как пулемет — быстро и без напряжения. Я не видел никаких откликов. Просто вопрос, просто ответ — как машина. В это время подошла Настя, посмотрела на нас, вытирая руки чистым полотенцем, и я машинально задал вопрос:

— А тебе Настя нравится?

— Да! — сказал он, не думая, тут же тряхнул головой и переспросил: — В каком смысле?

— Только «да» или «нет»! — рывкнул я.

Конечно, так страшно, как у Чингиса, у меня не получилось. Получилось звонко, я даже сам почувствовал, какой у меня детский голос. Но все равно Сергей слегка вздрогнул и покраснел.

— А то я не вижу... — деловито усмехнулась Настя. — Закругляйтесь, обед на столе!..

Чингис как-то сказал:

— Женщины думают меньше, а чувствуют больше. Их можно обсчитать, они никогда не поймут, как работает техника, не знают, где право и где лево, легко путают



педали. Но они могут считывать информацию всей своей кожей, ничего не вычисляя. Они могут прочитать твои мысли, о которых ты и сам не знаешь. Врагами их делать нельзя. Лучше сразу убить. Запомни...

Я запомнил.

#### 14.

Уже подъезжая к городу, Чингис заметил за собой знакомую машину. Черный «Наггер» выскочил из-за заброшенной автобусной остановки, вырулил на трассу, легко ускорился и демонстративно пристроился сзади.

Зазвонил телефон. Чингис выждал секунды четыре, взял трубку и сказал как можно проще:

— Да, Костя.

— Привет, Марат. Видишь меня? — почти приветливо спросил Милевич.

— Разумеется.

— Давай на кожевенный завод, там поговорим.

— Не вопрос, — ответил Чингис и нажал на кнопку.

Кожевенным, конечно, этот завод никогда не был, только разве что в мечтах у предыдущего владельца апокалипсического пустыря, бетонного забора и двух недостроенных бетонных же корпусов. Их возвели, пока еще у хозяина были деньги, даже сделали перекрытия, но потом наступил один из кризисов, на этом все закончилось.

Еще год хозяин по инерции охранял территорию, потом сдал ее в аренду страйкбольному клубу, где бравые воины брали друг друга на мушку, сладострастно стреляли из почти настоящего оружия, помечая друг друга цветными ранами. Еще через год клуб переехал в другое место, а хозяин за гроши продал остатки завода Гирееву-старшему. Вернее, его компании под названием «Анаткорс».

Кожевенный завод, при наличии Турции, Индии и Китая, «Антакорсу» не требовался. А вот складской терминал — очень даже улыбался. Один корпус облагородили еще при Гирееве. Второй задумывался как склад, но уже с офисным блоком. Стены с граффити почистили, покрасили в скучный цвет. Понапридумывали перегородок, сотворили дизайн-проект, саму территорию заасфальтировали и облагородили.

На КПП были люди из службы безопасности, но Чингиса в лицо они не знали, зато знали Милевича и его машину.

— Я с боссом! — сказал Марат, опустив стекло, когда остановился перед шлагбаумом.

Молодой, в новенькой форме, охранник поиграл желваками и демонстративно потребовал удостоверение.

— Разумеется, — спокойно ответил Чингис, достал из кармана пластиковую карточку и показал, приблизив к его лицу.

— Проезжайте, — ответил охранник.

Рука у него дернулась отдать честь, но вовремя остановилась. Это движение от Марата не укрылось, он понимающе улыбнулся: парень еще не привык к гражданке.

На парковке места было много — офисные блоки еще не открылись, заселиться клерки не успели. Марат вышел из машины, захлопнул дверь, дождался, когда припаркуется Милевич, и подошел к нему.

— Мог бы просто вызвать... — усмехнулся Чингис и протянул руку. — Здорово!

— Привет! — ответил Милевич, пожимая руку. — Вызвать я тебя всегда успею. Пошли во второй корпус, посоветуемся...

Дверей еще не было — вместо них зиял проем. На крыльце лежали битые кирпичи. На стенах оставались еще пятна батальей, но внутри уже все было вычищено и даже подметено.



— Я помню, — сказал Чингис, — тут бочки были пустые, мешки с песком...

— Да, повоевали ребята, — ответил Милевич, не останавливаясь.

Сквозь не застекленные проемы тусклым золотом светило заходящее солнце. Посреди огромного корпуса стояли два стула и обычный офисный стол.

— Присаживайся, — кивнул головой начальник на стул и тут же сел сам, выкладывая на стол папку, — покурим.

— Не курю! — покачал головой Чингис.

— Я знаю, — ответил начальник, доставая из портсигара сигарету с золотистым ободком, и пожаловался: — Так и не смог бросить. Как начал в детском доме, так и курю до сих пор. Бросал три раза. Первый раз на спор — до вечера не продержался. Второй раз два дня не курил. В третий раз, как сейчас помню, зима была... Неделю! Неделю терпел. Лежал в сугробе, выл, снег кусал. А потом вдруг понял, что пусть будет у меня одна слабость. Пить не буду, не буду в карты играть, по бабам не буду шляться... Но курить — это как дышать. И больше не бросал. Только на хорошие марки перешел. Тогда самой крутой маркой из наших «Космос» был. Нет, конечно, еще «Бородино» было, к примеру, сигары кубинские, но я имел в виду доступные... Одно время «Мальборо» кишиневское было, полтора рубля пачка... А когда капитализм хлынул — я «Кэмел» курить начал, «Парламент». Сейчас и «Кэмел», и «Парламент», и даже «Мальборо» — говно говном. Дома только трубку курю, вроде награды самому себе за трудовую доблесть. А на бегу — вот эти, Франция... Ну это так, для иллюстрации, — вдруг перебил сам себя он и неожиданно потребовал: — Спрашивай!

Чингис посмотрел в глаза Милевичу, стараясь думать ровно и без всплесков.

— Видишь ли, Марат, — прервал его молчание Милевич, с удовольствием затягиваясь французским дымом, — спросить-то тебе нечего. Один догадки, а ты миражей не любишь — тебе факты подавай. Но я тебе помогу. А потом мы будем вместе решать — что делать. Не я один, заметь, а вдвоем.

— Ты когда мне GPS-маяк в машину воткнул? — прервал его Чингис.

— Месяц назад, — мгновенно ответил Костя. — Но без особого умысла, на всякий случай... Тут, наверное, не «когда» важно, а «почему». Я маяк поставил, потому что почувствовал *сквозняк*. Знаешь, сидишь себе в комнате, тепло, уютно — и вдруг холод по ногам: где-то дверь открылась. И кто-то уже, получается, бредет по твою душу. Либо время отнимать, либо жизнь... А когда ты мне фотографии принес — кстати, весьма признателен, — то мне уже в твои глаза смотреть не надо было. Ты же тоже одиночка, привык сам проблемы щелкать... Петька, подлюка... — вдруг закашлялся Милевич.

Чингис молчал, не мешая Косте выговориться. Выводы делать было пока рано.

— А может, бросить курить?.. — спросил неизвестно кого Милевич. — Нет, тогда жизнь вообще скучная станет... А так только Петька и мог жить. Камень... придумал же себе кличку, идиот... Знаешь, как его в детдоме звали? Ухо! Он через стены мог слышать. Затеют пацаны какую-нибудь бодягу ночью, покурить или пожрать, что своровали, а он сидит... вдруг голову повернет и скажет: «Клара на крыльце, подниматься будет». Все мигом под одеяла, лежат пластом, весь криминал под подушками захомячен. И точно: «цок-цок» — ее походка. Откроет она дверь тихонько, полюбуется ангелочками, да и свалит. Изображать сон-то мы умели... Носики, мля, курносики сопят... Петьку я мог вообще забыть. Его же рано усыновили. Но через пару лет он упрямил своих приемных свозить в детдом родной. Как вспомню... до сих пор противно. У нас, если кто уходил, если вырывался за территорию — никогда не возвращался. Никогда! Понимаешь? Это как выжить в пожаре. Никому не хочется опять слышать, как твоя кожа горит. А этот — приехал... Чистый, причесанный, сытый. Прошелся по коридорам, поздоровался, конфеты раздал. Я до сих пор не знаю, зачем он так сделал. Похвастаться, что ли... Поразить всех. В общем, тоска и мерзость. А ему хорошо было, я же видел. Ко мне подошел... и вдруг говорит: мои



второго хотят усыновить, не желаешь?.. Я даже рот открыл. Почему именно я, спрашиваю. А он усмехнулся и говорит: с тобой у меня проблем не будет... У него! Понимаешь? У него проблем не будет. Он уже крутил родителями, как хотел. И ему важно было, чтобы другой короед ему не мешал. В общем, соврал он тогда или нет — не знаю. Но адрес дал и попросил писать. А мне о чем писать? О том, что вши завелись, что всех в классе, включая девчонок, под ноль побрили? Или что зимой вдвоем спим, чтобы теплее было? Или что идиот Семашкин на чердаке повесился?.. Он пару писем присылал, я пару строчек черкнул о погоде. Больше вообще никому не писал, за всю жизнь... И никто меня не усыновил. Да оно и лучше — чесотки нервной меньше. Петька сказал, что *мама* умерла, а *papa* один не потянул бы двоих. Вот так все просто. Не потянул бы... Классе в пятом-шестом нас в Новосибирск возили, в цирк... и вообще — посмотреть, как люди живут. После нашего поселка — как за границу попасть. Я реально почувствовал, каким говном мы дышим у себя. И зачем мы там дышим — тоже непонятно. В общем, тогда еще можно было по телефону-автомату позвонить, и монетка у меня была. Он примчался через два часа, сам доехал, когда шапито это сраное уже заканчивалось. Я и понятия не имел, насколько этот город огромный. Одни заводы, промзона на промзоне. Он в нем ориентировался... как волчонок в лесу. Навык хищника, да-а... ноги кормят. Хотя... что такое для детдомовца сорок километров... Ты думаешь, мы друзья были? Ошибаешься. Я даже не знаю, как это назвать — потребность в информации, что ли... Мы обменивались новостями и разбегались. Но денег он мне и тогда дал, и после давал. Он, скорее всего, считал меня чем-то вроде шпиона в старом мире. Да так оно и было, похоже.

А еще через три года я в речное училище поступил. Два года в курсантской форме, потом армия, потом вернулся — техник-судоводитель никому не нужен. Пока я там маршировал, флот успели угробить, а остатки продать на металл. Ты, наверное, помнишь, как в советское время вода кипела — ракеты туда-сюда, «Патрис Лумумба», «Михаил Калинин», «Мария Ульянова», баржи чуть не караванами. Я вернулся на мертвую реку — одни моторки, пара корабликов возила протрезвевших до ближайшего острова, на баржах казино с ресторанами разместили, а вся триста пятая серия теплоходов встала колом. Уже и названий этих давно нет. Впрочем, не жалко... Надо было решать, как жить, что делать и какая падла виновата. Пацанов нашел, бригаду мы сколотили, квартал держали, автостоянок пару, сауну, ресторан, еще что-то по мелочи... Сейчас уж мало кто в живых-то остался. Война была, сам знаешь... Хоть мы старались по-крупному не работать — все равно людей потеряли... Как-то сидим, боевые раны бинтуем, и понимаю я, что так мы не выживем. Кому такая работа нужна? Криминальное чтиво, от заката до рассвета... мертвые герои — это очень красиво, да, но глупо. Как вспышка у меня тогда в голове сверкнула. И сразу легче стало, впереди хоть что-то появилось, хоть маленький, но свет. Охранное агентство «Динамит» организовал. В принципе, почти то же и делали — только официально и с документом в кармане... вместо кастета. Я первый придумал маленький листик клеить на дверь — с ладошку. «Объект охраняется “Динамитом”». Пару раз нарикков покалечили — слух прошел, нам беспокойства меньше. Два клуба охранял, супермаркет, а ларьков-магазинчиков — вообще не счесть. Квартиры начали брать на обслуживание, дачи, разовые услуги предлагать — например, безопасную передачу денег за недвижимость обеспечивать. Сопровождение грузов — это само собой. Бойцы у меня половину времени работали, половину — тренировались. Тут уже детективы частные потребовались, промышленная разведка, сбор информации, компромат, то-се.. Люди же не могут спокойно жить, мутичь надо, вандализмом заниматься, в лифтах ссать, ближнего ненавидеть... В общем, неважно это все. В какой-то момент Гиреев решил службу безопасности создать, меня ему посоветовали. Встретились, поговорили, я ему сразу кучу предложений сделал — опыт-то уже был. Он подумал, нарисовал в блокноте мою будущую





зарплату, листок вырвал и мне протянул. Я взял листок, свои цифры трогать не стал, но плюсанул еще круглую сумму на тренажерный зал, тир, автопарк и оперативный отдел. Работать я хотел, сил было море, но просто быть вахтером — нет. И он меня понял, кивнул, листок поджег и в пепельницу бросил... За десять лет я создал образцовую службу. Текучка поначалу страшная была. Набор объемим — пришлют триста резюме, пятьдесят вызовем, пятнадцать придут, пять устроятся... через месяц опять набор. Ты просто не знаешь, насколько рядовой охранник тупое и трусливое быдло. Не о тебе речь, конечно. А менты бывшие — те вообще не люди, у них все нутро гнилое... И стали мы студентов и выпускников набирать. Вербовать прямо в университетах, на последних курсах. А кого просто уговаривали бросить учебу до лучших времен. Они ж как думали — диплом на руках, летом погуляю, потом устроюсь куда-нибудь... А мы их сразу в оборот — и на выпускное лето в лагерь. Ночные кроссы, марш-броски, силовая подготовка, информационная, слежка, стрельба, вожделение. Потом разделяли кого куда, по направлениям... Короче, шесть лет Я собирал свою команду. И собрал... При чем тут Петька?.. Он в мою жизнь вообще не вписывался. В какой-то момент даже подзабывать его стал, но тут приключилась история... и появилась Ольга.

## 15.

— Ты влюблялся когда-нибудь? — спросил Милевич насмешливо, подкурив вторую сигарету.

— Да, — спокойно ответил Чингис, все еще не понимая, зачем это Костя стал ему исповедоваться безо всякой причины.

Но удивляться сейчас некогда, надо слушать. Милевича он таким видит первый раз в жизни. И последний. Откровенность — это всегда либо приговор, либо слабость. Костя ничего не делает зря. Если говорит — это очень, очень важно. Последний раз в жизни. Только чьей жизни, интересно?..

— А я — нет, — усмехнулся Милевич. — Вот в этом мы с Петькой похожи. Помнишь, как у Энгельса... «Жизнь — это форма существования белковых тел». Все, ничего больше. Там нет никаких других существенных нюансов. Все укладывается в то, как функционирует клетка. Говоря проще, она жрет и размножается. А когда нечего жрать и не с кем размножаться, она, поискав немного, впадает в спячку. Но страсть, мать ее, существует... Когда я ее увидел, мне стало жарко... как после проруби. Я кросс бегал с полной выкладкой, под баржу нырял, с парашютом ночью прыгал — мне так жарко никогда не было. А тут сердце троить начало и мурашки...

— Погоди... — вдруг вспомнил Чингис. — Ольга — это сестра Наташи, из Канады? Она была на сорок дней, я помню.

— Да. Она самая. Но первый раз она прилетала пять лет назад, ты еще у нас не работал. Она вся в белом, как птица, а я по работе — в черном костюме, бронежилет под ним, легкий, правда, кевларовый, вольна под мышкой. Сейчас-то я на поясе ношу и вас заставляю, а тогда оперативная кобура была. Я лично в аэропорт приехал, Влад приказал встретить и доставить домой. У них там накладка вышла, не успевали в город вернуться. Я только удивился — почему меня, у нас же водителей с охранниками много. Чтобы сам начальник поехал — нужны очень веские основания. У Влада... вернее, у Наташи... они были. Я стоял в толпе, у меня в руках был плакатик с ее фамилией, чтобы она меня увидела и не волновалась. Пока ехал, уже и фото посмотрел, и биографию — по служебной привычке. У нас на каждого досье... Лицо на фотографии вроде обычное, а шея, она как у лошади — породистая. Редко у кого такая шея: голову повернет — я умирал от этого движения... «Я та-ак устала...» — сказала она. Это видно было. Два перелета. С той стороны глобуса, ага. Глаза помятые, но шея — все равно смертоносная. Я покачнулся и почувствовал, как ее в эту



шею целую. Под кожей венка бьется, а в ней кровь соленая бежит, горячая, как кипяток... Я бы ее на руках донес, но надо было еще два чемодана катить, на колесах. «Вы можете поспать на заднем сидении», — говорю, и повел машину, как будто хрусталь без упаковки или ваза с цветами.

Я даже не помню толком, как ехал. Автоматом, в бережном режиме, без экстрима... А думал я только о ней. Был бы сам Гиреев или Наталья — за час бы домчались. А я полтора пилил, лишь бы не разбудить. Не рвал, не тормозил жестко... Когда приехали, она сказала: «Во мне все еще гул живет и воздушные ямы». «Хотите, я вам ванну налью?» — спрашиваю зачем-то, будто выходя из-под наркоза. Знаешь, наверное, когда мозг уже просыпается, я язык еще нет — лепечешь всякую ересь. Она удивилась, но кивнула. Потом Ольга вспоминала, что почуяла не симпатию... просто защиту. Такую, что не пробьешь... И мир перевернулся. До этого у меня была интересная работа, вес, авторитет, я был почищен, смазан и поставлен на предохранитель. И ничего другого в перспективе, только много тусклых масляных лет в полном благополучии и при хорошем деле. Но ведь есть же другой способ существования этих самых белковых тел! Во мне уже к тому времени какая-то мутная дрянь внутри бродила. Примерно такая же, как у Петьки. Когда ты все построил, создал себе видимость рая... и вдруг внезапно осознаешь, что никому это не надо. Пока строил — смысл был. А когда последнюю травинку, как муравей, уложил сверху — умер. А зачем жить, если задача выполнена?... Ольга... Двадцать семь лет, походка царская, три языка, шея, а под кожей — вена бьется. Надо было глаза отвернуть, вздохнуть напоследок, да на улицу... Я же воин, бедокур, головорез, всю жизнь сам себя строил и других мордовал. Ну что мне, заняться нечем?... В доме, конечно, и без меня было кому за ней поухаживать. Но я сделал вид, что выполняю указание Влада. Сам налил ванну. Сам какую-то пену налил — я в них не разбираюсь, по запаху ориентировался. Сам ее пригласил, сам полотенце вручил и сам дверь за ней закрыл. Потом повернулся и побегал вниз. Во дворе в машину прыгнул, педаль в пол и по делам рванул. Проехал квартала три. Остановился на светофоре. И... развернулся!

Я все понял. Вся жизнь, что прошлая, что настоящая, как на ладони. Некогда ныть, читать стихи, посылать воздушные поцелуи, вздыхать. Будущее — сейчас, нет другого времени. Либо она скажет «да», либо я ее убью... Так никто не делает. Так никогда не получается. Но если ты вырос волчонком детдомовским, если вообще выжил, то только так, через «нельзя». *Завтра* не существует. Будущее — сейчас. Учиться драться некогда, потому что война идет всегда и она здесь, — ткнул себе в висок пальцем Костя, — от нее не сбежишь... По пути я купил ведро цветов. Большие, белые, в виде шаров... и очень свежие. Розы в цветочном салоне тоже были, но какие-то квелые. А с этих еще сок капал. Или что там — роса... Я вернулся в дом Влада, отнес цветы к двери, за которой все еще лежала в ванне Ольга, и постучал. Она спросила что-то вроде «кто там?» или «что случилось?», а я ответил, что ее срочно зовут. Немедленно. Вопрос жизни и смерти.

Когда она вышла, в белом махровом халате и в тюрбане из полотенца, я поставил цветы перед ней и сказал, что я буду звать ее Небо. Какая разница, как звать, лишь бы отличать от посторонних. Я никаких других людей с погонялом Небо не знал и знать не собирался. Она слушала, куталась в халат и смотрела на меня усталыми глазами. Не уверен, что все слова поняла. Не уверен, что поверила. Но главное... главное — я все сказал... «Другие могут жить для чего угодно — это их дело. А я буду — только для тебя. Завтра приеду; если не нужен — позвони»... Меня не было сутки, работал, тренировался, смотрел в себя. Улыбался. Ведь хрен же с ней, с жизнью, да? Кому она нужна, если у тебя нет самки, щенков, будущего. Она позвонила утром. Отругала. Даже не так... Полчаса отчитывала, как ребенка. Я как раз пресс качал, с гарнитурой в ухе. Когда устал, лег на спину, весь мокрый. Она спросила, почему я так дышу. Я ответил, что тренируюсь, с меня пот градом. Потом она спросила, есть ли у меня на груди волосы. Я сказал, что нет, но если она хочет, то я их отращу. Трубку, она,



конечно, бросила... Ну, собственно, и все. Что интересно, Влад ничего и не узнал про нас с Ольгой, как и Наталья. Самому хозяину было некогда ерундой интересоваться, а его жена сильно интеллигентная была... Потом Ольга говорила, что ничего нового в моих ухаживаниях не было. Это типичная модель «красавица и чудовище». Леди Чаттерлей... и все такое. Примитивная схема, до пошлости. Но поэтому, сука, и работает... Отпуск я с ней провел. В Англии. Кстати, туманов в этом сраном Альбионе не было. Мы шлялись по чистеньким узким улочкам, нас там никто не знал. Другая реальность с другим языком. Она меня всему учила — ходить, сидеть, смотреть, есть, говорить... А я ее — бегать, спать, наблюдать, ножом работать, кричать... Я никогда в жизни больше дня не отдыхал. А тут — целых десять или двенадцать: фестиваль, утопия, шоу... Вот тогда, в каком-то соборе, у меня замысел-то и созрел... У меня и до этого план был, просто теперь он имел имя: Петька Ухо. Камень, мать его... Ты даже не понимаешь, как я все грамотно раскрыл. Как Ухо обеими ногами в жир попал. А он сделал это даже лучше, чем мне хотелось. Я приехал к нему ночью, поздней осенью, безо всяких звонков, проговорил с ним до утра. Петьку купить было нельзя. Такой он железобетон, да. Но я почувствовал в нем ту самую пустоту, которая во мне самом бурлила. Он не стал бы ничего делать по просьбе или за деньги. Но подышать интересной темой, адреналина хлебнуть, мозгами поскрипеть, в демонов поиграть — почему нет. Я думаю, ему просто необходимо было с кем-то поделиться. Когда живешь... как калькулятор, соблюдаешь правила волчат, то очень легко свихнуться. Нет страсти — нет выхлопа. Сколько так протерпишь в собственном наморднике? Десять лет, двадцать — пока не взорвешься... Поначалу Петька меня даже не дослушал — отмахнулся. Но я вырос, приобрел опыт и неожиданно стал сильнее его. Просто не сказал ему об этом. Зато сказал, что у нас с ним есть враг. Идейный. Принципиальный. Враг, которого надо уничтожить... не потому что он плохой, а потому что он вообще есть. Мы же волчата, у которых отняли небо. Нам не нужно бить, чтобы мы ненавидели. Достаточно, чтобы у другого это небо просто было. И все. И он сразу увидит в наших глазах стальные злобные искры... А дальше ты уже знаешь. Десятки раз я отводил от Камня угрозу. Разумеется, планировал слить Петьку в самом конце. Но этот звереныш с изувеченными мозгами меня просто опередил... Игра была по нашим правилам, правилам волчат. Выхода у Влада не было вообще. Когда он понял, что обмануть Камня не удастся, тут же прыгнул на пули. Была очень небольшая вероятность, что он испугается. Тогда Ухо сразу бы убил Колю, и получилось бы ровно то же, что и сейчас — у Натальи все равно бы протекла крыша, и уже никто бы не удивился, если бы через несколько месяцев хозяин подустал бы жить... А теперь спроси меня, зачем я все это тебе рассказываю?

— Зачем? — усмехнулся Чингис.

— Затем, что мне лишний враг не нужен, а грамотный и знающий — пригодится. Или ты думал, что я тут буду все отрицать, елозить перед тобой, прощения выпрашивать? Я тебе нормальную жизнь предлагаю. Будет жить Коля, будет жить Наталья со своими слизняками в голове, будем жить мы с Ольгой... и ты при всем этом, если захочешь. Влад тебе не был ни другом, ни сватом, мстить ты не будешь в любом случае. Ты не просто сотрудник службы безопасности, ты доверенное лицо владельца группы компаний. Знаешь, сколько я работал, чтобы это все стало моим? И все — Ольга. Не она бы — ухом бы не повел, не почесался бы даже. Шустрил бы потихоньку, дела-делишки улаживал. Ухо бы тут тоже жил, плесенью покрывался. Но все это ерунда. После того как ты сам мне отдал оригиналы фотографий из детдома, нет никаких доказательств, что я вообще был знаком с Петькой Ухом. А копии — сам знаешь, силы не имеют... Я тебя знаю — ты не моралист. Так что давай дальше работать. Через месяц поедешь в Красноярск, будешь там службу с нуля создавать. Дом Камня продадим или опечатаем пока. Колю отправим в Китай с учительницей, уже документы готовы и опекуны узкоглазые подобраны. Весь мир будет у его ног



через десять лет. Наталья головой повредилась — факт, но ни Ольга, ни я ее не бросим на произвол судьбы... Или ты, может, другого хочешь, а? Давай прикинем... Ты пишешь заявление, ради смеха, что я причастен к гибели Влада. Менты начинают трясти всех. Ольга разводится со мной, уезжает...

— Погоди, — удивился Чингис, — что значит «разводится»? Вы что, уже женаты?

— А как бы я иначе все к рукам прибрал? — улыбнулся Милевич. — Мы уже пару лет женаты. Расписаны, как положено. Без Мендельсона, правда, у меня на него аллергия. В этом-то весь план и состоял. Так вот... Наталья, узнав, к примеру, в чем меня обвиняют, тут же потеряет последние граммы соображения. Колю — на помойку. Все предприятия Влада развалятся за несколько месяцев. А потом набегут всякие вымышленные родственники, чтобы урвать кусок наследства. Кстати, они уже суетились. Мои юристы отработали, красавы, как по нотам. Кого с крыльца пинками, кому круассан за щеку. По ситуации, короче. Но это слезы... Надо знать всю империю, а только я теперь в курсе. Короче, ты хочешь, чтобы все рухнуло?

— А вдруг я не буду никуда заявлять? — спросил Чингис, проверяя босса. — Вдруг я тебя просто шлепну, Костя?

Милевич улыбнулся и сказал:

— Знаешь, какая тут ситуация... не за что тебе меня убивать. Не за Влада же... Ты его толком и не знал. А вот мне тебя — есть за что. Ты мне можешь дорогу перейти. Лет пятнадцать назад я бы так и сделал. Но теперь — другое дело. Мне имидж нельзя терять. После Камня я должен быть чист, как первый снег. Это было последнее техническое зло, которое я совершил. Все остальное — чистый бизнес. И я тебе предлагаю сотрудничать. Мне надо воспитывать Колю, опекать Наталью, защищать Ольгу, спасать бизнес. Если не я, то кто? Ты хоть представляешь масштаб проблемы? Ты же оперативная единица, расходный материал, в твоих действиях нет никакой стратегии. Кочевник, хищник, бродяга, перекати-поле... Появился, утащил барана и исчез. Ищи-свищи тебя по кровавым пятнам. А мне тут жить долго. И моим детям жить долго. Хочешь быть моим нукером? Я точно знаю, что ты не веришь в бога... Мне только такие и нужны.

По бетонному полу дул сквозняк. Несильный, но тягучий и холодный, несмотря на лето за окнами. Милевич вдруг встал, покрутил головой, придвинул к столу стул. Все его движения были будничными и ленивыми. Отступил на пару шагов... и вдруг выхватил из кобуры пистолет, на лету снял с предохранителя, оттянул и отпустил затвор, досылая патрон, и прицелился в лицо Чингису. Ничего лишнего. Хорошо смазанный механизм. Доля секунды.

— Я предлагаю единственный раз, — спокойно сказал Милевич, — ты забываешь про Петьку, и мы вместе работаем до конца жизни.

— Что я должен делать? — спросил Чингис, смотря ему в глаза.

— Примешь полностью всю службу безопасности — раз; возьмешь под свое крыло Колю — два. Мне на этом месте не нужен ни добрый, ни хороший. Нужен тот, кто знает меня. Это гарантия будущей мирной жизни.

— Я могу в любой момент выстрелить тебе в спину, — усмехнулся Марат, — какая уж тут гарантия...

— Это может каждый. Но у тебя десять секунд.

Милевич замолчал, приготовившись стрелять. Считать вслух он, разумеется, не стал, чтобы не терять дыхание. Просто ждал, включив свой внутренний метроном.

Чингис криво улыбнулся и кивнул головой:

— Я согласен.

Милевич для порядка подержал его на мушке еще пару секунд, затем одним движением поставил пистолет на предохранитель и отправил его в кобуру.

— Когда Каспаров проиграл компьютеру, — усмехнулся Костя, — он сказал: «Я увидел бога»... Кстати, с кем ты разговаривал в поселке?



— С бывшим завхозом, но тот о вас с Ухом ничего толком не сказал. А вот Мария Жичигина — та прекрасно помнила, хотя почти ослепла...

— Твою ж мать... — удивился Милевич с неожиданной теплотой в голосе, — тетя Маша... Жива еще... Знаешь, какие она пирожки делала. Я больше таких никогда не ел. Иногда они мне снятся. Вот Ольга не снится. А пирожки... Они были золотого цвета.

## 16.

В обед приехал начальник Чингиса, Милевич. Я его никогда особо не любил, но и злиться на него не злился. У меня как раз был урок китайского, поэтому мы с учительницей остались в комнате, а Марат и Милевич вышли поговорить на улицу. Говорили они недолго, но потом я услышал звук мотора джипа Чингиса, а затем на пороге появился Милевич.

— Я дико извиняюсь, Маргарита Анатольевна, — сказал он учительнице, — по обстоятельствам... Мне нужен Коля, чтобы отвезти его к маме. У вас же осталось всего десять минут до конца урока? Даю вам еще пять, чтобы записать домашнее задание, хорошо?

Учительница посмотрела на меня, отчего-то порозовела, и кивнула.

— Разумеется.

— Кстати, скажите мне, сможет ли Коля общаться на китайском?

Маргарита Анатольевна растерялась:

— В этом году мы такой задачи не ставим... Базовые ключи, две сотни иероглифов, постановка тонов, обиходный словарь, учебные и разговорные фразы, счет... Он может поздороваться, спросить что-то, купить какие-то простые вещи, сказать, как зовут его, его маму, где он живет — самый минимум.

— Подготовьте его к поездке в Китай через месяц. Я могу вам поручить съездить с ним дней на двадцать? Все расходы, разумеется, мы оплатим. Нет, сейчас не отвечайте, подумайте. Позвоните мне вечером, — протянул ей Милевич визитную карточку.

Я так понял, что это полностью вывело учительницу из строя. «Грогги», говорил Марат. Это когда боксер «поплыл», когда он не соображает, что происходит.

— А где Чингис? — спросил я.

— Он уехал по делам. Я отвезу тебя к маме, а когда вернемся — Марат уже будет здесь, не волнуйся.

— Я не волнуюсь, — сказал я, — мне просто с ним удобно. Он меня защищает.

— Это очень правильно, — сказал Милевич, — но у него дела, я его заменю. Ты что, боишься? — спросил он подозрительно.

— Нет, — покачал я головой, — просто я вам не верю.

Милевич вдруг фыркнул и захохотал. Но не как Настя, легко и с удовольствием, а словно его душили, с кашлем.

— Уф, — наконец отдышался Милевич, — и это правильно. Вера — дело гнилое. Но я — начальник Марата. И у меня к тебе дело, Коля. Поехали, по дороге расскажу...

Тут мне как-то стало теплее.

— Беги, оденься, что ли! — приказал Милевич.

А что мне одеваться? Не зима... Обуться только. Пока я возился со шнурками, Милевич с Маргаритой Анатольевной что-то обсудили вполголоса.

— Но ведь школа на носу! — услышал я краем уха голос учительницы.

— Ничего, он у нас развитый. Это все умнем и прокачаем... В общем, у китайских опекунов надо все выяснить. Может, он сразу в китайскую пойдет...

— Э-э... — попыталась что-то сказать Маргарита Анатольевна.



— Это я для примера, что вы так реагируете. Нам нет преград... на море и на суше... Куча пардонов, пора. Коля! — крикнул он.

И мы поехали.

Больницу, в которой лежала мама, я знал достаточно хорошо. Как пройти, где палата, где туалет, кто врач и кто медсестры. Меня тоже узнавали и хорошо относились.

Мы провели там около часа. Милевич привез с собой бумаги, которые показал маме, и она даже что-то подписала. Потом попросил ее кому-то позвонить по его телефону. Она послушно взяла сотовый и, услышав голос, обрадовалась. Я голос в трубке не слышал, но понял, что это тетя Оля, из Канады. Мама с удовольствием говорила с ней и была почти похожа на себя прежнюю — такая же красивая, добрая, свежая. Но когда она отдала трубку Милевичу, снова стала какая-то вареная и угловатая.

— Наталья Леонидовна, — сказал Милевич, — вы не волнуйтесь. Колю охраняет лучший сотрудник. И еще одно... вы, конечно, помните, что в отношении Коли в планах была заграница. Думаю, что пора. Мы поручим Маргарите Анатольевне организовать ознакомительную поездку в Китай. В любом случае, там будет более безопасно, чем здесь. Хотя, если честно, непосредственной угрозы уже давно не существует. Следовательно это подтвердил, дело закрывают на днях. Возможно, даже сегодня.

— Мне кажется, — вдруг прикоснулась пальцами к своему лбу мама, — я иногда слышу свой голос. Но я при этом не говорю...

— Это просто нервы, — уверенно сказал Милевич. — Знаете, когда я сильно устаю, я тоже слышу голоса.

— Все время? — поинтересовалась мама.

— Нет, не все время. Когда засыпаю или просыпаюсь.

— А я — постоянно... — вздохнула мама.

— Все будет хорошо, — твердо сказал Милевич, взял ее ладонь и спрятал в своих руках. — Скоро приедет Оля, я лично ее встречу и привезу сюда.

— Скажите, Костя, — спросила мама испуганно, — а я когда-нибудь выйду отсюда?

— Даже не сомневайтесь. Когда приедет ваша сестра, мы все решим.

— А нельзя сейчас? — совсем грустно посмотрела она на него.

— Я лично только «за», но доктор настоятельно не рекомендует. Давайте ему доверимся. Не думаю, что ему доставляет удовольствие держать вас тут. Надо пройти курс лечения до конца...

— В следующий раз привезите мне крупных цветов с большими листьями.

— Пришлем сегодня же! — уверил ее Милевич, сжал ее ладонь обеими руками и поднялся.

— Вы такой правильный, Костя, даже страшно... — устало улыбнулась мама. — Коля, иди сюда, сынок...

Через десять минут мы были уже на улице и присели на лавочку.

Милевич быстро выкурил сигарету, явно о чем-то напряженно думая, выкинул окурок в урну и встал.

— Поедем, — сказал он, — прыгай в машину.

Я открыл дверь, быстро забрался и застегнул ремень — сказала выучка.

Милевич посмотрел на меня, хмыкнул, но ничего не сказал.

Ехали мы не той же дорогой, что сюда. В конце концов вокруг оказались только какие-то одинаковые дома в пять этажей, скучные и с грязными дворами. Внутри дворов были либо гаражи, либо детские площадки с лесенками из железных гнутых труб, но совсем не было деревьев. Проехав внутрь одного такого двора, Милевич присмотрелся и остановил машину у подъезда.

— Посмотри, — кивнул он головой прямо в центр детской площадки.



Там были качели, тоже из железа, но на них никто не качался — сами сидения были вырваны. Рядом была большая куча серого песка. С одной стороны склон песчаной горы утюжили грузовиками два пацана, а с другой три девочки копали ведерками и лопатками.

— Девочку с красной фиговиной на хвостике зовут Ира. Узнаешь?

Я присмотрелся. Голова боевая, руки красные, платье с карманами, ботиночки... роет песок, как бульдозер. Даже вспотела... сдувает челку, смешно выворачивая рот, чтобы не лезла в глаза. Руки заняты.

— Нет, — честно признался я.

— Тебе надо научиться правильно ненавидеть...

— Ее? — удивился я.

— И ее тоже. На-ка, глянь, — протянул он мне тоненькую серую папочку.

Я открыл ее и достал оттуда два распечатанных листа.

— А что это?

— Как бы досье, — ответил Милевич, — на ее семью. На второй странице — фотография ее отца.

Фотография была напечатана на самом листе. С нее на меня смотрел человек в разгрузке и с автоматом на груди.

— АКСУ, — сказал я, — укороченный.

— Калибр? — спросил Милевич.

— Пять сорок пять, — ответил я.

— Смотрю, Марат даром времени не терял! — улыбнулся Милевич. — Здесь он в командировке снимался, на фоне гор, но это неважно. Важно, что он убил твоего отца. И он жив. И будет еще долго жив, а его дочка ничего об этом не узнает. И будет считать его лучшим папой в мире. У нее есть мама, сейчас она варит борщ на кухне и поглядывает в окно. Она беременная на седьмом месяце. Этого тебе Марат не объяснял?

— Нет, — ответил я, — Настя объясняла. У меня на компьютере есть комикс. «Тайна рождения» называется.

— Повезло тебе с Настей... У этой девочки есть папа и мама. Будет сестра или брат. А у тебя не будет больше ни папы, ни сестры, ни брата. Справедливо?

— Нет, — сказал я. И мне тут же стало холодно.

— Разумеется, нет, это же жизнь. В ней всегда все несправедливо, так устроен мир. Но даже в нем есть место... как тебе сказать... подвигу. Я расскажу тебе сказку, хочешь?

— Да, — отчего-то ответил я, хотя, честно сказать, не понимал толком, хочу ли.

— В одной стране не было горя. Вообще. Люди не ругались, не дрались, не воровали друг у друга, не убивали, даже не умирали. Просто в один день за ними приходил ангел и уводил в белый свет. Так продолжалось много лет. А потом из-за гор пришли другие люди. Из другой страны, где вся земля пахла кровью. Они убили мужчин, изнасиловали женщин, угнали детей в рабство, отобрали все, что у них было, и ушли обратно. А в этой стране почти не осталось людей. Но те, кто выжил, стали расти в три раза быстрее, дрались за кусок мяса, жадно охотились... и среди них совсем не осталось слабых. Когда пришел ангел, чтобы увести пожилых в белый свет, то увидел, что старых нет, а молодые хотят его убить. Но оказалось, что ангела убить нельзя, и тогда они просто прогнали его. Следующие сто лет они готовились к войне. А потом, в один невыносимо жаркий день, они перешли горы и перебили всех врагов. Всех. И старых, и малых. Убили даже собак и кошек, разрушили города и сожгли все посевы... И вот врагов больше не осталось. И воевать уже было не с кем. Но они все равно не могли остановиться — запах и вкус крови сводил их с ума. Пьяные от ярости, они кинулись убивать уже друг друга, и к утру остался всего один. Ему надо было возвращаться к своей семье, которая осталась по ту сторону гор. Но он понял, что болен, что убьет их всех. И тогда он побежал в другую сторону и не



остановился, пока не понял, что уже не найдет дорогу назад... У этой истории есть два конца — сказочный и настоящий. Сегодня я расскажу тебе сказочный... В этой стране все ждали своих солдат. На ночь они не тушили огня, чтобы войны видели, куда идти. Они ждали год, два, десять. Но никто не вернулся. И они запомнили их добрыми и хорошими, потому что не знали, в каких монстров они превратились перед своей смертью...

Я представил это в виде компьютерной игры. В моей руке был огромный меч с отростками и клыками, который в жизни бы я ни за что не поднял. Но в игре я мог бы с ним даже бегать, не уставая, часами. Меч пылал синим огнем и брызгал искрами. Я бежал туда, где мне не найти дороги назад.

— Подойди к ней, поговори. Ты умный мальчик, сдержанный. Вот тебе кукла, — Милевич достал с заднего сидения темный, немного мятый пакет и передал мне, — скажешь, что нашел... И что какой-то мальчик... или тетя сказала, что кукла ее. Она не будет отпираться. Но больше ни о чем с ней не говори.

— Почему? — удивился я, заглядывая в пакет — там виднелись золотистые волосы.

— А не время, — как-то пискляво кашлянул Милевич и махнул от себя тыльной стороной ладони, выгоняя меня. — И самое главное, — вспомнил он, наставив на меня палец, — я сейчас поеду за угол, а ты не задерживайся — иначе уеду без тебя. Считай, что ты разведчик. Передал — и быстро смылся. Как в кино. Привыкай задания выполнять.

Я вылез из машины, закрыл дверь и пошел к песочнице. Махом перелез через железное ограждение, подошел к песочнице — пацаны с грузовиками устали на меня, но не увидели в моих руках никаких машин и снова стали укатывать свой склон.

Девочки с другой стороны отчаянно рыли то ли туннель, то ли пещеру. Я подошел к девочке с красной фиговиной на хвосте и окликнул ее:

— Ира!

Та мгновенно обернулась.

Я подошел, присел рядом на кучу песка и быстро посмотрел наверх, на окна. Милевич не сказал мне, с какого окна на нее смотрит мама, поэтому приходилось только догадываться. Может быть, это, с фикусом?... Или то, с белыми занавесками? Или вон то, распахнутое настезь? Загадка...

— Че? — резко спросила девочка.

— Привет, — ответил я и подал ей пакет. — Мальчик сказал, что это твоя кукла. Он за домом нашел. Забирай, мне не надо.

— Какая кукла? — как-то враждебно подскочила ее подружка и чуть не вырвала у меня пакет. Я завел его за спину:

— Ирина кукла, не твоя!

Ира, почуяв, что может остаться без находки, тут же схватила пакет и вытащила оттуда сокровище... У нее пропал голос, она даже не застонала, а захрипела от счастья:

— Барби!

— На-сто-я-ща-я! — завопила подружка и протянула свои руки к подарку судьбы.

— Убери грабли! — прижала куклу к своей груди Ира.

— Тут одежда еще! — вдруг пискнула подружка, засунув руку в пакет, несмотря на сопротивление Иры.

Пыхтя, они пытались порвать и куклу, и одежду на две части. Ира с трудом, но победила.

— Ладно, пойду, — махнул я рукой, — мне домой пора.

— А тебя как зовут? — отчего-то кокетливо спросила Ира, уткнувшись носом в золотые волосы Барби и вдыхая их запах.





Я покраснел и растерялся. Про это мне Милевич ничего не говорил.

— Я с другого двора... Миша... Короче, я пошел. Пока!

Почему Миша — этого я сказать не могу. Просто так вырвалось. Я просто кожей почувствовал, что подойдет любое имя, кроме своего.

— Пока! — ласково ответила Ира и тут же стала отбирать у подружки какие-то серебристые лоскутки. Та опять умудрилась залезть в пакет, хотя он был плотно прижат к животу Иры.

Когда я поворачивал за угол, то услышал запоздалое:

— Спасибо-о-о, Миша!

Голос был очень яркий и сильный. Как у певицы. Я обернулся и помахал девочке рукой.

За домом я увидел машину Милевича и рванул к ней. Она уже начала трогаться. Или он так специально сделал, когда увидел меня в зеркале заднего вида.

— Молоток! — похвалил меня Милевич. — А бежишь неправильно... Опасно бежишь, под колеса мог попасть. Близко прижиматься нельзя!

— Мы с Чингисом на ходу не тренировались! — обиделся я.

— Жизнь не спросит, — усмехнулся Милевич, — как вы там тренивались. Досье... эти два листочка... привезешь домой, выучишь, никому не покажешь и сожжешь. Это приказ. Ясно?

— Да. А зачем мне эта девочка? И кукла зачем? — спросил я.

Милевич хрипло и неумело засмеялся. Целый квартал, наверное, он ехал, смотрел вперед и смеялся.

— Зачем, говоришь? — переспросил он. — Это правила волчат: никогда ничего не забывать. Она через много лет не вспомнит твоего лица. Но Барби не забудет. А ты не забудешь ее. Даже если я умру — ты все равно будешь помнить. Это как мина — рано или поздно, но она взорвется.

## 17.

— Поедешь со мной? — спросил Чингис часа в три ночи.

— Да, — мгновенно ответила Настя, даже не просыпаясь, прямо ему в ухо.

Однако через несколько секунд она поднялась на локте и удивленно спросила, хлопая полусонными ресницами:

— А куда?

— В Красноярск. Года на два. Или навсегда — как получится.

— А Коля? — еще больше удивилась Настя и села.

— Личная охрана снимается, дом опечатывается, тебе предложено место в одном из наших ресторанов, Коля едет в Китай...

— Один? — почти вскрикнула Настя.

— Ага. На велосипеде. Ты думай иногда, что говоришь. С Маргаритой едет, на разведку. Если сложится — вернется нескоро.

— А мама? В смысле — Наталья...

— Наталья недееспособна... и ничего не решает. Теперь Ольга хозяйка, вернее — Костя Милевич.

— А когда ехать?

— Да хоть сейчас... но надо Колю сдать на руки Маргарите Анатольевне, проводить и попрощаться. Самолет завтра ночью... уже сегодня...

Утром Коля проснулся первым, сбежал по лестнице вниз, а там, не увидев Насти с Маратом, радостно атаковал холодильник и, набрав еды, отнес ее к компьютеру. Одной рукой он вошел в игру, а второй стал запихивать в себя белки, жиры и углеводы. Получалось не очень. Тогда он выключил игру и стал искать отсканированных на днях двух бабочек и одну стрекозу. Секрет успеха заключался в том, что сканировались непосредственно насекомые, а не их фотографии. Получалось обалденно, но не с первого раза — раскладывать надо было аккуратно.



В папке со сканами лежали еще какие-то фотографии. Сначала Коля не обратил на них внимания — мало ли откуда взялись черно-белые снимки. Но потом присмотрелся — на них были его ровесники. Может, чуть старше...

Глаза у всех были одинаковые — настороженные, темные и какие-то по-животному любопытные. Злость не убиралась ни прилизанными челками, ни одинаково запроверженными в штаны рубашками. Даже воспитатель в галстук был мрачен как туча. Сзади него была орава, которая, при случае, растерзала бы его играючи.

Коля сразу узнал Камня, даже не особо присматриваясь и не читая отсканированный оборот большой групповой фотографии. Сложно сказать даже, почему узнал... Вроде все такое же, как и у всех, особенно глаза. Может, линия бровей... Может, форма ушей или скул... Скорее всего — спрятанная в углах рта скучающая улыбка. Даже не улыбка, а ее тень...

Флэшка у Коли, конечно, была. Она валялась в ящике стола — блестящая, похожая на каплю, с длинным шнурком, который можно было повесить на шею. Он подумал пару секунд, воткнул флэшку в компьютер и слил туда бабочек, стрекозу и все черно-белые фотографии. Потом вытащил, повесил на шею и стал доедать завтрак.

«Правила волчат — никогда ничего не забывать», — сказал Милевич.

Через полчаса приехала Маргарита Анатольевна, больная от свалившейся на нее ответственности. Она всплескивала руками, перебирала учебники, паковала какие-то наглядные пособия и сто раз переспросила Настю, в каком пакете у Коли что лежит. Огромный чемодан на колесиках, с выдвигающейся стальной ручкой, способный, казалось, выдержать прямое попадание снаряда, принял в свое нутро все, что Настя посчитала нужным. Коля, воровато оглянувшись, улучил момент и половину теплых вещей выкинул за спинку дивана. Впрочем, это помогло мало, потому что тут же за дело взялась Маргарита Анатольевна и запихала внутрь свои наглядные, трепетно оберегаемые пособия. Потом пришел Марат, усмехнулся, запихал в чемодан скакалку, эспандер и очки для плавания.

— Оно, конечно, в Китае это все есть. Но к этим ты уже привык. Фотоаппарат положил?... Пакуй. И зарядку для телефона. И аккумулятор. И карты памяти. Ноутбук не пихай — с собой понесешь. Нож есть?

— Конечно! — гордо сказал Коля и вытащил из кармана маленький складень.

— В чемодан. На таможне отберут. Все режущее — в багаж. На месте достанешь. И на обратном пути опять переложить в багаж, понял?

— Ага! — кивнул Коля, засовывая нож во внутренний карман чемодана.

— А маникюрный набор? — ахнула учительница.

— Послушайте, Маргарита Анатольевна, вы когда последний раз летали? Вы еще про шампунь спросите!

— А что, и его нельзя?

— Жидкости любые, соки-воды и прочее — нет. Иголки, булавки, ножнички, пилочки — нет. Бритвы — тем более. Лекарства я бы тоже на всякий пожарный в багаж. Есть лекарства?

— Да... — убитым голосом протянула Маргарита.

— В багаж! — рявкнул Чингис, издевательски улыбаясь. — Ну и последнее... Золото, бриллианты есть?

— Есть... — теряя сознание, ответила учительница.

— А много? — заговорщицки спросил шепотом Марат.

— Сережки, кольцо, крестик...

— Это можно, — великодушно разрешил Чингис. — Наденете на себя, как будто в них родились.

— Уф... — выдохнула Маргарита Анатольевна, — вы меня запутали. Я действительно давно уже не летала.

— Хорошо... — смилостивился Марат. — Вы на машине? Давайте ключи, я отгону ее в наш гараж. Когда вернетесь — пригоним обратно, помоем и подлатаем. Все лучшее — детям. И их наставникам.



— Марат Хазиевич... — вдруг как-то официально обратилась Маргарита, — я бы хотела уточнить... По финансам...

— Это к Милевичу, — ответил Чингис безразлично, но секунду подумал и взял за телефон. — Минуту, сейчас выясним...

Костя ответил сразу.

— Костя, Маргарита Анатольевна интересуется деньгами.

От этих слов учительница покрылась инеем и вспыхнула майской розой одновременно.

— Да, — выслушал Марат и продолжил: — Все понял, передам.

Нажав кнопку отбоя, он почесал висок телефоном и улыбнулся:

— Провожать мы вас поедем все вместе. И босс тоже. Все документы, кредитную карту и деньги он передаст вам лично. Просил не волноваться. А вас, пока есть время, просил проверить заграничный паспорт.

— Со мной, — быстро проверив сумку, сообщила учительница, на этот раз побледнев и заметно задрожав пальцами.

Коля подбежал к ней и обнял за ноги.

Все присутствующие недоуменно посмотрели на мальчика.

— Дао ке дао фей чан дао... — сказал Коля.

На что Маргарита Анатольевна автоматически ответила по-китайски и, выдохнув, погладила его по голове.

— Вы что-то сильно волнуетесь... — немного удивился Чингис.

— Вы просто не понимаете... — горестно ответила учительница, обнимая Колю и покачиваясь. — Я в Китае была один раз на курорте и три месяца училась...

— И в чем проблема? — усмехнулся Марат. — Я там вообще ни разу не был!

— Я страшно боюсь не справиться, — призналась она, — я всю ночь не спала и стихи читала.

— Кому? — не совсем понял лирическую ситуацию Чингис.

— Себе... Или темноте, я не знаю... Ли Бо. Хотите послушать?

— Настя! — мгновенно, как дикий кот на краба, отреагировал Марат.

— Что такое? — выглянула из кухни девушка.

— Маргарита Анатольевна желает чай, торт и еще один торт... два торта, а я поехал — ее машину поставлю на стоянку!

— Однако, — вытянула вперед губы Настя, — сейчас подумаем. Торты, конечно, нет. Но есть очень вкусное печенье, будете?

— Я сейчас все буду... — кивнула Маргарита. — А можно рюмку коньяку? Раз уж я теперь без машины...

— Не вопрос. Вы проходите в столовую, я сейчас накрою...

Вскоре появился Милевич, посадил перед собою учительницу и стал передавать документ за документом.

— В этом конверте кредитка. В этом — деньги... Разрешение на выезд ребенка... Нотариально заверенный перевод разрешения... Копия свидетельства о смерти...

— Боже... — покачнулась Маргарита.

Милевич легко подхватил ее под локоть и выпрямил:

— Чистая формальность, не волнуйтесь... Загранпаспорт Коли. Копия свидетельства о рождении... Билеты. Страховка. Ну и остальное...

— Водительские права взять? — вклинилась в реальность Маргарита Анатольевна.

— Любые права в Китае, кроме китайских, недействительны. Лишние документы попрошу сдать и проверить при мне два раза, пока, значит, мы при памяти. И вот еще телефоны, адреса — тут все, к кому можно там обратиться, на двух листах. В общем, наш юрист собрал все мыслимое... Стоп! — хлопнул себя по лбу Милевич и достал еще папку.



— Что это? — спросила учительница.

— Карты. Пекин, Харбин, Шанхай, Хайкоу, Чунцин...

— Чунцин? Мы что, и туда едем? — опять накренилась в полуобмороке Маргарита.

— Нет. Это на всякий случай. И там же — справочник туриста на английском. И там же — фотографии людей, которые вас встретят... Все! — хлопнул себя по коленкам Милевич и встал.

Учительница собралась и решительно начала проверять все бумаги. Терять сознание можно и в самолетном кресле. Надо только до него дотерпеть.

## 18.

Я, похоже, перестал быть человеком. Или личностью. Но стал частью каких-то документов, как приложение. Без них в аэропорту я ничего бы не значил. На плече у меня был ноутбук, в кармане куртки — пятилетний заграничный паспорт. Рядом неотступно нависала Маргарита Анатольевна, с папкой тщательно проверенных бумаг.

Сорок минут назад я сидел в машине Милевича и слушал его инструкции. Один на один. Больше не было никого.

— Вот этот листок, — сказал он, вытаскивая бумагу, — держи при себе. Сложи в восемь раз, выбери самый глубокий карман с молнией или с пуговицей и носи всегда. Если Маргарита тебя потеряет — это единственный способ выжить. На обратной стороне надпись на китайском — подойди к любому человеку в форме, лучше к полицейскому, и покажи.

Тут я, честно говоря, даже вспотел от одной мысли о том, что придется подходить к китайскому полицмену. Милевич увидел это и улыбнулся:

— Ты сильно-то не волнуйся. Маргарита, пока жива, тебя точно не потеряет. Это на случай форс-мажора. Главное — не бойся, ничего не бойся. Ты сейчас, может, думаешь, что я от тебя избавляюсь — это не так. Через несколько лет ты приедешь и сам решишь, что будешь делать. Но у тебя уже будет такой опыт выживания, как ни у кого. У тебя будет язык, знания, а главное — правильное зрение. На свою страну ты больше не будешь смотреть изнутри, только снаружи. Даже не снаружи, а сверху. И не будешь к ней никогда привязан. Эта страна тебе не нужна. В ней хорошо получается только умирать или убивать. А ты нам нужен живым и здоровым, у меня на тебя большие планы. Придет время — те края будем осваивать. Своими собственными людьми, не китайцами. Ты — первая ласточка в нашей команде. Вот так ты и должен думать, а не «почему меня бросили на помойке». Будь мудрее. А сильным мы тебя и так сделаем. Каждое лето будешь дома, на заслуженном отдыхе. Твой учитель на это время — Чингис. Связь с ним не теряй. Он — натуральная бомба. Думаю, через полгода он уже станет главой нашей службы безопасности. У нас будет несколько баз подготовки, да таких, что силовики позавидуют. Твой папа делал просто бизнес... и был, конечно, прав. А мы создаем армию. Учись, пока просто учишься, потом все поймешь, все объясним и подготовим... Тебе тетя Оля нравится? — вдруг спросил он.

— Да, — честно ответил я.

— Мне тоже... очень. Жизнь такая странная, — усмехнулся он, — я теперь ее муж, а она — твой опекун. Знаешь, что это значит?

— Нет... — ответил я не сразу, — не совсем.

— Ты должен точно это знать, поскольку мы теперь — одна армия. Пока твоя мама в больнице, пока ее лечат, тетя Оля полностью вместо нее. А я, получается, твой отец, но она главнее. Она может решать твою судьбу, а я — нет. Но я все равно всегда буду на твоей стороне. Как Маргарита, как Чингис, как Настя... Пока ты маленький, мы, как волки, будем защищать своего волчонка. Если тебе понадобится



что-то подписать или официально разрешить — это к тете Оле. А если порвать кого-нибудь, спасти или научить — это ко мне. Запомни разницу. Вопросы есть?

Я молчал и смотрел в окно. Вопрос был.

— Хотел спросить... что мне делать с той девочкой, Ирой?

— Ха... — усмехнулся Милевич, — это ты сам решишь. Я тебе ее только показал.

— А зачем?

— Затем, что жизнь, в сущности, очень скучная штука. А я тебе обеспечил хобби на долгие годы. Можешь думать о девочке и ее семье каждый день. Можешь раз в десять лет. Но совсем забыть ты не сможешь, пока по этой земле ходит человек, который убил твоего отца. Ответит он за это когда-нибудь или нет — это твоя забота. Только твоя. Главное правило волчат помнишь?

— «Никогда ничего не забывать». Я помню.

— Да. Именно поэтому нас боятся. Потому что мы помним, даже когда все забыли... И нас будет целая армия. Волчат обижать нельзя... Беги к Чингису с Настей... Еще прощаемся. Я тут пару звонков сделаю.

Я выскочил из машины, сложил листок пополам, еще пополам и еще. Сунул в задний карман джинсов, но потом передумал и переложил в карман рубашки — там была пуговица.

Чингис, Настя и Маргарита Анатольевна обсуждали нашу поездку. Марат что-то показывал на себе, хлопал ладонями по бокам, а потом взял у учительницы сумку, повесил ее на плечо и плотно прижал к себе рукой:

— И только так! Когда идете по тротуару, сумка должна быть не со стороны улицы, а с обратной. Так байкер у вас ее не вырвет, а байков там миллиард. Деньги вообще лучше не в сумке, а в кармане носить.

— Марат, — посмотрела Настя на Маргариту, — ты ее запугал!

— Это да. Вы уж простите, — согласился Чингис и вернул сумку, — но все это не ради страха, а ради вас.

Я подошел и встал перед ними, не зная, что говорить. Они вроде чего-то ждали, а я молчал. Какие слова, о чем? Я не умел прощаться. Вернее, у меня и не было ситуаций, в которых надо было серьезно расставаться. Когда говоришь маме «пока» — это совсем другое. Она никуда не девается, да и я никуда исчезаю. А сейчас я сяду в самолет и улечу очень далеко. В чужую страну, где мне может понравиться... или нет. И из этого мира там будет только Маргарита. Остальных я просто буду помнить, но они будут очень далеко.

— Инструктаж прошел? — спросил Марат.

Я кивнул головой.

— Отлично. Как там более-менее устроитесь — позвони... И еще запомни — мы тебя ждем... Я тебя жду. Считай, что я твой гуру или... сэнсэй.

— Мастер! — вырвалось у меня.

— Пусть будет мастер... Короче, не забывай нас...

— А вы сейчас куда? — спросил я.

— Сейчас с Настей заберем Джека и отправимся в Красноярск. Работы много...

— А дом?

— Куда он денется! — усмехнулся Чингис. — Подождет, он под охраной. Об этом не думай. Учись, набирайся опыта.

— Вы только Джека не потеряйте, — попросил я.

— Он с нами будет, не волнуйся. Должен же кто-то Настину еду трескать.

— Не поняла! — угрожающе посмотрела на него Настя.

— Вкусно-вкусно, — быстро ответил Марат, — но много!

— Считай, что уже мало! — злорадно ответила она, но вдруг по-детски шмыгнула носом, посмотрев на меня.



Я посмотрел ей в глаза. Как там говорил Чингис?.. «В глаза им смотри, тогда они теряются». Но тренироваться побеждать женщин отчего-то расхотелось... и я вдруг почувствовал себя оторванным, словно лист на воде. Лист плывет по течению, крутится, намокает. И главное — никому не нужен. Все говорили вокруг, что я нужен, а мне показалось — наоборот...

Каждый, кто мне встретился в жизни, что-то говорил. Камень, Милевич, Чингис, девочка Ира, папа и мама...

«Сынок, мы тебя любим». «Я всегда буду рядом». «Расти большой»...

Среди этих слов были страшные и ласковые, громкие и тихие, честные и лживые... были теплые, ледяные, цветные, черно-белые, легкие и совсем непонятные... были с запахом жвачки, с чесноком, с мятой, с сиреневыми кистями, на русском, на английском и на китайском... Слова шумели, обступали со всех сторон, усмехались, жалели, ненавидели, хотели убить — и убивали... Наверное, слова могли сделать что-то хорошее. Наверное. Но пока они только издавали болезненный шелест и мешали думать.

Кроме тех хлестких и жутких, которые запоминались сами собой и оставались даже не в голове, а в сердце. Слова Камня, Милевича, Чингиса.

Правила волчат.

У меня защипало в носу. Я хотел быть сильным, но не смог.

Настя кинулась ко мне, опустилась на корточки и обняла меня так, что, собственно, никто толком ничего и не понял. Она нежно гладила меня по голове, по спине и даже по плечам. И я затих, конечно...

— Ты еще маленький, — прошептала Настя, — тебе можно. Да ты знаешь — всем можно, иногда.

— И Чингису? — вдруг спросил я.

— И ему! — твердо сказала Настя. — Только где-нибудь под водой или в пещере.

— А мы еще встретимся? — спросил я, незаметно вытирая слезы.

Настя замолчала. Она покачала меня немного и тихо ответила:

— Я не знаю. Честно — не знаю. Но я бы хотела. А ты?

Я кивнул, чувствуя запах Насти, закопавшись в нее. Это был ее запах. Не мыла, не жидкого средства для мытья посуды, не стирального порошка, не крема и не духов. Это пахла сама кожа, тело, волосы. Этот запах был теплым, жгучим и живым. Я еще не знал, что потом всю жизнь буду подсознательно его искать, и иногда мне даже будет попадаться что-то похожее. Но точь-в-точь такой же запах, один в один, до молекулы, уже не встретится. Я еще понятия не имел, что людей с одинаковым запахом не существует. Это знают собаки, а еще лучше — волки.

— Хм, — сказал Чингис откуда-то сверху, — не помешаю?

Настя провела по моему лицу носовым платком, поправила воротник и одернула куртку.

— В глаз какая-то фигня попала... — мучительно выдавил я из себя.

— Ну ладно, Коля, давай пять! — решительно протянул руку Чингис.

Я пожал ее, как мог. Пальцы у него как железные, хотя сами ладони небольшие. У папы, например, были крупнее, но мягче. А Марат легко вырывал пальцами большие гвозди. Я как-то себе плечо сильно оцарапал, когда пробежал вдоль забора. Чингис увидел это, нашел, обо что я поранился, и вырвал руками, для тренировки.

— До встречи. Прощаться не будем, я тебя еще сто раз увижу. Главное — удачи. Жизнь состоит из двух вещей: из того, к чему готовишься, и того, к чему вообще не готов. Так что желать можно только удачи. Остальное — натренируем. Запомни.

Я запомнил.

Уже давно стемнело, но в аэропорту все было в огнях. Когда самолеты садились или взлетали, их было видно издалека, они мигали, как елочные гирлянды. Светом было пропитано все — здания, автомобили, люди. Куда бы я ни глядел, везде что-то светило, переливалось, вспыхивало или мигало с разной частотой.



Мы прошли в огромное здание, которое тоже сверкало, стояли в какой-то очереди, выходили из нее, пили кофе из автомата, стояли в другой очереди, прошли в двери; потом мне пришлось снимать обувь, укладывать ее в корзинку, вытаскивать из кармана все железное, обуваться снова, потом снова стоять в очереди... В какой-то момент я понял, что я уже не принадлежу этому городу и этой стране. Я шел по странному металлическому коридору... и вдруг сразу оказался в самолете. И мир стал совсем-совсем другим. Уже некогда было плакать или размышлять.

Жизнь состоит из двух частей. Первая — это то, к чему готовишься. Я сел, стал трогать все, до чего мог дотянуться, пристегиваться, поднимать спинку кресла, слушать настолько красивую стюардессу, что у меня даже мурашки побежали по спине.

А вторая часть жизни — это та, к которой нельзя подготовиться...

Самолет долго ехал по бетонному полю, но в какой-то момент вдруг завыл, задрожал и неожиданно рванул в темноту, набирая скорость. Колеса стучали по земле; мне показалось, что сейчас самолет развалится, но после двух особенно сильных ударов стало совсем тихо. Он неожиданно мне даже показалось, что я оглох.

Потом мы летели из ночи туда, где рождался новый день. И ночь стала сначала сиреновой, потом серой, потом молочной, а потом вдруг я увидел в иллюминаторе малиновый, с золотом, рассвет.

Мы летели над облаками, и они были похожи на сказочную страну. Я видел горы и долины, реки и озера белого цвета, дома или замки... Этой стране не было конца, в ней никто никого не убивал, в ней не было крови, войн и ненависти. И я летел над всем этим, пока мы не начали снижаться и не оказались внутри облака, где ничего нельзя уже было рассмотреть. И уже в облаке я почему-то вспомнил аэропорт. Когда мы прощались с Милевичем, я его спросил про *настоящий* конец притчи о том воине, который ушел навсегда, лишь бы только не убивать своих. Ведь до этого он мне рассказывал только сказочный.

— Он все же вернулся — ночью, перед рассветом... — сказал Милевич. И добавил: — Жизнь — очень скучная штука. Но к тебе это уже не относится.

## 19.

*Много лет спустя...*

Еще год назад я не дурил. Если Чингис вдруг говорил — лети через Пекин, то по-другому я бы и не сделал. Но теперь мной теперь не очень-то легко управлять, поэтому из Чанчуня я рванул на вокзал в Харбин.

В России на перрон пускают всех подряд, отчего у вагонов можно насладиться утомительными слезливыми сценами. В Китае такой номер не пройдет. Перрон там не для людей (еще чего не хватало!), а для поездов. Попав по билету на перрон, ты принадлежишь только самому себе и китайским железным дорогам.

Первым делом в купе я заглушил наполовину кондиционер. Просто заткнул его щели салфетками. Если этого не сделать, то есть риск серьезно простудиться посреди лета. Компания подобралась так себе — пара в годах (типичная деревня) и один упитанный парень-студент. Он был весь наштигован новомодными гаджетами, все время переключаясь между ними и пытаясь скоротать время. На меня он посмотрел с живым интересом и сказал ненавистное любому *лаоваю* в Китае «хеллоу». Я поморщился (каюсь, не специально), ответил «хай» и спросил его, где он учится. Уже по-китайски, конечно, так как был уверен, что по-английски дальше «хеллоу» он не продвинется. Акцент у меня, разумеется, есть, но говорю я бегло, с приличным набором молодежного сленга.

— Вот это ты шпаришь! — удивился парень.

Его звали Чжан, он ехал куда-то к родственникам, заодно и подработать, но не в Хэйхе, а где-то в Хайлуэне. Выходить он должен был глубокой ночью или даже под утро, отчаянно боялся проспать, потому собрался слушать музыку.



Мы обсудили местную модную попсу, которую я ненавижу даже больше русской. От прослушивания новинок я отказался, сославшись на то, что больше тащусь по русскому року.

— А сколько тебе лет? А брат у тебя есть? — решил переключиться с небес на землю Чжан.

Надо сказать, что соседи в этом месте тоже оживились, хотя до этого почти нас игнорировали. Китайца хлебом не корми, но дай узнать твой возраст, состав семьи, кто ты и кто твои родные. Мистики в этом нет никакой — им просто надо как-то к тебе относиться, выделить для тебя какую-то нишу, присвоить тебе рейтинг и сравнить со своим. Европейцу этого не понять, там каждый — центр Вселенной, и этим все сказано. Китаец же неразрывно связан с кланом, семьей, местностью. Даже уехав в далекие Калифорнии, он останется Чжаном из Хайлуня...

Засыпая, я подумал, что первым делом выпью в России душистого кофе. У меня от этого предчувствия даже мурашки по спине забегали. В Китае кофе есть. Но вся беда в том, что он очень крепкий... и ничем не пахнет. В результате, когда его пьешь, не чувствуешь ничего, кроме жесткой горечи. К чаю ведь я так и не привык. Я его пью, но ночью мне снится кофе: большая кружка, из которой поднимается дразнящий пар...

Я проснулся когда за окном было уже совсем светло. Мимо пролетали поля. Они были ухожены с какой-то мистической страстью, подбираясь к самой насыпи. Людей на полях было мало. Меня это всегда удивляло — не ночью же они работают. Засеяно было все. Если посреди кукурузного поля оказывался притопленный участок, о котором в России забыли бы навсегда, то в Китае с этим не шутили и тут же засаживали рисом. Освоена должна быть вся планета и еще немножко.

Потом пошел дождь, какой-то нереальный и игрушечный. Китайские купейные вагоны отсекают наружный мир напрочь, даже воздух делая очищенным. В России вагоны — неотъемлемая часть природы. Если он едет по мосту через реку, ты чувствуешь сырость воды, а если подъезжаешь к городу, то запах санитарной зоны, вместе с пылью, солнцем, огнями, криками и sireнами...

Когда прибыли в Хэйхэ, я взял свой рюкзак, скорее декоративный, чем туристический, забросил его на спину и вышел. Начиная с этого момента Китай стал заканчиваться.

В Хэйхэ я добрался на такси до торгового острова, забежал в маркет, прикупив всякой шпионской мелочевки — миниатюрную видеокамерку размером с половину спичечного коробка, «подслух» на симкарте, глушитель сотовой связи. Заодно взял мощный зеленый лазер, давно такой хотел. Сунул все это в рюкзак, размешав во внутреннем кармане со плеерами, кабелями и прочими флешками. Все это есть и в России, только лазер, например, гораздо дороже, а «шпионка» запрещена, купить ее можно только через Интернет. Опасность, что изымут на таможне, конечно, есть, но она минимальна.

Выйдя на крыльцо, я увидел молодую китайку моего возраста, весело раздающую буклеты.

— Заходите, покупай, одежда, дешево и сердито! — заучено протараторила она по-русски.

С этим «дешево и сердито» вообще какая-то мистика. Эту фразу знает на границе каждый китаец и вставляет ее куда ни попадя. Услышав ее в сотый раз, начинаешь ненавидеть уже все идиомы — и русские, и китайские...

— Не нужно, красавица! — сказал я на китайском, улыбаясь.

«Смотри им в глаза, — говорил Чингис, — они тогда теряются».

Я прикоснулся к ее руке. Девушка вздрогнула. К прикосновениям они относятся иначе, чем русские.

— Говоришь по-китайски? — спросила она, порозовев.

— Я в китайской школе учусь, в Харбине, — ответил я.





Я из Чанчуня, но отчего-то решил не открываться. Так спокойней.

— Вау! — обалдела она. — А тебя как зовут?

— По-русски — Коля. А тебя?

— Ян, — зарделась она (это означало «солнце»). — А по-русски это что-то значит?

— Кроме мужского имени — ничего. Если хочешь, называй себя «Яна». Красиво будет.

— Я-на, — раскрыв глаза на всю природную широту, повторила девушка и, по моему, дико обрадовалась.

— Платят хоть? — кивнул я головой на буклеты. — Или мама послала раздавать?

— Старшая сестра, — улыбнулась девушка. — Ты в Россию едешь?

У нее были очень ровные зубы. Прямо с рекламы зубной пасты.

— Да, на каникулы... Тоже что-нибудь поручат. Поехали со мной?

Китайка засмеялась про себя, вполсилы — они это умеют, потупив взгляд и загадочно хлопая ресницами. Русские девушки никогда не сдерживаются.

— А что ты там будешь делать? — вдруг спросила она.

Я задумался. Чуть-чуть задумался, самую малость.

— Учиться.

— Но у тебя же каникулы...

— Когда здесь у меня каникулы, я еду к своему мастеру и учусь у него.

— А чему учит тебя твой мастер? — спросил она, красиво наклонив голову набок, совсем не вызывающе, даже скромно. Но все равно кокетливо. В женщинах, хоть в желтых, хоть в черных, всегда живет желание понравиться. Эволюция, ничего не поделаешь.

— Любой мастер учит убивать, иначе зачем он тогда нужен? — ответил я.

Девушка вздрогнула, пытаясь в моих глазах найти отблеск шутки. Я подумал, что надо меньше пугать людей.

— Тайцзи, — уточнил я, — но по-нашему.

— А-а! — улыбнулась она. — Это долгий путь!

— Путь в тысячу ли... — вспомнил я заезженную в хлам фразу.

Так мы говорили ни о чем и обо всем, пока я не решил, что хватит, посмотрел ей в глаза, снова прикоснулся к руке и спросил:

— Я вернусь в конце августа. Найду тебя?..

— Если хочешь... — бесконечно осмелев, ответила она.

— Место какое? — спросил я, имея в виду номер ее ларька.

Она ответила. Я запомнил, припечатав ее самой киношной улыбкой, которую только смог в себе отыскать. У меня даже скулы заныли.

— До свидания, Яна! — сказал я, на этот раз по-русски.

— Досовидания, Ко-лиа, — машинально ответила девушка, немного постояла, а потом опять принялась раздавать буклеты на все том же якобы-русском языке...

Китайская таможня мной не заинтересовалась. Что несусь, зачем — смотреть они не стали. Штамп в паспорте — и вперед.

Корабль оказался российским; как только я поднялся на борт, сразу почувствовал, что на родине: злые люди с огромными баулами, велосипедами, каким-то веслами и прочим эксклюзивным товаром из-за рубежа заняли все место под крышей, все удобные сидения и все пространство рядом с ними.

Я потолкался, вздохнул и вышел на палубу, под открытое небо. Свежий ветер, брызги, чайки над амурской желтоватой водой...

Запустили двигатель, отдали швартовы, отчалили — и русский берег стал приближаться, медленно и неотвратимо. Я возвращался — какой уж раз за эти годы. И сколько раз еще вернусь обратно...

Кое в чем Милевич был прав — мой мир теперь больше, чем одна страна. Мне теперь мало России и Китая. Иногда мне даже кажется, что я космонавт на орбите, который обязательно вернется туда, откуда прилетел, но всегда будет помнить, какая же она все-таки маленькая и скучная, эта Земля. И на ней живут люди, которые не знают, что я на них смотрю. Серой невидимой птицей я буду летать над ними. Я буду знать, как они спят, где они ходят, что они делают, даже чем они дышат... и как бьются их сердца. Мне незачем их выслеживать, высматривать, гнаться за ними — они никому да не денутся. Я знаю о них все.

Почти каждый день перед сном я становлюсь на колени. Мои китайские опекуны очень уважают этот ритуал и думают, что я молюсь. И я на самом деле молюсь, только... Мой самый главный учитель сказал: «Не делай богом никого, кроме себя. Не кланяйся никому, кроме себя. Не молись никому, кроме себя. Не работай ни на кого, кроме себя. Не убивай, если сыт...» — и еще много других полезных вещей. Другие просят милости, защиты или удачи. А я становлюсь на колени и молюсь самому себе. И я не прошу. Я сам могу раздавать милость, защищать или карать. Свет внутри меня может сжечь любого, кто заглянет мне в душу.

Я делаю острыми свои мысли. Я укрошаю страхи. Я избавляюсь от сомнений и наполняю себя музыкой и голосом. Я вижу, не открывая глаз, как по моей коже стекают огненные водопады, свиваются в пылающие узлы и исчезают, выжигая пространство, которое принадлежит только мне.

Каждый день я мысленно разбираю себя на части и собираю снова, я привожу в порядок и намечаю вещи, которые следует узнать завтра. Каждую следующую ночь я становлюсь сильнее. Проверив тело и мысли, я, не открывая глаз, перечисляю людей, которые никуда от меня не денутся. Улыбаясь, я смотрю на них и вижу, как они занимаются своими делами, учатся, целуются, смеются, ругаются, плачут, отдыхают, читают книги, смотрят телевизор, едят, пьют, как планируют свое будущее, как кого-то осуждают или хвалят, как злятся, любят и рыдают от счастья. Им кажется, что их жизнь совсем не зависит от маленького испуганного мальчика. И это правда — от того мальчишки уже ничего не зависит. Но бог внутри меня никогда и ничего уже не забудет. Правило волчат. Око за око...

Я вытащил из телефона китайскую симку, переложил ее в маленький кармашек бумажника, вытащил из него другую, русскую, вставил обратно и набрал номер.

Когда-нибудь я вернусь ночью, перед рассветом...



Владимир КРЮКОВ

## ОТ МНОГОГО СВЕТА

\* \* \*

Много тех, кто подавал надежды,  
кто в стихах страдал и ликовал,  
рано прибались, смежили вежды,  
не осилив главный перевал.

Но преодолевший горы эти  
не увидел рядом никого,  
кто бы поддержал его, приветил,  
кто хотя бы выслушал его.

\* \* \*

Признавая во мне властелина,  
лето под ноги травы стелило,  
чтобы этакий князь  
всё бы тёплый прихлёбывал ветер,  
зверобой и душицу приметил  
и сорвал, наклонясь.  
Но под небом с его облаками,  
обхвативши колени руками,  
мне привычней сидеть,  
потому что я данник твой, лето,  
потому что от многого света  
я не знаю, куда себя деть.

\* \* \*

Близорукому взору  
всё размыто — досада одна.  
На любимых озёрах  
мне уже не видна глубина.

Прохожу я всё реже  
у суровой, слоистой воды,  
на снегу побережий  
свои оставляя следы.

С истечением света  
что увидеть и что загадать —  
мол, дотянем до лета,  
а там благодать. Благодать.

Там вода не стальная —  
драгоценным сияет огнём.  
Там моя остальная  
жизнь продолжится ясным ли днём.

\* \* \*

Не отрицая власть судьбы,  
я верить не хотел упрямо,  
что есть в России лишь рабы  
да ими правящие хамы.

И мне рассказывала тьма  
в мои орфические годы  
о повреждении ума  
на обретении свободы.

Но жизнь своим шла чередом,  
она меня не торопила:  
мне доводилось ставить дом  
и даже поднимать стропила.

Мне в жизни этой повезло:  
друзья и книги, лес и поле.  
И государственное зло  
не отменило нашей воли.

И лишь теперь, на склоне дней,  
в надеждах лучших разуверясь,  
глядеть грустнее и больней  
на торжествующую серость.

Скривить усмешку на губах,  
я чувствую, уже не в силах,  
и тянет рифма о гробах,  
и следом тянет о могилах.

А время — это существо  
упрямого, крутого нрава,  
и нет защиты от него,  
и нету на него управы.

А в снах моих идут след в след,  
не видя в этом беззаконий,  
лошадки отроческих лет  
и апокалипсиса кони.

Виталий ЩИГЕЛЬСКИЙ

## БЕССОННИЦА

Р а с с к а з ы

### ИНОХОДЕЦ

Он перемещался по земле иноходью: правая рука шла параллельно правой ноге, левая рука — параллельно левой. Такой способ передачи движения широко распространен среди механизмов. А среди людей — редкость, совершенно неприемлемая, например, в армии, где единообразие — главный и часто единственный залог победы.

В армии я с ним и познакомился. Выяснилось, что мы жили в одном городе, но в разных районах. Мое детство прошло в барочно-снобическом особняке, пусть и перестроенном ради общей справедливости в улей, а его — в тонкостенной блочной коробке, выглядевшей девятиэтажным коровником.

Правила общежития в армии довольно просты: первый год возишь ты, делаешь и свою, и чужую работу, мало спишь, скудно ешь, носишь подменку чужого размера и изжеванную пилотку. Второй год возят тебя, и ты, забыв о служении отчизне, компенсируешь тяготы и лишения первого года. Со стороны система выглядит пошло и примитивно, но со стороны смотреть некому — все внутри, даже шпионы и отщепенцы.

Армия — количественно уменьшенная модель империи, гражданином которой имеем честь или бесчестье (лучше сразу привить у себя несогласие со вторым вариантом) быть все мы. Не случайно ее называют еще «школой жизни», кузницей настоящих мужчин. Женщины в ковке-выковке не нуждаются. Женщины рождаются с готовой поведенческой программой «бай — батрак, раб — сатрап», впитывая ее с молоком матери. Жесткая субординация не предусматривает вопросов — только приказы, делая жизнь понятней, определенной, стабильней, устойчивей. Альтернативы всегда противоречивы, неуравновешенны и сложны. Как перефразировал один малограмотный классик одного невежественного тирана, «существовать надо проще, существовать надо веселее».

Руководствуясь нехитрым девизом, почти без моральных потерь я вместился в плебейский фрейм первого года службы и с удовольствием погрузился в патрицианское эпикурейство второго.

Иноходец, звали его Костя Дубровский, не вписался ни в один из кругов. С первого до последнего дня он вел себя одинаково ровно, вне унижений и привилегий, словно не чувствовал давления как со стороны звезданутых офицеров и прапоров, так и со стороны голопогонной геронтократии — двадцатилетних дедушек, дембелей и старичков.

Ближе всех по шкале независимости к нему подобрался блиноликий обитатель зыбучих туркменских песков — Абас. Будучи младшим сержантом, он спокойно относился к скотоводству и скотоложству, но упорно нарушал порядок именованья звания, представляясь «младшим Абасом сержантом». На Абасе, как на Дубровском, обломился весь арсенал изменяющих личность военно-психиатрических средств: задушевные разговоры с политруком, наряды на вонючий хоздвор, «губа», коллективная «темная». Впрочем, неуставную привычку Абаса все же избыли повизантийски хитро — добавив «соплю» на погон. И он стал просто сержантом без префикса «младший». Проблему закрыли. С Константином такого не вышло — рядовой он и есть рядовой. От зорких глаз проверяющих невыправленный иноходец Дубровский был спрятан внутрь строя. Но, как показало ближайшее будущее, империю такой маскировкой спасти не удалось...

Империя рассыпалась благодаря таким, как Дубровский, теперь я это знаю точно. Распалась не на республики, как мечтали редкие и не всегда адекватные в наших самобытных краях либерторианцы, а на несколько империй-обрезков, выглядевших, как попавший в измельчитель бумаги червяк. Связи между новообразованиями были обрублены таможенными постами. Связи между людьми пересохли, как реки. Впрочем, основополагающая колея, по которой людские жизни текли от небытия к небытию, осталась прежней. Так считал я. Так считал бы Абас, если бы умел считать. Так считали практически все. Но не Константин. Он всегда был другим и всегда считал как-то иначе.

От развала страны, на мой скромный взгляд, выиграли те, кто хотел свести к минимуму накопившиеся неопределенности, сделать константами тех, кто «возит», и тех, кто «везет». Априори количество «возчиков» значительно больше числа «седоков», и при смене позиции (торжестве справедливости) бывшим седокам пришлось бы тащить на себе весь тягловый скот, что противоречило не только законам Ньютона, но, прежде всего, угрожало фундаментальным основам сословного общества. Закрепление «статуса кво» сопровождалось исчезновением из магазинов сначала промышленных, а затем и продуктовых товаров. Создавался искусственный дефицит для последующего явления народу «буржуазного чуда». Оп-ля-ля, вот вам я — благодетель, а вот мой реформаторский рог изобилия! Получи все, что хочешь, но сперва покажи гроши... Трюк эффектный и, что важно, довольно дешевый.

Я и сам бы сделал нечто подобное, находишь я в системе распределения. Но я был в свободном падении — не в праздном, как большинство соотечественников, а в полезно-разведывательном. Я высматривал денежные ручейки, вытекающие, словно кровь, из раздавленных реформами промышленных объектов. Мир делили все кому не лень и делили по живому, телевизионного наркоза тогда не было. От аргументации захватывало дух, в ход был пущен весь известный человеку арсенал средств убеждения: от взрывчатки до собственной задницы. Тот, кто в равной степени ловко владел обеими технологиями, забирался на самый верх.

Я не пошел на столь радикальные меры, но иногда финручейки затекали и в мой карман. Бреши были везде, капало отовсюду. Обещало политься больше, как вдруг неизвестно откуда появились говоруны с разглагольствованиями о свободе, парламентаризме, конституции и прочей умозрительной ерунде. Болтовня не только добавила мути обсуждаемым категориям, но и странным образом привела к смене собственников. В городе Москве договорились до танков. Кто сумел на них вскарабкаться — тот впоследствии и оказался в дамках.

В наших с Костей скромных палестинах ограничились броневичком. Разумеется, на пулеметной башенке стоял Дубровский. Острый и худой. С красными глазами. С надписью «свобода» на нестиранной футболке.

Что ж до свободы, то и без танков и броневиков ее было по горло. А вот после... мой кранчик прикрыли. Но, к чести сказать, я быстро нашел другой. Ничего ведь принципиально не изменилось. Я рассчитывал повстречать Константина среди депутатов и прочих ответственных лиц, чтобы закрепить свое положение. На броневике он смотрелся довольно-таки убедительно; стало быть, его шансы пробиться во

власть были весьма высоки. Все, кто в тот день хоть сколько-нибудь простоял на люке бронированной машины или обтерся о его забронзовевшие шины, получили весьма интересные должности. Но когда я, наконец, отследил Дубровского, оказалось, что пользы от него никакой: Константин никуда не прибился. Это выглядело нелепо. Жизнь налаживалась. Активы крепчали. Пассивы подлежали самоуничтожению. Неликвиды спивались. И только Дубровский опять был в оппозиции.

В один из теплых весенних дней, когда дорожные службы срочно латают пористые от воровства и мздоимства дороги, я спешил на деловой ланч. Час пик, ставший *часами* в виду резкого прибавления не ушедших под пресс иномарок, существенно снизил комфорт и престиж личного транспорта. Положив руку на сердце, стоило признать, что до нужного места быстрее было добраться пешком. Но чтобы завоевать уважение и расположение бизнес-партнера, мне требовалось засветить новейший автобренд, а заодно продемонстрировать готовность игнорировать правила общежития для достижения максимальной прибыли. Подобные деловые качества лучше всего проявляются парковкой в табуированных местах, на газоне или поребрике, как можно ближе ко входу в нужное помещение.

С трудом вырвавшись из чадающей и сигналивающей пробки, я вырулил на свободную клумбу, как вдруг дорогу мне перегородило два десятка неряшливо одетых людей с плакатами, сделанными из ватмана: «Руки прочь...» От чего — я не разобрал. Вероятно, это была какая-то протестная акция. Инстинктивно я стал искать глазами Дубровского — и... нашел. Возле коренастой девушки с бледно-розовым лицом бультерьера.

Я подбежал к ним и, сдерживая недовольство, задал нейтральный вопрос:

— Это твоя женщина, Костя?

— Товарищ, — ответил он. — Присоединяйся. Мы решаем серьезный вопрос.

Скверу грозит точечная застройка.

— Дубровский, мне некогда играть в ваши игрушки. У меня бизнес. Да и ты не глупи. Открой свое дело. Женись.

— Женись? — переспросил он. — Ты что, не видишь, куда катится мир?

— Оставь этот вопрос для неудачников, а я тороплюсь, дай мне проехать.

— Не пушу.

Принципиальность Дубровского ставила под угрозу сделку. К счастью, появилась милиция и разогнала пикет. Всех, кто не разбежался, погрузили в специализированную машину.

Та встреча, нелепый ее антураж, почему-то врезалась мне в память. Я обычно вспоминаю ее по уик-эндам, когда выглядываю в окно, за которым, вместо спрятанных в липах кубиков гаражей и площадки детсада, вижу новый панельный дом. Облицовка откололась после первой зимы вместе с тающими сосульками. Зато сквозь стеклопакеты просматриваются та-акие евроремонты!.. У меня у самого, естественно, евроремонт. Но у них гораздо *европестей*. Видимость идеальная. Теоретически я могу полить кактус на подоконнике соседнего дома, встав на свой подоконник. Сейчас многие хотят жить в центре города. Потому земля ценится дорого. Цену формирует спрос. Одна «пломба» в центре стоит пятерых многоквартирок в спальнике. На месте застройщика я б не мелочился — подогнал бы дом заподлицо. Полтора метра с этажа чистой выгоды, и еще бы на несущей стене сэкономил.

Константин... каким же он был непоследовательным! Его имя должно было принадлежать мне, а мое — ему. Ваня — вот как следовало назвать Костю родителям. Ваня, Ванька, Ванек.

В следующий раз я обнаружил его среди чудаков, протестующих уже против незаконного сноса. Я тогда выходил на международный уровень, раз в квартал летал на курорты по горящим путевкам «все включено». «Зарабатывай здесь — живи там» — новый лозунг успешных. Костя снова ходил на свету с фонарем. Он облысел и осунулся, постарел раньше времени — надо думать, от беспрофицитной работы. Зато рядом с ним стояла особа, явно слепленная из другого теста. И слепленная неплохо. Не квадратная, не в прыщах, не бульдожина. Линда Евангелиста ростом,



Алла Борисовна бюстом. И по возрасту — дочь. В деловой среде тренд на омоложение жен путем их частичной либо полной замены только проглядывался. А Дубровский... может, он был не так глуп...

Я вошел в ряды протестующих, заинтересованный молодым женским полом. Бросил короткое «здравствуй» Дубровскому и витиеватый дифирамб — юной особи.

— С чьими мельницами сражаетесь на этот раз?

— Это не война. — Константин, словно не понял шутки. — Это попытка цивилизованного диалога. С властью.

— С властью? Ха-ха. Впрочем, как скажешь. — Я не стал спорить — Линда реагировала на меня. — Можно я тут постою?

— Ротозей не требуются. Только если возьмешься держать растяжку.

— Возьмусь. — Я хотел проявить немного отваги для Линды. — Дай мне побольше.

— Дело не в размере.

Дубровский протянул сверток. Я развернул и прочел: «Это наш город!»

— Не густо. Нет среди вас Маяковских. И потом, что значит «наш»? У меня, например, есть целый дом — и он мой. И ресторан...

— Не надо понимать так буквально, — Линда Евангелиста насупилась.

— Костя, это твоя жена? — я решил, что время для вопроса пришло.

— Она больше годится в дочери.

— А... — протянул я удовлетворенно. — И много вам платят за эти пикеты?

— Кто платит? — Дубровский невесело улыбнулся.

— Лоббисты из бизнеса, враги нашей родины. Тебе лучше знать, кто.

— Иди отсюда. — Костя забрал плакат.

— Подожди-подожди, я с вами. Просто абстрактно шучу. — Я еще не потерял охоты знакомиться. — Что надо скандировать?

Не дождавшись от Кости словесной реакции, я прокричал негромко, рассчитывая в основном на ближайший круг:

— Это наш город! Это наш город!

Меня поддержало несколько плохо поставленных голосов. Линда и Константин промолчали.

Я собрался крикнуть еще раз, когда заметил, что к нам приближается автозак, и закашлялся. Вместо меня лозунг выкрикнул Костя. Этого оказалось достаточно, чтобы из грузовика посыпался пыльного цвета ОМОН. Демонстранты собрались компактной.

Пользуясь случаем, я взял Линду за руку и спросил:

— В автозак или в Турцию? Отвечайте, пока не поздно.

Как мне тогда показалось, мы добрались до аэропорта быстрее, чем Константи-на со товарищи доставили в обезьянник...

Жизнь ускориалась. Накопилось, разменялось, потратилось еще несколько лет. На трехкомнатную квартиру под сдачу. И на домик в лучезарной Болгарии. С Линды перелез на Каролину. С «туарега» пересел на «троглодита» (самый крепкий в мире дизель). Выше планки не было. В нашей части общества — в бизнес-элите — стало модным ощущать себя опустошенным. Под опустошением подразумевалась материальная исчерпанность страны как эксплуатационного объекта. Камни были разбросаны, пришла пора сваливать. Но я оставался здесь. Стыдно сказать, при моих возможностях я не мог решить вопрос второго гражданства. Мешали кое-какие факты биографического характера. Тут-то я и вспомнил опять о Дубровском. Если мне с моим финансовым статусом нет места на Западе (не в Сомали же мигрировать, от одних людоедов к другим), то его по убогости могут принять за беженца. Он все кутузки в городе засидел и не пропустил мимо ни одного автозака.

Не потому ли он так старался, чтобы на старости лет засесть за мемуары в тихой, сытой Швейцарии? Если я прав, он настоящий стратег. Жил без имущества и без





накоплений, осознавая, что чем больше у тебя денег здесь, тем больше на тебе темных пятен и тем больше шансов в одно прекрасное утро проснуться бездомным, босым или эком. Норов у нас суровый, как климат. При этом трудно уехать. На границе оциплют до нитки. Не свои, так чужие.

Получалось, что он — гражданин мира, а я — Бут. Где поймают, там...

Надо найти Костю, проплатить партстаж и партчленство, сходить несколько раз на «маевку» — и на Запад, в убежище.

Искал я его недолго. Для таких как он появился хороший повод бузить. Целый пакет. Рано или поздно коммерция, освобожденная от гуманитарных табу и помешанная на коррупции, должна была принести плоды деятельности. Настало время собирать урожай. Зима выдалась лютая. Не переставая, шел снег. Но в тех редких местах, где каким-то чудом выжила техника, она стояла без топлива. А когда находилось топливо, в нем оказывалось слишком много посторонних органических жидкостей.

Под тяжестью льда обрывались с кронштейнов водосточные трубы, балконы с соленьями и горшками. Расходились швы кровли, и вездесущий снег, сменив агрегатное состояние, шел самотеком сквозь евроремонты, превращая в клейстерное пюре прославленный рекламой гипсокартон. То там, то здесь, пробивая ржу водопроводных труб, на улицы прорывались горячие гейзерные фонтаны. По несколько раз на дню останавливали свой бег в проводах электроны, и город погружался в первозданную тьму. И только телевизоры каким-то чудом продолжали распространять сифилис мозга.

Город замер, умер, замерз. Сил пробираться сквозь снег хватало только у «троглодитов» и автозаков (было в них нечто общее). А также у неистовых апологетов Дубровского. Именно их в количестве нескольких сотен (чем только они размножались?) я нашел у стен городской администрации. Естественно, Костя стоял впереди, защищаясь от ветра свободолобивым плакатом. Он выглядел совсем старым, разве что глаза горели ярче, чем прежде.

Я вылез из машины, вывернул пуховик наизнанку, натянул на руки пупырчатые хозяйственные перчатки и опустил уши у шапки — чтобы концептуально не выпасть из толпы. Затем встал в одном ряду с Константином и начал скандировать:

— Эн пабло, унито...

Мой интенсивный английский его разозлил.

— Зачем ты пришел?

— Костя, я, наконец, проникся... Я много читал в Интернете. Я все понимаю: победа или смерть.

— Уходи!

— Нет, правда, я долго не верил тебе. Тогда, у броневика... бог мой, двадцать лет пролетело... короче, тогда я думал, что ты просто позируешь, играешь на публику, на камеры... и кадришь журналисток. Потом, когда ты не выбился в депутаты, я решил, что ты держишь обиду.

— Уходи, — снова повторил он, напряженно высматривая кого-то между домами. — Сейчас здесь будет жарко.

— В такую-то погоду? — я предпринял попытку облегчить разговор. — Потом я решил, что тебе за это платят.

Костя обжег меня взглядом, и я поперхнулся:

— Конечно, потом-то я догадался, что ты ничего ни у кого не берешь. Но и я! Я прав тоже. Подумай сам, в твоей позиции ты всегда будешь оставаться игрушкой. Тебя всегда будут использовать. Сначала те, кому нужен сквер, потом те, кому нужен дом. Они будут использовать тебя вместо взяток.

Дубровский дернул меня за рукав:

— Молчи. Они приближаются.

— О ком ты? Я никого не вижу. Ответь: ради чего?! Ради кого?

И тут я увидел их. Они выросли из-под земли. Сотни опоновцев. Одни были в привычном сером, огромные и тяжелые, откормленные каким-то особенным комбикормом. Другие, в обсидианово-черном, весом и ростом меньше, но в гладких космических шлемах, со щитами и палицами.



— Уходи! — Дубровский толкнул меня в грудь. — Еще успеешь уйти.

— Но ты так и не ответил — ради чего все это?

— Черт с тобой... На, держи! — Костя бросил мне небольшую красную книжку.

«Загранксива для беженца», — решил я. Спрятал корки в штаны и бросился в свободную от обеих сил зону, между домами и заваленным снегом каналом.

Я пробежал метров сто, когда земля содрогнулась — схлестнулись две силы: военная и гражданская, жестокая и наивная. Бесчестье в доспехах налетело на правду в китайских пуховиках...

Только сейчас, когда я сижу в маленьком домике в Альпах и фиксирую на бумаге воспоминания моей жизни, какая-то часть личности Константина становится мне понятной. Малая, очень малая часть.

А тогда... Тогда я так ничего и не понял. Помню только, что сильно расстроился, обнаружив, что предмет, который я принял за выездной документ, оказался потрепанной записной книжкой, исписанной щедрым почерком с многочисленными зачеркиваниями. Книжкой стихов. Я выучил их наизусть. И привожу по памяти парочку. Чем бы вы ни занимались, эти стихи не про вас. Так что будьте любезны — читайте.

*Стихотворение № 1.*

Отрава та что путинкой зовется  
И та бурда что пива имя носит  
И тот фаршмак что называют колбасой  
И то густое липкое что телевиденьем зовут  
Оно же что зовется государством  
И не понятно что является страной  
Где я? Что я? Зачем? И почему?  
Как живы мы еще?  
И от импортных ингредиентов кем мы стали?  
Пожалуй неотъемлемой какой-то частью  
какой-то низшей частью  
нижней частью  
зато как будто  
общего всего...

*Стихотворение № 2.*

я чувствовал конец страны подкоркой и подошвой  
ты стройная как кипарис училась тонкому искусству  
приспособления к окружающей среде  
и набивая руку  
крутила с третьим по величине секретарем ячейки комсомольской

затем я на мосту стоял с растяжкой-транспарантом  
измысливая почту захватить и телеграф  
а ты нашла себе фарцовщика меняющего на жвачку душу

потом в эпоху бандитизма и джинсы вареной  
зеленых бутылей со спиртом и окорочков  
я изучал проблемы открытого общества  
а ты жила с красномордым барыгой и вкладывала валюту в матрас

когда ты переквалифицировалась на фээсбэшника  
я сидел в отделе милиции за несанкционированный митинг

теперь мне кажется я в двух шагах от победы  
в тонком пальто с полуоторванной подкладкой  
а ты живешь в курортной зоне за высоким забором  
и твои дети похожи на откормленных поросят

по совокупности показателей я абсолютный ноль  
но я прав  
жаль, что только я знаю об этом

## ПЕРЕХОД

Пробуждаюсь, всплываю на поверхность реальности. Тело под стеганым одеялом наливаются звоном и тяжестью, словно железнодорожные рельсы перед приближением состава. Тепловоза еще не видно, но состав уже мчится и вскоре проедет через меня всеми вагонами дня. Из темноты медленно и неявно проступают очертания спальни. На стене у зеркала мигают зеленые неорганические глазки будильника. 04:17. Среда. Если сейчас попытаться вступить в изнурительную борьбу за сон аутогенным подсчетом абстрактных слонов, то к подъему в 07:45 будешь чувствовать себя совершенно разбитым. Если довериться внутренним часам и начать планировать конкретный рабочий день, то можно получить моральное переутомление до начала этого самого дня. Поэтому не планировать, не считать, а просто лежать, желательно неподвижно, до первого петушиного крика будильника. Потом перелезть через супругу, ткнув как бы нечаянно коленом под зад. Включить престижный бизнес-канал, понаблюдать с минуту за строчками цифр, появляющихся ниоткуда и исчезающих в никуда, посмотреть на позитивных ведущих — кажется, они и не ложились. Затем еще на минуту сфокусировать внимание на политических новостях: багроволицые неуклюжие кандидаты держат друг друга за лацканы пиджаков и что-то бессвязно кричат.

Пусть кричат. Жена все равно не проснется. Не услышит. Для нее не существует политики. Хоть из пушки стреляй. Вот когда я собираюсь на вылазку в баню и бесшумно, как ниндзя, крадусь в коридор, сжимая в зубах шнурки от ботинок, она просыпается моментально. И я слышу вдогонку ее самоуверенно-флегматичное:

— Артем, ты забыл? Мы сегодня едем к маме вешать карниз.

Приходится выкручиваться на ходу:

— Натуля, ведро полное...

Я отвечаю, а надо было молчать — шнурки выскальзывают изо рта и падают на пол, разумеется, вместе с ботинками. Разгромленный безоговорочно, понимаю, что разоблачил себя чем-то еще вчера. Скорее всего, за субботним ужином при салате из крабовых палочек к бокалу нелюбимого полусладкого красного, когда невпопад разгадывал слова из шуточного кроссворда. У моей жены нет чувства юмора, но есть предчувствие, по крайней мере в отношении меня: не страсть, не ревность, лишь привычка содержать хозяйство в порядке.

Четыре асаны в начале дня — моя обязательная гимнастика. Асаны поднимают энергию снизу вверх и помогают установить контроль над телом и разумом, а выше мне и не надо. Гимнастика — дело личное, можно сказать, интимное. Кому-то, чтобы ощутить гармонию, нужно обязательно разрывать эспандер или накручивать педали привинченного к полу велосипеда. Человек же амбициозный и глупый несется обгонять всех и каждого на стадион, а на самом деле, случись проиграть, укрепляет комплекс неполноценности. Настоящая же победа — победа над собственной волей и духом — случается тихо и незаметно, когда избылись мысли и помыслы, и ты застываешь в обратной позиции, словно замурованная в капле смолы доисторическая рептилия.

С первой испариной заворачиваюсь в пахнущее горным озером полотенце и иду в ванную. Прохожу мимо кухни, где уже шаманит Тамара Буддырабызовна, с паспортом немки и лицом плоским и растрескавшимся, как лунный пейзаж. Старушка полощет в тазике цветастые тряпки. Она одевается красками августа: зеленый платок, желтый пояс, алые шаровары. Напевает кочевую песню да трет себе ветوشь о шершавый край тазика, экономит мыло и воду. Дверь в ее комнату приоткрыта, в проеме темно, будто за ним вечная ночь, и веет холодом. Я не укоряю ее, напротив, я за бережливое отношение к электро- и теплоэнергии. Но на секунду мне становится как-то не по себе. Тамара Буддырабызовна мне не теща, а, к счастью, всего лишь соседка.

Бреюсь. Принимаю контрастный душ. Водные процедуры повышают сопротивляемость организма к простудам и тренируют сосуды. Натуля холодной воды



сторонится категорически, но не припомню, чтобы чем-то болела. Она не принимает лекарств даже для профилактики. А я в медицину верю и всегда ношу с собой трех богатейшей физического здоровья: «хелс», уголь и упсарин.

Оделся и причесался, съел кашу, готов убитый. И убываю. На улице серо, привычно моросит дождь. Мне идти прямо, пятнадцать минут до службы, при среднем темпе ходьбы и средней же скорости ветра. С транспортом связываться не нужно. Если не опоздает, то сломается. На то и общественный. А я не люблю неожиданностей, особенно мелких. Все зло в мелочах, поэтому все они, от температуры зеленого чая до тона галстука теледиктора, должны колебаться в минимальных пределах, чтобы сознание и подсознание фиксировались на стабильности и позитиве. Универсальный канон касается всех и вся. К примеру, переставил я цветочный горшок со столика на подоконник — и кот мой в ответ на бездумное действие заползает под шкаф с неоперабельной формой стресса. Животное! Оно чутче, чем человек. На действие мгновенно реагирует противодействием. Метаболизмы текут быстрее. А мне как будто бы все ни о чем, горшок и горшок, но через два дня вдруг начинает болеть голова. Припомнить бы ту тонкую тропочку, ведущую от подоконника, но нет, невозможно уже. За эти два дня этимология головной боли затоптана и заляпана черт знает чем.

Я это к тому, что предметно осозаемая неизменность дает упорядоченность причины и следствия, возможности и потребности, мотива и лейтмотива...

Иду не спеша. Поглядываю по сторонам. И радуюсь упорядоченной неизменности. Вот магазин-салон верхней одежды. С витрин синтетически улыбаются манекены в шубах на голое, без половых признаков, тело. Заляпанный жиром ларек «шаврма». «Запчасти для взрослых» — бутик интим-принадлежностей.

Нечастых прохожих знаю в лицо. Как правило, они среднего возраста и небольшого достатка. Устойчивая социальная группа этого времени суток. Так и не объединившийся в интернационал пролетариат протопал часом раньше, вцепившись в банку пивка, как в спасительный жизненный навигатор.

Упитанный «рассерженный горожанин», иначе говоря, *средний класс*, подошвы не пачкает, а норовит окатить младшего брата пешедрала резиново-корейским протектором. И, судя по невысыхающим пятнам на моей куртке, делает это весьма качественно и обстоятельно, обычно в том месте, где я ступаю на зебру, чтоб перейти дорогу.

Здесь, на маршруте, все детали существенны, потому что являются некоей обязательной прелюдией дня. И если посередине пути, в некоей *реперной*, как сейчас принято выражаться, точке я остановлюсь и посмотрю налево в проулок, то увижу девушку, стройную, русую. Она держится прямо, носик вздернут, подбородок приподнят, шейка вытянута, словно высматривает кого-то поверх шапок и кепок. Подражая ее осанке, пытаюсь спрятать живот и выпрямить позвоночник. Упрямыца, видать, и гордячка, почти как Натуля. Но у Натули упрямство граничит с упертостью из мира фауны, а упертость девушки кажется мне благородной, как будто даже олигархически-элитарной. Не правильная красота незнакомки влечет меня, но то, что и не объяснить никак. День ото дня растет во мне желание остановить ее и завязать разговор, пока она, пропуская поток машин, ждет разрешающего сигнала от светофора. Сформулировать свое пожелание точно и емко. Но нет. Не могу я нарушить распорядок дня, самим же собой расписанный и обусловленный. Я не опаздываю никогда. Вовремя прихожу на службу. Вовремя возвращаюсь домой. Даже в гости прибываю минута в минуту. И всегда оказываюсь первым. Картошку чищу или заправляю салатики, пока хозяйка стирают с мебели пыль, ругаясь промеж собой.

А если это судьба? Если каждый день я прохожу мимо судьбы? Да и чем я рискую... «Познакомиться!» — отдаю команду ногам, но с первого раза ноги не слушаются, требуют дополнительной подготовки. Закрываю глаза, делаю вдох, собираюсь с духом, чтобы свернуть в переулок. Выдыхаю, открываю — и чувствую холодный пронизывающий сквозняк, точно такой же, какой дует из комнаты Тамары



Булдырабызовны. Вижу черную пустоту вместо проулка. Начинается она от носков моих ботинок острой ломаной линией. А кончается... Ни конца, ни границы, ни дна я не вижу...

Пугаюсь до дрожи, прежде чем понимаю, что я дома, в кровати. Должно быть, опять заснул. Все ясно. И все равно неприятно.

Натуля снов не видит в принципе, зато верит в их толкование, часто разьясняя: «В соннике пишут, тряси́на снится к деньгам в ночь с пятницы на субботу. Артем, ты уж как-нибудь подгадай!»

Я стараюсь. Но только не во сне, а на службе. Я работаю в магазине «Зоотовары». Старший менеджер. Отдел «Четвероногий питомец». Кошки, собаки и прочие. Второй отдел, «Умный гад», продает экзотических пресмыкающихся, непромысловых рыб и расходный планктон. Им заведует единственный в этом городе человек, за которого я мог бы выступить в качестве поручителя для некрупных кредитов — Максим Жук. Десять лет по будним дням мы встречаемся у дверей магазина за двадцать минут до открытия. Ключ от навесного замка у Жука. Ключ от встроенного — у меня. Максиму известны две первые буквы кода, мне — две последние. Наш директор не настаивал на столь сложном ритуале. Мы с Максимом так сами решили. Решили правильно — установленная нами система не подводила: за десять лет ни недостат, ни хищений. И все потому что за все десять лет мы с Жуком ни разу не подводили систему.

Входим внутрь, выключаем дежурное освещение, телефонируем на пост вневедомственной охраны. Надеваем зеленые, в тон игуаны, комбинезоны, прикалываем бейджи, разливаем из термоса терпкий горячий чай. За пять минут до открытия подгребают подсобник Сашка Король. Он обязан чистить клетки, перемещать с места на место коробки и кормить гадов и рыб. Король — человек с богатым жизненным опытом: лежал в дурке, сидел в нидерландской тюрьме, говорит за политику, дважды был женат на наркоманке. Теперь все девиации в прошлом, а в настоящем Сашка — умеренно пьющий и чрезмерно начитанный маргинал. Ровно в десять он открывает засов и переворачивает табличку «орен» лицом к потребителю. Мы врубаем кассовый аппарат, начинается беготня.

Люди, вне зависимости от умственного и физического развития, имеют тягу к животным, покупают для них пищу и утварь. Животные в знак благодарности потребляют корма, которые благодарности ни к кому не испытывают, но нуждаются в последующей утилизации. В сезон за смену уходит до полутонны ароматизированного песка-наполнителя для кошачьих биоклозетов. Так закольцовывается пищевая цепочка, и весь богатый ассортимент зоо- и прочих товаров используется с одной единственной целью — замаскировать эту данность.

Консюмеризм. Познай себя, потребляя.

В нашем магазине вы найдете более четырех тысяч базовых наименований зоотоваров. Плюс два стеллажа вспомогательных. Сачки, москитные сетки, статусные эхолоты для домашнего дельфинария, антицеллюлитные ошейники (их покупают толстые девушки). Литература, серьезная и популярная. Глянцевый собачий журнал «Гав-гав-гав и хозяин». Метут все... Шеф, Виктор Амбросьевич, платит хороший процент. За пару сезонов можно отложить на корейский гибрид — велосомобиль. Амбросьевич начинал еще в эпоху застоя, торговал на Кондратьевском крашенными тушью котятками и выдавал крыс за щенков таксы. Теперь член попечительского совета защиты животных.

Едва разогрелись — уже обед. Закрываемся, подбиваем выручку. Если в таком темпе пройдем остаток рабочего дня, будет очень неплохо. Не спеша обедаем бутербродами с минеральной водой. На десерт — кофе с турновером. Беседуем о геополитике и теории денежного обращения. С Максом можно говорить на любые темы. Сашка обычно молчит, а если и откроет рот, то непременно отколет нечто оригинальное, например, что с нового года завязывает и начинает конвертировать баксы в донги. Он уже тяпнул «Народной хреновой» настойки и, счастливо щурясь, раскури-



вает отдающую жженым матрацем «Стрелу». Настроение у всех хорошее. Я улыбаюсь, перевожу взгляд с раскрасневшегося Короля на вид за окном... И вместо привычного дворика, обрамленного обглоданным снежнотодником, снова вижу черную неподвижную пустоту. Она проступает настолько реально, что меня опять забирает страх. Стылый ветер врывается в комнату, гарантийный финский стеклопакет беспомощно дребезжит. Перехватывает дыхание, пробегает по телу дрожь. Я сцепляю пальцы в замок, стискиваю зубы, поворачиваюсь к ребятам; Король, пофыркивая, дремлет, Макс читает инструкцию к намордникам «Иван Грозный» (сердобольный Амбросьевич решил поддержать отечественного производителя).

Что же, они ничего не заметили? Или только вида не подадут?

Словно в ответ на мой немой вопрос, у Сашки заговорщицки поднимается бровь. Значит, он не спит, пьяный дурак.

— Макс, — говорю, — ты же эту инструкцию еще утром читал.

Жук объясняется, не отрывая взгляда от брошюры:

— Я штудирую пункт три дробь пять: особенности кормления в наморднике.

Это сверхважно.

Голос звучит неровно, нечетко, и я понимаю, что Макс напуган. Таким я видел Жука всего один раз, когда Виктор Амбросьевич поручил ему подправить сертификат на карьерный песок, опрысканный освежителем воздуха. Теперь Максим тоже боится, но скрывает свой страх от меня. Значит, происходит что-то такое, о чем знают и Макс, и Сашка, но они почему-то молчат. Молчат о том, открывается мне, что если сейчас за окошком опять можно будет увидеть садик с кустами, то это будет обман. Но там ничего нет. И девушка русая — тоже фантом, возникающий в несуществующем переулке. И срок жизни ее — продолжительность моего взгляда. И старуха Тамара — вовсе не киловатты она экономит, а за дверью — не комната, а беззвездное космическое пространство, ничто.

И раз так, то вся моя жизнь проходит на пятнадцатиминутном отрезке «работа — дом», посреди пустоты, посреди ничего.

Я никогда не орал на коллег, но сейчас я ору. Я разъярен.

— И ты, Максим — Брут! — кричу я. — И ты, Король — Капернаум!

...Будильник звонит. 07:45. Значит, все-таки сон. Вечером расскажу о ночном кошмаре Натуле, пусть полистает сонник. Поднимаюсь с кровати, осматриваюсь: все вокруг знакомое, надежное, прочное. Все стоит, лежит и висит на своих местах. Замираю в обратной позиции, дышу, абстрагируюсь — благодать.

Выпрямляюсь, аккуратно лицом к зеркалу, а там — черная бесконечная пустота.

Я моргаю, стараюсь прогнать наваждение, но никак. Понимаю обреченно: не морок. Все так. Так и было всегда. Пустота пустоты, темноты темнота. Я выскакиваю в коридор, бегу к комнате старухи Тамары, нажимаю на дверь. Заперта. Колочу по наличнику костяшками пальцев. Затем бью кулаком.

— Откройте сейчас же, я хочу знать!

Старуха хрипло бормочет из-за двери. Не могу разобрать ее казахско-немецкой и распаляюсь сильнее.

Вдруг сзади кто-то проводит рукой по моим волосам. Я оборачиваюсь: Натуля, необрезанная копия Венеры Милосской, обволакивающая, уютная, бело-матовая. Только черные маслины глаза холодны, безразмерны и безразличны.

Она спрашивает:

— Что случилось, Артем?

Не могу сдержаться, кричу:

— «Что случилось, Артем?» Ничего не случилось, Натуля. Только нет ничего вокруг нас. Ничего ни до нас, ни после нас. Понимаешь?

В этот раз она не упрямится, даже не спорит, соглашается сразу:

— Понимаю, Артем. Пустота, понимаю. Но не отменять же поездку к маме — тебе еще вешать карниз.

## ПО ДОРОГЕ

Давненько я не повязывал галстук. Но узел получился что надо. Как у Кларка Гэйбла в лучших его картинах. На любимца женщин и великого актера я не похож. В зеркале отражается обычный человек, с которым давно ничего не происходит. Это я. И я надеюсь на чудо.

Вот и дождался своего часа пиджак. Однобортный, на двух пуговицах. Такие теперь мало кто носит. В кармане маленькая коробочка с кольцами. Улыбаюсь про себя: все как в классической мыльной опере, старомодно и неправдоподобно.

Улица встречает меня снегом и электрическим светом гирлянд. В Ленсвете работает мой старый друг. Он сидит за большим замысловатым пультом и отвечает за свет. Над снегом и всем остальным работает Господь Бог, но за результаты не отвечает. Я с ним никогда не встречался, но говорят, что есть люди, которым везет больше. Эти двое, человек и не человек, прилагают усилия к тому, чтобы сегодня ночью, как полагается, закончился старый и начался новый год.

На улице меня поджидает разрисованное в черно-желтую зебру такси. Я сажусь сзади и, расстегивая пуговицы пальто, называю адрес. Ехать нам далеко — через весело подсвеченный, богатый убранством Невский, прямой и угрюмый, как постовой, пролетарский Московский, потом по неубранной трассе в аэропорт.

Суeta на улицах больше обычного. Люди спешат приготовить дорогим и любимым сюрпризы со скидками в пять, десять, а то и пятьдесят процентов. Владельцы магазинов, гибкие, как щупальца спрута, ведут гибкую политику, особенно в праздники. Люди, спрессованные в социальную совокупность, мало отличаются друг от друга, а мне хочется представить, как они выглядят и чем же они сейчас заняты, взятые по отдельности. Мне хочется немного отвлечься от мыслей о цели моей поездки. Или я встречу тебя, или нет.

Я закрываю глаза и вызываю в воображении картинку из бытовой жизни. Я просто придумываю, но очень возможно, что все это происходит на самом деле.

Вот на углу Литейного за ближайшим от входа столиком престижного пищеблока точит корейскую лапшу с каракатицами потный круглолицый субъект, какой-нибудь спекулянт или манипулятор общественным мнением, а может быть, не обремененный сомнениями владелец нелегального массажного кабинета. Так или иначе, он торгует синтетическими чудесами, будь-то реалити-шоу или нереалити-проститутка. Его чудо стоит не менее тысячи долларов за одну ночь. Если правильно провести соответствующие переговоры. Кажется, у него есть все, кроме возможности выпасты без снотворного. В этом смысле он обречен: переговоры проводить не с кем, он не знает такой инстанции, которая гарантирует крепкий сон.

На противоположной стороне в полутемном парадном, прижавшись к батарее центрального отопления, глотает пожухлые очистки картофеля бомж в женском пальто. Его чудо стоит одиннадцать пятьдесят и называется «настояйка боярышника». Когда бутылочка опустеет, он потеряет сознание. Других чудес с ним не случается. И меньше всего на свете он хочет думать про завтра.

Я устроен так же: сон мой некрепок и не всегда есть желание проснуться. Но мое чудо другое.

У входа в недорогой клуб курят и смеются молодые ребята с гитарами. Это их первое выступление, поэтому никто, кроме них, не знает, как загораются звезды. Разве что сами звезды. Те, что смотрят с неба. Ребята пишут песни для своих девушек, а девушки любят музыкантов, но не за песни, а за их молодость.

В это же время на шестом этаже «Невского Палласа» запускает очередную дорожку тот, кого многие считают суперзвездой. У него приторно-сладкий голос. Он бисексуал поневоле. Он тоже поет о любви, но давно не верит в любовь. Да и девушки его любят за деньги, и песни ему пишут за деньги. И под кроватью в дипломате у него деньги. И кажется ему, что он уже мертв.

Мне не хочется быть живым мертвецом, и я заставляю себя верить в чудо.



Четырехлетняя девочка приплясывает от нетерпения у двери в спальню родителей и подслушивает разговор. Желание жизни в ней таково, что энергия выплескивается наружу, и она не может так просто стоять. Девочке хочется поскорее узнать, какой наутро ее ожидает подарок. Девочке не терпится выяснить, сбудутся ли ее желания. Ей так нужна живая собака. Ей так нужно поскорее стать взрослой.

По другую сторону переулка в наполненной тишиной и нафталиновым духом комнате сидит полуживая старуха. На комод — еловая лапа и упаковка зэпа. На коленях — восстановленный портрет храброго красноармейца, который двадцать лет назад приказал ей долго жить. Вот она и живет, хотя временами даже дышит с большим трудом. Старуха читает святые книги и просится к нему. Это единственное, чего она хочет.

Я же загадал себе, чтобы ты всего лишь вернулась.

Такси едет так медленно, и я опять, дабы побороть нетерпение, представляю.

По одну сторону дороги, на Елагином острове, под прикрытием биомассы охраны и древних стен итальянских особняков кружатся в вальсе взяточники, взяточдатели и другие подонки, сжимая в цепких объятиях силиконовые контуры своих спутниц, подобных хитроумно устроенным механическим манекенам, идеальным в своей красоте и бездушности. А по другую, на Турухтанских, спят вполалку одурманенные дагестанским спиртом и усталостью одушевленные предметы невольничьего рынка, наши бывшие братья, приехавшие из Таджикистана, Узбекистана и Молдавии.

Мне не так важно, по какую из сторон я бы мог оказаться. Главное, чтобы ты была там.

Мы обгоняем каменную стрелу памятника Победы и выезжаем на трассу. Слева лес, справа поля. Слева трясется страдающий паркинсоном Запад, справа аллюром скачет дикая свирепая Азия. Запад страдает одышкой и периодически отрыгивает демократией на геополитическую карту. Он гордится своими либеральными шортами, открывая миру дряблые ляжки в паутине варикозных вен. К нему в гости спешит такой же нездоровый на вид Санта Клаус с соевыми утками (разъяснение для «зеленых») в бездонном мешке. Восток прячет упругое ненасытное тело зверя в черную паранджу. Он желает от Деда Мороза кровяных колбас, ганджубаса и самонаводящихся петард.

А в кармане моего пиджака два старомодных кольца.

Говоря по правде, у меня нет оснований считать, что ты в пути и что ты прилетишь ко мне именно самолетом.

Но я надеюсь: ты все же вернешься сегодня.

Все-таки Новый год.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*Посвящается избранным...*

Человеческая зрелость похожа на спелость яблока. Как очищенный от кожуры сочный плод с украинской фамилией «симиренко» не осознает, что приближается к широко открытому рту, точно так же и человек, заканчивая дневные дела, не задается вопросом, зачем он проделал все это. Человек просто выпускает из рук айпад, папку с деловыми бумагами или, скажем, рюкзак с ручным инструментом. Затем сбрасывает дорогое шевиотовое пальто или ватный пуховик, сшитый закодированным трудолюбом страны третьего мира для консьюмериста мира четвертого. Слишком часто для мирного времени на пол вместе с партикулярным шелковым галстуком и расписными полиэстеровыми трусами летит судебная мантия или фуражка с кокардой. Впрочем, в нашем случае это абсолютно не важно, ибо человек, оставшись голым, теряет свой статус и оказывается одной семимиллиардной частицей. Исчезает состоявшийся во мнениях и взглядах на жизнь обыватель, иной раз даже состоя-



тельный и признанный окружающими индивид. Появляется спелый, чаще перезре-  
 лый, плод, извлеченный из кожуры.

В этот самый миг над понурой головой обнаженного широко раскрывается не  
 физический, но вполне себе экзистенциальный и хищный рот. Человек вдруг чув-  
 ствует, что его прочное до окостенелости мнение о себе куда-то исчезло, возможно,  
 прилипло к штанам, потому было снято с ними, одновременно и неделимо. Постель  
 кажется неровной и жесткой, и человек ворочается с боку на бок, своими несураз-  
 ными поползновениями сворачивая простыню в канат, крепкий и прочный. Именно  
 такие используют в блокбастерах, когда на борьбу со злом удирают из темниц Бэтме-  
 ны, Борны, Айронмены, Оушены, сестры Крофт и Солт и другие положительные  
 нелюди, коих убедительно изображают голливудские миллионеры, беззаветно пре-  
 дающиеся в перерывах между подвигами наркомании, суициду и промискуитету.  
 С этой колокольни каждый человек немного актер, в каждом зреет конфликт между  
 тем, кем он хочет быть, и тем, за кого его принимают другие. Потому обычно телу  
 перед сном так трудно расслабиться. Тело изнывает, тело призывает мозг прийти на  
 помощь. Но всеядная голова, напитавшись за день несусветным хламом, позабыла о  
*bodi*. Серое вещество кисло бродит, попукивая выхваченными из двадцать пятого  
 кадра слоганами «жуй орбит» или же «газпромнефть — наше достояние», перева-  
 риваясь до консистенции ливерной колбасы.

Дальше — хуже: мозг старается еще раз пережить уже прожитый день, достает  
 наугад движущиеся картинки из утрамбованной начинающимся склерозом кучи  
 воспоминаний. Казалось бы, что в этом плохого, что для гомосапиенса может быть  
 полезнее, чем процесс познания самого себя? Разве что стакан свежего морковного  
 сока... Это мнение дилетантов. Глубинный самоанализ безопасен только в присут-  
 ствии другого лица. Либо безразлично сочувствующего (в этом качестве обычно  
 выступает жена). Либо в компании старого, желателно менее успешного друга.  
 Либо в присутствии опытного профессионала. В противном случае ваша самооцен-  
 ка может коварно поменять знак.

Бессонница — вот что лишает всякого смысла любые дела и гиперболизирует  
 промахи и просчеты. Бессонница — злобный коварный фокусник, превращающий  
 синюю птицу в степного хорька, а с таким трудом заработанные дензнаки — в неот-  
 беленную бумагу отхожего свойства.

Бессонница срывает с человека броню, предохраняющую его от обоих ми-  
 ров — внешнего и внутреннего. В постели человек совсем голый или, что еще хуже,  
 в полосатой пижаме пожизненно заключенного. Ни собственности, ни геральдики,  
 ни платиновой карты, ни загранпаспорта. Миры это чувствуют и давят человека  
 морально, физически, химически, метафизически. Норовят растворить его это в своих  
 бесконечных пространствах. А человеку для самоуважения нужно, чтобы было на-  
 оборот...

Бессонница неторопливо жует спелый сочный мозг человека, вызывая прене-  
 риятные воспоминания и ассоциации. Поток ночного бреда то и дело выбрасывает  
 индивида на рифы незыблемых аксиом: всех гамбургеров не съесть, всех денег не  
 заработать, все жены — неверны и корыстны, а сам он — говно, несмотря на брон-  
 заж, людей в мэрии и абонемент в престижный фитнес-салон. Жизнь идет слишком  
 быстро и не в той колее. Она совсем не такая, какой представлялась в детской кроват-  
 ке, за школьной партой, пред алтарем ЗАГСа, в салоне «Лексуса» и после первой  
 соточки коньяку.

Жизнь — не «активная форма существования», жизнь — это вещь. Неконтроли-  
 руемая, неуправляемая, непонятная. Не самая дорогая. Не самая эксклюзивная вещь  
 в чьих-то чужих руках.

До истерики всего один шаг, но понимание того, что ни зрителей, ни слушате-  
 лей нет, не позволяет человеку выпустить душераздирающие откровения наружу и  
 дать им разлиться по полу во всей ужасной красе. Рядом только мокрая подушка,  
 набитая перьями мертвых птиц, тушки которых человек регулярно употребляет



внутри. Под человеком диван из деревьев, которые он сам же зарубил и покрыл лаком, предварительно расчленив на бруски. Над человеком потолок из гипсокартона — спрессованной смеси раздробленных в порошок панцирей древних моллюсков. И даже бензин, который человек покупает и продает, на котором ездит, который есть, пьет и нюхает, даже бензин — не столько абстрактное топливо, сколько кровь земли. Кровь!

Зачем только человеку надлежит знать об этом... и почему это знание приходит к нему так не вовремя? Кто подсовывает эту чудовищную статистику? Кто уравнивает бизнесменов и менеджеров, правозащитников и бандитов, представителей маскультуры и строителей, предателей и палачей?..

Надо потребовать опровержения, подложить указательный палец под подбородок и отчеканить — вы лично не из таких. Но вокруг нет никого, кто бы смог подтвердить это, даже за очень большие деньги.

Но человек хочет выкрутиться, человек призывает на помощь старых друзей, которые когда-то давно вставали за него горой по поводу и без повода. Человек хочет, чтобы они, располневшие и плешивые, надели пионерские галстуки и бросились ему на подмогу.

Но вместо друзей в комнате появляются их бледные призраки. Они едва видимыми тенями скользят по стене, подгоняемые светом раскачивающегося во дворе фонаря. Человек порывается встать с постели, но вдруг понимает, что они пришли не затем, чтоб помочь.

Они тычут в вас пальцами (наконец-то мы перешли на «вы»), почти дотягиваясь до вашего лба, и шепчут бесцветными губами: «Ты просишь помочь. Как ты посмел на такое решиться? Ты же всю жизнь обманывал нас. Может быть, нас уже нет, может быть, мы сами не помним, но твоя совесть ведет список твоих мерзостей дотошно и скрупулезно, словно нотариус-маниакал. Готовься, дружище, готовься, пришло время расплаты. Мы будем отплясывать гопака в твоём взбудораженном разуме, пока совесть не задушит тебя».

Они и в самом деле начинают плясать, а с вами случается приступ удушья. Кто бы мог подумать, что у совести такие сильные руки! Недостаток кислорода вызывает в вашем сознании новые галлюцинации. Вот косяками за горизонт летят стаи крупных денежных знаков. Эти денежки вы взяли в долг, хотя не имели в этом особой нужды. Эти денежки вы не отдали. Мало того, вы не собирались их отдавать. И другие косяки летят им навстречу — это деньги, которые вы ссужали, а затем беспощадно выколачивали из своих же товарищей, не гнушаясь прибегать к услугам узколобых коллекторов с раскаленными утюгами. Стаи знаков опорожняются на вас зеленоватым пометом. И вы — возможно, впервые — чувствуете отвратительный денежный запах. Запах истины.

В вашу голову, аккуратно между глаз, заезжает битый автомобиль «жигули». Рудимент, атавизм, сейчас-то у вас представительская иномарка. А «жигуль» вы когда-то втохали наивному простодушному товарищу по работе.

— Я же довел до сведения, — оправдываетесь вы. — Машина на ходу, но проблемная.

Может быть. Но кто скручивал пробег на спидометре?

Из автомобиля выходит сын хозяина «жигулей», мальчик, так похожий на вас. Вы случайно не хотите объяснить это сходство?

— Это не было насилием. Она пришла сама, — вновь пытаетесь парировать вы. Так устроено, обманывать близких людей безопасней и проще — они доверяют, а если узнают — простят...

Вот девушка. Смотрите же на нее, не отводите глаз.

Не вы ли обещали ей целый мир? Не вы ли назначили ей свидание на завьюженной площади возле тучного мрачного памятника? А сами не пришли — позабыли, заблудились в пьяных объятиях стареющих нимфоманок. Девушка еще долго ждала вас, между прочим. Тогда, на обледенелой площади, возле фигуры метал-

лического тирана, — и выжившие из ума туристы с упоением фиксировали на пленку ее незамерзающие слезы. Ей было холодно, но она ждала долго. Ждала тогда и ждала потом.

— Но я предупреждал, — вы снова оправдываетесь. — Предупреждал ее, что не собираюсь официально регистрировать брак. А без печати наказаний не бывает.

Может, оно и так, только невидимые пальцы сжимают вашу слабую шею все туже и туже...

Из окна спальни выдвигается огромная гофрированная труба. Такие обычно используют олигархи для перекачки нефти на запад. Олигархи и ассенизаторы. Труба обдает вас с ног до головы тухлой струей ваших же мелких и ничтожных делишек, которые вы совершаете каждый день с завидным упорством, педантичностью и удовольствием. Здесь выброшенные на улицу собаки и кошки, обманутые вкладчики, подписанные акты о пригодности аварийных домов. Здесь подхалимство и зависть, мелкое и крупное воровство. Чего тут только нет...

Однако копайтесь сами — все это отвратительно пахнет. Воняет так, что вы не можете не завопить:

— Простите меня! — кричите вы в полный голос. — Простите!!!

Только тогда вам становится легче. Вы поднимаетесь с оскверненного ложа и ползете на кухню за водкой. Выпиваете, не закусывая, до дна и спустя полчаса, отправив сознание в глубокий нокаут, засыпаете на шашечках кухонного линолеума...

А утром вы просыпаетесь — и ничего, ничего не помните. У вас прекрасное настроение и самочувствие, хотя может присутствовать тошнота и легкий тремор. Но это чепуха, ведь вы снова уверены в собственной безопасности. Вы собираетесь с мыслями и вещами. Вы опять краснолицы, хамоваты, полны соков и сил. Вы готовы воспринять жизнь как череду противостояний, жизнь как экспансию, в которой максимальную эффективность гарантирует прием запрещенный, прием неожиданный: кто не успел — того съел. Негуманно, но есть ли выбор?

Выбора нет: или ты потребитель, или — потребляемый. Коли так, надо не думать, а есть. Все подряд, всех подряд... Благо новый приступ удушения совестью случится не скоро...



Иосиф КУРАЛОВ\*

«ПРО ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ,  
НЕБО ГОЛУБОЕ...»

\* \* \*

Однажды ночью, пыль вздымая  
И полня гулом грудь земли,  
По городским путям трамвая  
Колеса армии прошли.

Они везли в чехлах тяжелых  
Тела заоблачных ракет.  
Луна — Земли большой осколок,  
Бросала сумеречный свет.

А люди спали и не знали,  
Откуда посреди весны  
Им прямо в уши грохотали  
Наполненные тьмою сны.

**ПЕРЕДОВАЯ**

К столу прикован. Песен не пою.  
Завидую любому соловью.  
Какие соловьи на поле боя?!  
Передовую должен сдать статью  
Про уголь черный, небо голубое  
И честную позицию свою.  
...Писал одно, а написал другое.

«Зачем живем? Затем, чтобы страдать?  
И темной прозой заполнять газеты?  
Водить машины? Уголь добывать?  
Директора главней или поэты?»

---

\* Редколлегия «СО» поздравляет Иосифа Куралова с 70-летием.



Директора уже сто лет твердят:  
Точи болванку — в ней твое призванье!  
Точу! И в небесах — кромешный ад!  
И жизни нет — одно существованье.

Мы пропадем под этой тучей зла!  
Ведь черт и тот сломал в забое ногу.  
В большом достатке уголь и зола.  
И не видать сквозь них дорогу к Богу».

Пар выдохнул.  
И пару интервалов  
Отбил кареткой.  
И украсил датой  
Передовую: год восьмидесятый.  
Поставил четко подпись: И. Куралов.  
Куда податься бедному солдату?

Редактору отдал плоды труда:  
Читай! Себя поздравил со спасеньем,  
На улицу ушел в пальто весеннем.  
Апрель. Капель. Черны осколки льда.  
От школьниц веет новым потрясеньем.

А был редактор Парень Хоть Куда.  
И никогда не медлил с донесеньем.  
Он прочитал и передал Туда.  
А Там решили: строгий, с занесеньем.

Конечно, не геройская звезда.  
А все какая ни на есть награда.  
И к пиджаку прикручивать не надо,  
Чтобы сверкать в пространство в день парада.

Но понял я, когда прошли года:  
Она дороже мне любой медали.  
Ее ведь за Передовую дали!  
И далеко не всех так награждали  
За результаты мирного труда.  
Ведь так, товарищи и господа?

### СИРЕНЬ

Еще в глуши небесных скважин  
Не намечался новый день,  
Но, размахнувшись светом в сажень,  
Пылала облаком сирень.

Все лепестки, взорвавшись светом,  
Сияли в полной тишине.  
А то, что называлось летом,  
Уже цвело в моем окне.



Оно звало и трепетало.  
И, потрясая этажи,  
Над демократией металла  
Взошла монархия души.

### ИОСИФ И ТРАМВАЙНЫЙ НАРОД

Пела песню женщина в трамвае  
Голосом Вахтанга Кикабидзе:  
— Па аырадрому, па аырадрому  
Лайныр прабэжал, как па судьбэ...

Милая, нетрезвая, родная.  
Коренная наша сибирячка.  
Продавщица? Штукатур? Доярка?  
Из души и сердца состояла.  
Запахом духов шибала шибко.  
Бижутерией сверкала ярко.

Как она, бедняжка, надсажалась,  
Чтоб изобразить акцент грузинский,  
Бархатный душевный баритон  
Славного красивого Вахтанга!

Я не выдержал! Я ей ответил!  
Я ответил голосом Кобзона.  
«Артиллеристы, Сталин дал приказ!»  
«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!»  
«Нас вырастил Сталин».  
Спел державным голосом три песни.  
Громко спел. И тихо замолчал.

Замерли в трамвае пассажиры.  
Стало слышно, как летают мухи  
Сквозь пространство тихого трамвая  
И штурмуют стекла понапрасну.

Тут моя приспела остановка.  
Распахнулись двери на свободу.  
Я спокойно вышел из трамвая.  
И пошел туда, куда мне надо.  
И в пространстве мира растворился.

А народ трамвая вдруг взорвался  
Криком небывало громким, страстным:  
— О, вернись, любимый наш Иосиф!  
Наш Иосиф ясный и прекрасный!  
На кого ты бедных нас покинул?!  
Наш великий, мудрый, гениальный,  
Дальновидный, скромный и родной!

Я, конечно, слышал эти крики.  
Но решил на них не откликаться.



Потому что я предполагал,  
 Что народ трамвая страстно, громко  
 Из пространства мира вызывает  
 Не меня. Иосифа другого.  
 (Звать в трамвай меня или Кобзона  
 У народа не было резона.)

А трамвай поехал по маршруту.  
 Бесконечно долго — круг за кругом.  
 Бесконечно долго — год за годом.  
 И все время в нем звучала песня.  
 Пела песню женщина в трамвае  
 Голосом Вахтанга Кикабидзе.

Ей никто уже не отвечал.  
 И народ трамвая не взрывался  
 Криком небывало громким, страстным.  
 Весь народ трамвая тихо-тихо  
 Ехал-ехал и молчал-молчал.

Я в трамвай тот больше не садился.  
 Я пешком ходить предпочитаю.  
 А красивый белоснежный лайнер  
 В небесах летит, неся во чреве  
 Не трамвайный, а другой народ.

\* \* \*

Был же вечер не слухом, не сплетней,  
 На бульваре горели цветы!  
 Был же я — двадцатисемилетний,  
 И семнадцатилетняя — ты!

Ты, как свет на ладони, легка!  
 И пока никакого мне дела,  
 Что душа не вселилась пока  
 В загорелое юное тело!

Мы совсем не тоскуем о ней,  
 А идем с тобой напропалую!  
 Посреди площадей и людей  
 Я тебя без оглядки целую.

Лишь летящие линии рук —  
 И в другом мы от всех измеренье!  
 Ничего ты не видишь вокруг,  
 Так вот и начинается зренье!

Прозревает и зреет душа,  
 Наполняется розовым светом.  
 Только ты без нее хороша!  
 Для чего она в возрасте этом?



Будет пройден житейский ликбез,  
И начнется души возмужанье.  
А пока ты мне нравишься без  
Хоть какого-нибудь содержания.

Будет все — цветостой, листвобой.  
Будет холод осенний и зимний.  
А пока что одобрен тобой  
На виски мои выпавший иней.

Всю идущую вслед молодежь  
Превзойдешь ты талантом и светом.  
Но уже никогда не пройдешь  
Ни за кем, как пылинка за ветром.

\* \* \*

Стояла полная Луна.  
Ко мне любимые входили.  
И среди них была одна.  
Водила пальчиком по пыли.

Ударился я сердцем о  
Несовершенство бледных линий.  
И от удара моего  
Они свернулись в чашки лилий.

Я стал из чашек пить вино,  
Чтоб утонуть без лишней муки.  
Я много выпил, но оно  
Не заменило свет и звуки.

И пригляделся я к душе.  
Душа моя опять парила.  
Я на десятом этаже  
Встал на балконные перила.

Легко по воздуху пошел  
Над современностью железной.  
Моих любимых алый шелк  
Дышал, держа меня над бездной.

Хрустальный звон стоял в ушах.  
Я шел по воздуху — сквозь воздух.  
Сверкала ночь. И каждый шаг  
Звенел и отзывался в звездах.

А на земле завода пасть  
В огнях призывная зияла.  
И я мечтал в нее упасть.  
И напоследок вспыхнуть ало.

Но я себя не дописал.  
И так любимые сияли,



Что я в пространстве повисал,  
Как в достижимом идеале.

Я до земли не долетал.  
Как прочие земные грузы.  
Напрасно душу я пытал,  
Мои возлюбленные музы.

\* \* \*

В твоей груди цветут  
Розы, мимозы  
И другие живые  
Полевые и оранжерейные  
Цветы.

А прикоснешься к тебе —  
В пальцах остаются  
Одни занозы...

Загадка ты!..

Которую я  
Упорно желаю  
Не разгадать!

Боюсь, что разгадаю —  
И станет мне  
Совсем скучно  
Жить...

На белом свете  
В пыльном объеме  
Индустриальной современности  
Лишенной живых цветов.



Сусанна СТАРОСЕЛЬСКАЯ

## СЧАСТЛИВЫЙ ЖРЕБИЙ

Почти документальная повесть

— Я выросла в сумасшедшем доме. В монастыре. Думаю, в России областные — ах да, теперь снова губернские! — психиатрические больницы по-прежнему размещены по большей части там, откуда большевики изгнали монахов...

Марина Моисеевна выдохнула дым последней затяжки докуренной до фильтра тонкой сигареты и тронула губами краешек кофейной чашки: все еще горяч или уже можно пить? Кофе она по-прежнему пила только черный, крепчайший, а сигареты в Америке облюбовала тонкие, длинные и почти такого же цвета, как кофе. В Москве она дважды в месяц, после зарплаты и аванса, ездила на улицу Кирова (снова Мясницкую), в живописное царство одуряющих ароматов магазина «Чай-кофе», и запасалась зернами разных сортов на две недели, с учетом частых гостей. Кроме джезвы для варки кофе в ритуале его изготовления присутствовал длинный медный цилиндр — особая кофемолка, привезенная из Армении, но, видимо, турецкой конструкции, так как в ней помол должно и возможно было доводить вручную до степени порошка — для варки кофе по-турецки.

Начищенная армянская кофемолка сверкала декоративным блеском на полочке с массой сувениров из разных стран, а кофе мололи обычной для американского стандарта повседневности кофемолкой за девятнадцать долларов и девяносто девять центов. Джезвы всех размеров громоздились на задней половине плиты, а посудные полки заполнили разнообразные кофейные чашечки, которые хозяйка получала в подарок лет уже сорок. Она везла в Америку и паковала с одинаковым тщанием и тончайшего фарфора посуду, и совсем стандартную и недорогую, но одинаково памятную.

— Жанна Кальмон прожила сто двадцать два с половиной года и бросила курить в сто семнадцать, потому что потеряла зрение — не могла самостоятельно прикурить. А кофе препятствует развитию болезни Альцгеймера — почитайте газеты. Теперь хороший период в медицине — реабилитационный. Вот и яйца реабилитировали, и помидоры снова можно, ну а вино кардиологи скоро начнут прописывать и выдавать в аптеках по рецептам, оплаченным Медикейдом, — едко шутила Марина.

Я подошла со своей чашкой кофе к выходящему на Гудзон окну. Дом стоял на скалистом гребне горы, лесной склон которой был давно превращен в парк. Улица, на которой дом находился, называлась Терраса обозрения (Overlook Terrace), и из окна действительно открывался вид на казавшееся с этой точки бесконечным пространство переплетения темно-зеленых хвойных потоков в чаще багровой и желто-



оранжевой осенней листвы. В нем четко прорисовывался лабиринт тропинок и дорожек, вытянутый прямоугольник верескового садика с розарием у главного входа, каменное пятно вывезенного из Европы и превращенного в музей средневекового замка. Даже можно было различить поляну, на которой летом по вторникам и четвергам студенты театрального факультета Нью-Йоркского университета ставят пьесы Шекспира на староанглийском языке. Помню, однажды мы пришли поздно — в толпу, стоящую перед воображаемой рампой, уже было не пробраться, и весь спектакль смотрели «из-за кулис», стоя среди деревьев, окаймлявших поляну сбоку, куда вбегала в сильно декольтированном и хлеставшем траву синем бархатом платье леди Макбет и хваталась сначала за мобильный телефон, а уж потом — менять грим для следующего выхода. Потом в небесах вдруг перевернулось с грохотом ведро, ливень смыл тех зрителей, кто не озаботился принести зонтик, но не кровь с рук безумной женщины, которая столько веков старается предостеречь человека, показав, как отход от человечности во имя сколь угодно высоко стоящих целей обязательно кончается тем, что совершивший преступление оказывается его навечной несчастнейшей жертвой.

— Мой отец был известным в городе врачом. У него, кроме больничной, была обширная частная практика. У многих людей были причины для потайного лечения. Оно тогда одно обеспечивало сохранение врачебной тайны. Ведь что было, вспомните: придет, скажем, мать в диспансер посоветоваться с врачом о сыне-подростке — она слышала о кризисе подросткового возраста, но о таких странностях слухом не слыхивала, чтобы парень, а не девушка, перед зеркалом по полдня стоял, волосы туда-сюда дергал, то направо зачесет, то назад бриллиантином загладит... и прямо плачет, на себя глядя. Пришла — думала, помогут советом. А у нее — бац! — запрашивают полные паспортные данные и заводят историю болезни сына, под номером и в алфавитном порядке. Врач его не осматривал и никогда, может, не увидит, а все — он уже на учете в психдиспансере...

Мы пили кофе, как когда-то в Москве, но теперь, если к слову пришлось, свободно обсуждали темы, которые тогда без уговора даже не затрагивали. И потому что не в Москве, а в Нью-Йорке, да и потому что теперь было — не тогда. И слово за слово Марина рассказала всю жизненную историю, которая необычностью своей в Москве смотрелась загадкой, в конце была окрашена трагедией... и, что греха таить, порой будила самые невероятные измышления. А начало ее было похоже на судьбы многих в те далекие годы.

— Конечно, в тридцать седьмом, в неполные четыре года, я не задумывалась, почему мы до прихода лета вдруг безо всяких долгих возбужденных сборов уехали на какую-то другую, не похожую на прежнюю дачу. Поездом. Я проснулась утром и обнаружила, что мы едем! Мама и папа были рядом, так что в неожиданном моем перемещении во вселенной не было ничего угрожающего. И я захлопала от радости в ладошки и стала тянуть их к окну: «Смотрите, смотрите, корова! Смотрите, смотрите, овечки!»

Уже позже, из обрывков разговоров взрослых и их туманных, уклончивых объяснений, Марина строила в детстве фантастические картины их побега. В них всегда присутствовали в качестве добрых персонажей те больные, которые гуляли по территории больницы, где она проводила дни в играх, чтении и общении с теми из них, кто не ушел в себя бесконечно и мыслью, и взглядом. В числе злых неизменно присутствовали те, кто всегда находился под запором и строжайшим наблюдением в отдельно стоящем корпусе — здании бывшей монастырской ризницы. Это было отделение опасных больных, опасных для других — вследствие своей болезни. Оттуда иногда доносился шум, порой туда вдруг бежали все врачи и санитары; впрочем, иногда все они бежали в самое тихое отделение, где вдруг возникал переполох. В сущности, любой больной в стационаре мог внезапно возбудиться, индуцировать — заразить возбуждением — других больных, начать бунт.



В книжках тоже были бунты: матросские, на пиратских кораблях, у Пушкина, в «Капитанской дочке», Пугачевский — такие же сокрушающие, бессмысленно жестокие, бесцельно разрушительные. Постепенно рядом ложились соседние слова: мятеж, восстание, революция... И мало-помалу складывалось понятие о различии между ними, о некоей иерархии, которую определяли совсем не исторические и культурные факторы. Важнее всего было, кто и как руководил стихией разбушевавшейся массы, насколько умело и с какой явной и тайной поддержкой денежных и военных сил. Это невозможно было в те годы прочесть в книгах, по которым учили в школе. Но Марина недаром росла в необыкновенной обстановке. К ним и гости приходили необычные, и разговоры происходили такие, что присутствовать при них можно было только с осознанным пониманием, что их нельзя ни повторять, ни обсуждать, даже с домашними. И это понимание без единого слова до нее было доведено родителями и няней, ехавшей тогда же вместе с ними из Москвы в менявшихся то и дело, со свистками в ночи, поездах. Няня, понятное дело, не хотела расставаться с семьей и девочкой, которую растила, не собиралась бросать их в неведомой, но явной беде. Но был у нее и личный мотив поиска более справедливого места под солнцем, такого, где ей перестанут запрещать выходить на звонок к входной двери и говорить, принимая у посетителя пальто: «Счас доложу барину...»

— Что, господин доктор, опять в пятом отделении контрреволюцию сегодня развели, восстание обделенных свободой подавляли? — шутливо бормотал над шахматной доской их постоянный гость.

Отец хохотал громогласно:

— Передергиваете, господин присяжный поверенный, передергиваете! Я в последнем слове докажу суду, что к нам такой термин применять неправомерно, там не было никаких восстаний-революций, потому что не было организации. Тем, голубчик, бунт и отличается, что в нем могут быть зачинщики, но нет четкого руководства, это стихия неуправляемая по определению, она грозит всякому порядку, потому подлежит усмирению. Ваш ход, батюшка, да не перепутайте и тут, эту партию вы черными играете.

— Нет, доктор, вы мне все-таки докажите, что этот ваш зачинщик подчинился галлюцинации, а не гласу свыше, — растягивая слова, произносил священник, переставляя фигуру на доске очень медленно и с сомнением.

— Да кой черт вы все путаете, наворачиваете высокую философию на простую медицинскую проблему! Про галлюцинации полемика — это когда Аллах Магомету являлся, и кое-кто считает, что не было даже серьезной болезни, просто гашиша пророк накурился. Но, кажется, это маловероятно, нехарактерно... Это относительно гашиша, его действия. О пророках не рассуждаю, не моя специальность.

— Ну да, ваша — исчадия ада, пророки от дьявола... и глас им трубный идет из преисподней. И этим пророкам нашлось хлебное место в своем отечестве...

Священник говорил еле слышно, сквозь стиснутые зубы, страдальческим голосом. Доктор угрюмо произнес:

— Ну-ну, батюшка, уж главного-то дьявола к ночи поминать совсем не стоит, его бесы как раз ночью на охоту выходят. Да и моих несчастных безумцев с ними негоже путать. Мои-то ни в чем не виноваты, им просто такая судьба вышла.

И Маринька понимала, что у них было взаимопонимание заговорщиков, которые пользуются языком, непонятным окружающим. А еще Марина давно поняла про отца Афанасия, что он был такой же беглец, как и ее семья. Только, как она потом узнала, в перемене его судьбы была дополнительная сложность — он поменял профессию. Он был из разночинцев, как половина, наверное, интеллигенции России. Дед был священником, его обширная библиотека богословских наук соседствовала у них дома в книжных шкафах с томами книг по правоведению, собирать которые начал отец того молодого доцента юридического факультета, который теперь не говорил, как его звали когда-то — с фамилией и по отчеству. Преподавание юридиче-



ских наук в стране, где беззаконие бушевало все с большей и большей силой, грозило не только внутренним разладом честному человеку. Он раньше многих понял угрозу попросту физическому существованию — когда прошел процесс Промпартии. И задолго до начала массовых чисток он начал понемногу давать подрасти своей аккуратной доцентской бороде, связался тайком с родственником, продолжавшим преподавание в семинарии, договорился с его помощью, что выучится по книгам деда и сдаст экзамен экстерном, что и сделал за пару месяцев, и принял сан, попросив приход где-то в тьмутаракани.

А отец Марины тогда, еще в Москве, лечил душевнобольных, среди которых бывали и всевозможные ответственные работники. И кроме их болезненных страхов доктор узнавал многое об их жизни, полной множества реальных угроз. И доктор узнал, раньше других «неответственных» узнал, что угроза растекается и протягивает щупальца, и узнал, как эта угроза становится бедой, неотвратимой и непоправимой. Узнал и то, что берут обычно ночью, а потом никто не задает никому вопросов. И родным не возбраняется начинать ходить по инстанциям, но если члены семьи тоже исчезнут из квартиры, переполоха не будет. И вот он сам увез своих домашних однажды ночью, пошвыряв и перевернув все при спешных сборах так, будто в ожесточении обыска. И они делали пересадки на незнакомых, пустынных станциях, тоже ночью (так выбиралось расписание движения), и меняли поезда — то на север ехали, то на запад, потом на юг, снова на север, теперь на восток... Пока не заехали в ту самую тьмутаракань.

За два дня до устройства в своей квартире «обыска» доктор пришел в канцелярию крупнейшей в столице психиатрической больницы, в которой проработал два десятка лет в разных качествах, начиная с врача-интерна после окончания медицинского факультета, и попросил написать об этом коротенькую справочку с печатью, простенькую, без послужного списка. Дома доктор поднял в полу своего кабинета две длинные навошенные паркетины и уложил на дно конверт размером в машинописный лист. Туда отправились профессорский диплом, врачебные дипломы Парижского и Берлинского университетов и вырезанные странички нескольких особенно важных его статей в зарубежных профессиональных журналах. На письма коллег из разных стран места не хватило, да и к лучшему. И так достаточно крамолы «связей с заграницей».

Добравшись до станции, которую было решено считать конечной, доктор Моисей Вульфович Левинсон пришел в отдел здравоохранения и предъявил эту справочку вместе с первым своим врачебным дипломом. Сказал, что начал покашливать, однокурсник порекомендовал лесной воздух, побольше сосен, нельзя ли получить назначение. «Сосен у нас много, а врачей мало. Принимайте больницу, сейчас вызову вам транспорт, да и поезжайте... Михаил Владимирович».

Жизнь в лесной глуши для Марины, черпавшей сравнения и понятия из книг, представлялась подобием жизни в имении, где помещик решил завести больницу, для чего выучился на врача и женился на студентке-курсистке, изучавшей медицину. Мама ее работала в папиной больнице терапевтом и лечила весь персонал, всю городскую верхушку и весь приход отца Афанасия. Некоторые из подопечных отца Афанасия были папиными пациентами, их перед праздниками приглашали в монастырь. Говорили, подлечитесь здесь, отдохните... На Пасху и в Рождество, на 1 мая и 7 ноября, в любой *такой* день эти несчастные люди готовы были начать кричать о том, как душа их вопиет супротив антихриста, надругавшегося над церквями. А обыкновенных своих больных, о ком знал, что это нужно для их пользы, доктор Левинсон вызывал полечиться в стационаре больницы перед разными «краснознаменными» праздниками, когда они могли подвергнуть себя опасности неосторожным, слишком откровенным поведением.

А бывали случаи, когда Марины, которая чувствовала мельчайшие различия между людьми, бродившими по больничному саду в блеклой пациентской и различ-



ной степени накрахмаленности белой врачебно-сестринско-санитарской одежде, вдруг обнаруживала на территории монастыря постороннего. Он или она могли быть одеты как угодно, даже в свежевывстиранный больничный или помятый санитарский халат, но взгляд, речь и повадка выдавали их. Они не принадлежали к этому монастырю, стараясь играть роль «костюма», в который были одеты. «Санитары» что-то неловко перетаскивали белыми ненагруженными руками, «больные» бродили по дорожкам сада, усердно бормоча себе под нос. О них тоже нельзя было спрашивать, понимала Маринька, хоть ни разу никто ей этого не сказал.

Этой взаимной безмолвной понятливостью были объединены все работники больницы, и так все тихо шло, пока в облздраве не решили помочь главврачу руководить персоналом и не *спустили*, как тогда говорили, в штат специальную единицу — должность заведующего отделом кадров. До тех пор карточками личного учета ведала бухгалтерша Генриетта Генриховна, и все было просто. Теперь присылали человека для так называемого первого отдела, доносчика по должности.

Главврач призвал плотника и дал ему задание оборудовать в ризнице для нового сотрудника кабинет с отдельным входом, с обшитой металлом дверью и блестящими врезанными замками с «секреткой», с ящиками для картотек и папок, все на ключах, и с тяжеленным широченным сейфом, который мог находиться только на полу, а сдвинуть его даже двоим было не под силу. Для письменного стола места оставалось совсем немного, пришлось поставить топорный, что плотник сработал из остатков мебели, ждавшей своей участи на складе; оттуда же пришел к этому столу и легкий изящный стул с шелковой золотистой обивкой. Стул этот, единственный на всю убогую и тесную комнатку, от самого входа бросался в глаза, слепил их.

После пришел печник. Печку он сложил большую, широкую, простую, но провозился долго с дымоходом, выводя его к общей для нескольких печей трубе.

Новый работник замер на миг в дверях и постарался скорее спровадить всех, кто показывал ему помещение. Снизу через окошко подглядывали, как он уселся на сидение с гнутыми ножками, откинулся на овальную спинку и замер с блаженством на лице. Так и потекли дни в тишине и покое — в изучении документации, набивании новыми и новыми бумагами некогда тощеньких папок личных дел. Когда он решил, что все они достаточно разбухли, то пришел к главврачу со списком, по которому, в алфавитном порядке, работникам больницы надлежало посетить его — «для персонального ознакомления», как он сказал.

Первой по списку шла врач Абалкина Аглая Феоктистовна. Вместе с ней в дверь кабинета протиснулся мужичонка с черными от угольной сажи лицом и руками.

— Кто такой? Зачем?

— Дымоходы проверить. Печник я, — оглянулся в поисках стула, обхватил тот единственный, что был в комнате, пальцами за верх спинки, живо очутился с ним у печи, взобравшись сапогами на шелковое сиденье. Не глядя на онемевшего от быстроты и неотвратимости происходящего хозяина кабинета, выдвинул верхнюю заслонку, соскочил на пол, оперся ладонью на сиденье стула и стал ковыряться у поддувала. Оставил распахнутой железную дверцу и велел не закрывать до окончания пробной топки, а то «дым в избу пойдет».

Начальник кадров с болью и тоской оглядел свой изгвазданный «трон», на который теперь нельзя было сесть, не испачкав пиджака с брюками, и стоя, как был, напустился на доктора Абалкину. Мол, яснее ясного, скрыла она свое враждебное происхождение при поступлении в институт, в рабоче-крестьянской среде так детей не называют, Аглаи и Феоктисты в купеческом и поповском ходу были. Стоять в присутствии подотчетного персонала было ему непривычно, да и недопустимо, наклоняться к письменному столу, чтобы затем размахивать угрожающе папкой с документами, и вовсе не с руки — после первой же попытки он ощутил, насколько нерабочей стала обстановка в собственном кабинете. А тут еще Абалкина повела себя из рук вон неправильно:

— Зовут меня Алла Федоровна. Те старые документы мне выдали вместе с аттестатом в детском доме, там меня с пяти лет Аллочкой звали. Директор детдома тогда же и объяснил, как официально поменять имя, а родителями для меня всегда были воспитатели в детдоме.

— Так вы отрицаете...

— Я не отрицаю, а объясняю, — жестко сказала доктор Абалкина. — Вы подложили в документацию нашего стационара копии устаревших, мешающих работе документов. Я этого так не оставлю.

Кадровик не верил своим ушам. Да и глазам: пигалица, а смотрит так, будто сейчас в момент его скрутит. Он и не предполагал, насколько был близок к истине. Не мог вообразить, что эта пигалица намоченными в ледяной воде и свитыми на манер веревок полотенцами вязала больных, утроивших силы в развернувшемся бунте. Не понимал, что у этой пигалицы и ее коллег настолько опасная работа, что в профессии им невозможно без твердости духа и умения удержать ситуацию под контролем.

После ее ухода кадровик углядел в коридоре табуретку и поставил к своему столу, а стул втиснул в пространство перед столом, лицом к себе. Вызвал следующего на букву «А» — Авдотьеву Степаниду Никитичну, старшую медсестру процедурного кабинета. Та на предложенный стул отказалась садиться (новости-то по больнице разлетались стрелой), сославшись на необходимость быстро вернуться к работе. Только успел кадровик раскрыть папку учета, как послышались странные и страшные звуки — вой, бессвязные выкрики, тупые стуки в стену. Он вздрогнул, быстро прикрыл ладонями листки личного дела и начал озираться в поисках точки, откуда грозит нападение. Но звуки, казалось, шли отовсюду, заполняя собой объем кабинета. Степанида Никитична не стала ждать вопроса:

— Больные в этом корпусе сегодня погромче обычного гудят. Гроза будет, наверно, они электричество в атмосфере чувствуют. Я не по их специальности, да и к нам буйных не ведут — когда заболеют, на месте лечат, там и процедуры делаем, и уколы.

В последующие дни внезапно просочившиеся через толщу кирпичной кладки и наводящие ужас, тоску и ощущение беспомощности звуки прочно утвердились в помещении отдела кадров. Никого из посетителей они не волновали, их будто не слышали. Главврач на просьбу прекратить недоуменно пожал плечами и объявил, что не понимает, о чем речь: кабинет отдела кадров расположен в корпусе, где эти больные и эти звуки были всегда. Может быть, прежде сосредоточенность на кропотливом анализе множества всевозможных документов ограждала работника кадров от всех помех его занятиям, а теперь напряжение спало... Может быть. Мало ли психологических причин... Может быть, привыкнете, притерпитесь...

Вызванный вскоре в облздрав главный врач узнал, что сотрудник по кадрам не притерпелся, переводом отправился в нормальное учреждение. Но начальник облздрава не хотел полностью оставлять ту самую ставку в психиатрической больнице, хоть она была спущена туда целевым назначением. Договорились поделить ее пополам и на кадры снова определить ту же, что прежде ими занималась, сотрудницу — на дополнительные полставки, которые раньше ей не платили.

— Полставочникам на совещания в центре приезжать необязательно, незачем даже. Пусть ваша... Галина Григорьевна со мной связывается по любому вопросу, она будет мне лично подотчетна.

Вечером по возвращении отца из этой поездки Маринька, привычно устроившись зайчиком с наостренными ушками в глубоком углу кожаного дивана с деревянной полочкой на спинке, силилась понять, кто был знакомый-незнакомый второй гость, пока не распознала по тембру голоса за отмытым и до блестящей гладкости выбритым лицом больничного печника.

— Не считите, гражданин багюшка, за богохульство, но у нашего иудея за стенами православного монастыря и вы тоже чувствуете себя, как у Христа за пазухой.



— В ковчеге Ноевом, — то ли добавил, то ли поправил сказанное священник. — Так почему покидаете нас после торжества и успеха своих трудов?

— По причине их успеха и торжества. Я заявки на патент на изобретение не делаю — не дадут. Каминные трубы издавна были на подозрении у секретничающих вельмож как инструмент подслушивания разговоров. Нельзя дожидаться того, чтобы пришлось объясняться-оправдываться, изображать наивность. Им, нынешним, даже искать вину и уличать в вине не требуется, выдуманную пишут. Так что же будет, если кто умный-сведущий попадется в их среде... Нельзя никогда недооценивать другую сторону. К ним в сети разные попались — и служат; так что слишком просто сказать, что, мол, умные за страх, а дураки — за совесть...

— Куда ж теперь решили? — спросил доктор, явно озабоченный судьбой этого странника поневоле, как он про себя называл того, кто в монастыре соглашался на любую работу и справлялся с любой задачей, был доволен вознаграждением в виде «стола и квартиры», едой из больничной кухни и матрасом на полу столярной мастерской, и прилагал явные усилия к тому, чтобы поменьше разговаривать с кем бы то ни было.

— Да как загадывать, если почва планеты зыбучими песками пошла. Вот у вас на полке «Малый атлас мира» тридцать девятого года, посмотрите там политическую карту Европы. Видите большо-о-ой кусок на ней в коричневую полосу, с кружочком «Варшава», с названием «область политических интересов Германии» вместо названия страны? Устаревший, конечно, два года прошли — сами знаете каких, как цвета поменялись, позадвигались, не по картам — по людским жизням.

Так и ушел он — просто в ночь. В самую короткую ночь тысяча девятьсот сорок первого года.

Через четыре года доктору Левинсону, как многим другим тогда, стало казаться, что военная гроза освежила атмосферу. Во вздохе облегчения у уцелевших, вздохе радости Победы, ощущалась вибрация волны надежды — неопределенной, неназываемой, неозвученной. В разговоре со старым другом священником доктор попытался высказать мысль о том, что общность стремления к победе превратится в устремления общества, что народ-победитель не захочет по-прежнему быть народом-рабом, жить в рабстве у парализующего душу страха. Счастье, что отец Афанасий и не подумал миндальничать с доктором, смягчать выражения:

— Непозволительная, опаснейшая наивность! Никакого такого общества с главной его характерной чертой, общественным мнением, в нашем отечестве сегодня нет и не предвидится. Победа в войне укрепляет государство, особенно если это война истинно отечественная, всенародная. Народ против царя после той Отечественной не поднимался, после поражения в Первой мировой — самодержавие рухнуло. Сегодня в Российской империи, переименованной большевиками в четыре заглавные буквы, сохраняется та самая тираническая форма правления, при которой война началась и закончилась. Общественное сознание в таких условиях возникнуть не может. Ждать следует только новых форм и объектов преследования, потому что именно на этом держится их власть.

Маринька все вечера проводила в своем углу дивана, получая то домашние уроки медицины из обсуждения родителями диагнозов и лечения больных, то вот такие уроки антимарксизма, которые опередили ее официальное — противоположное — образование. Однажды она услышала, как опытная медсестра в госпитале, куда их класс водили устраивать концерты для раненых, говорила новенькой: «Медицинская сестра в своей профессии должна быть актрисой. Ты должна поднимать дух у больных и раненых, показывать, что ты веришь в их выздоровление, чтобы их заражать этой верой. Помогать им бороться за выздоровление своей бодрой и веселой улыбкой, а не лишать их всякой веры этой жалостью, которая у тебя на лице». Маринька обрадовалась хорошей идее. Теперь по дороге в школу она вживалась в роль





туповатенькой простушки, мало способной как к учению, так и ко всяческой пионерской общественной работе. Когда мама первый раз в конце четверти должна была подписывать *троечный* табель, она удивленно подняла брови, но Маринька сказала: «Так лучше», — и вопросы к дочке с тех пор были только о том, где подписать...

— Из этой ловушки истории, — продолжал священник, — в которой мы оказались, мыслим только один выход, естественный: ненасытный зверь будет возвращен породившему его дьяволу, окончит земные дни свои в своем логове. И нужно еще, чтобы место его не успел занять тот из его приспешников, кому стали бы подчиняться остальные тупорылые чудовища. А ежели вместо единственного и величайшего править станут те из его стада, которых мудрейший подбирал так, чтобы они не умничали, а подчинялись, вот тогда и можно будет вспомнить о надеждах на возрождение российского общества. Но и тогда — о-о-очень осторожно...

Слова эти не смягчили горечи и боли от последовавших кампаний преследования и расправы над разными кругами интеллигенции. Но как-то помогли не дать себе расслабиться, сохранить способность к моментальной реакции.

Завоблздрава уехал в Москву на повышение, в республиканское министерство. Уезжал нехотя, понял доктор, не нашел возможности отказаться. Перед отъездом дал доктору свои новые координаты, даже номера телефонов уже были известны. «Обращайтесь при любом... ну, в общем, при любом. Новому я сказал, что вы на отшибе... и, мол, слава богу, беспокойства от сумасшедших из городского диспансера ему по горло хватит, лишнего не попросит».

Доктор не беспокоил старого начальника, когда пришло время Мариньке поступать в институт. Сначала надо было подумать, как получить аттестат с приличными отметками. Перед началом учебного года в десятом классе они всей семьей съездили в Москву к родственникам, оставили им Мариньку на попечение, и тетя записала ее в районную школу. Через год родители снова приехали ненадолго, повидались со старыми друзьями, и Маринька подала документы на скромный санитарно-гигиенический факультет. В Рязань, где не было ни родных, ни друзей, куда после разгромной сессии ВАСХНИЛ и начавшегося тогда гонения на генетиков сослали Третий медицинский институт, где можно было бы и на лечебный, домашнюю девочку отправлять не решились. А двери лечебных факультетов двух московских уже не были широко раскрыты для абитуриентов со специфическими фамилиями-отчествами, по которым безошибочно узнавали «безродных космополитов».

Бывший начальник сам позвонил доктору тринадцатого января незадолго до полудня. Год шел тысяча девятьсот пятьдесят третий. Он сказал, что направил на стажировку в его профильную больницу молодого доктора с возникшим внезапно интересом к их специальности, тот уже выезжает, пусть сразу приступит к работе, а документы в облздрав придут позже. Спросил, где дочка... и какие газеты доктор с утра читал. «Вчерашние. Сегодняшние привезут вечером, как обычно». — «Радио включите... И не мне вас учить», — тяжело вздохнул работник Минздрава.

Маринька в тот день с утра ушла на экзамен, сдавала досрочно сессию, чтобы подольше побыть дома на каникулах. Преподаватели сначала долго задерживались, потом вызывали других студентов раньше нее. Вышла она из аудитории с испуганным лицом. Экзамен принимал доцент, который вел в их группе семинары, хорошо зная ее как способную и вдумчивую студентку. Сейчас он не слушал ее ответы, практически отвернулся от нее и только бросал раздраженно: «Все, хватит. Переходите к следующему вопросу». Подтянув к себе раскрытую зачетку, он поморщился от вида столбика с «отл.» и сказал:

— Мало времени взяли на подготовку, не сумели подготовиться удовлетворительно, — и нарисовал «неуд», добавив: — В сессию сдавать нельзя. Эта оценка идет в диплом. Передача в конце курса. Последнего курса.

В коридоре Мариньку ждала тетя с ее чемоданом в одной руке и со свернутой туго в трубку газетой в другой руке. Дорогой на вокзал коротко рассказала об аресте



цвета медицинской профессуры, о еврейских именах подавляющего большинства из них, об обвинениях в убийстве больных, шпионаже, тайной организации и бог весть чем еще... О телефонном звонке ее отца, который велел немедленно выехать ближайшим поездом, взять любой билет, который будет в кассе, брать спальный купированный, общий сидячий — только сразу же уехать, скорее добраться домой.

— Тетя, едем вместе!

— Я же не врач, даже не медсестра.

— Все равно в покое не оставят, будут травить.

— Покоя с ними никогда не было. Авось, до погромов дело не дойдет.

Дорога в сидячем вагоне из-за напряженного ожидания ее окончания прошла незамечено. Маринька не боялась заснуть — она просто не могла закрыть глаза, веки не опускались. Она совершенно ни о чем не думала, в голове была ровная белесая пустота, как и перед зрачками. Иногда в эту пустоту врзался на мгновение взгляд сидящего напротив молодого человека с уткнутым в сплетенные пальцы подбородком, локти на пристроенном между колен чемоданчике. Однажды, когда поезд резко затормозил, ее мозг на миг вытряхнуло из ступора, мелькнула мысль о зеркале на спинке сиденья напротив, а ожившие на этот миг глаза увидели будто свое отражение — темные волосы, бледный овал лица.

За порогом своей станции Маринька покачнулась, будто по инерции от проникших в ощущения тела качаний вагона, и оглохла — от исчезнувших ударов стыков рельсов по колесам. Очнувшись, поняла, что держит ее тот самый попутчик с лавки напротив, с кем они пробирались к тамбуру, когда объявили прибытие поезда к станции. Теперь они медленно шли к единственному на площади автомобилю. Он по-прежнему крепко держал ее локоть левой рукой и оба чемодана в правой, перехватив рукоятки свернутым в жгут носовым платком.

— Уже пора знакомиться, — негромко проговорил он.

Маринька сдавила губы, подбородок сморщился бугорочками:

— Меня зовут... Марина... Моисеевна... Левинсон.

— А я — Роман Самойлович Клигер, врач-вредитель. Еду в монастырь постигать психиатрию.

Персоналу новый доктор был представлен как Роман Семенович, невропатолог, который кроме консультирования неврологических случаев будет вести одну палату, и сотрудников просят содействовать ему при освоении специфики стационара. Получил он специальный ключ с круглой головкой, открывавший все двери — и больничных палат, и ординаторских, со строжайшим наказом всегда иметь его при себе и ни за что не терять. После обхода он усаживался со своей стопкой историй болезни за письменным столом и в полном недоумении смотрел, как его коллеги исписывали десятки листов после единственного разговора с больным. Он знал, как ненавистны всем другим врачам эти записи в конце рабочего дня, как их стараются сократить, делая лаконичными, а не расписывая детали и подробности, как тут. Однако вскоре сам стал проводить часы за тщательным воспроизведением на бумаге каждого слова и жеста, взгляда, мимики больного, не заметив этого поначалу; а когда осознал и задумался, понял, что этот процесс помогал точнее вспомнить и глубже проанализировать проявления болезни, представление о которой врач этой специальности получает без помощи анализов и рентгена, только из разговора с больным.

Конечно, он читал одну за другой книги по психиатрии с полок кабинета главного врача и по его совету подучил свой немецкий, чтобы прочесть Кречмера, Крепеллина, а запрятанные между томами пожелтевшие издания нескольких работ Фрейда были в переводе. Но, как и в любом деле, беседы с мастерами и наблюдение за их работой производили особый эффект — откровения, обретения важнейшего зерна знания. Роман поражался, насколько случайно и походя ронялись эти зерна, которые он лелеял и запасал, как собственный фундамент понимания специальности. Геннадий Иванович как-то произнес, вскользь и без особого повода:



— Наш больной — больной особенный. Он порою дорожит своим болезненным состоянием.

И дальше уже Роман сам развивал стоящую за этими словами мысль: ведь любые идеи и переживания в болезни тот осознает как истинные. И когда болезнь сопровождается страданиями, душевнобольной не мучениями дорожит, как может показаться при поверхностном взгляде, а отношением к ним: для него самого они вызваны реально существующими причинами, психологическими якобы процессами (в действительности — процессами патологическими, но о том он не ведает), зарождающимися в его собственном мозге. Из-за этого ему трудно поверить врачу, старающемуся вернуть его в реалии окружающего мира. Поэтому лечение он зачастую субъективно воспринимает как насилие над своей сущностью, своим внутренним миром.

В другой раз он стал свидетелем нелепого с виду телефонного разговора. Врачу по имени Евгений Антонович передали телефонную трубку: «Ваш тезка». Тот послушал немного и начал чуть не кричать в ответ: «Женя, сейчас же прекратите! Я вам сказал, ничего этого не было. Не было никакого ребеночка! Идите и крутите кино, все нормально».

Роману он пояснил:

— Это наш киномеханик. Совсем юноша. Был женат, родился ребенок, мальчик. Заболел внезапно, остро. Жена отправилась в консультацию, совсем ненадолго оставила его посидеть с младенцем. Вернулась — а он изучает внутренности у новорожденного... Сразу к нам привезли, шоковую терапию на следующий же день начали. Справились. Он, конечно, один потом остался, кто ж его теперь захочет. Вот тут комнатку нашли ему, работу; да и лучше, что всегда поблизости находится, помочь можно, если что, ну как сейчас, например. Такой, представляете, случай — леди Макбет наоборот. Та впала в безумие, переживая ужас своего кровавого деяния, совершенного в полном сознании, а у этого кошмары появились из-за осознания фактов болезни. Вы могли понять по моей реакции, что ему вспомнились картины из пережитого во время болезни — теперь уже с негативным к ним отношением, здоровым с морально-психологической точки зрения. А ведь именно к этому мы в своей работе с больным стремимся, потому что осознание больным того, что он болен — наш критерий начала выздоровления.

Роман долго думал, почему этот клинический случай в его воспоминаниях и размышлениях объединялся с казалось бы несопоставимым казусом, рассказанным однажды Михаилом Владимировичем. Все там было с виду наоборот. Больного к осознанию болезни доктор и не попытался подводить. Можно сказать, утвердил того в представлении, что его болезненное переживание было не иллюзорным, а вполне реальным. Так, всего лишь индивидуальной особенностью организма, которую доктор по-своему «поправил». Пациентом — частным, тайным — был некий высокопоставленный ответственный чин, который... боялся садиться. Он боялся сесть на стул, а более всего — в свое рабочее кресло. Это было в конце тридцатых, когда таких вот ответственных сажали пачками. Он, пациент, вдруг вообразил, что у него стеклянная задница. Доктор уже понимал подспудные истоки подобных искажений в замученном страхом сознании. Он прибег к трюку: зашел за спину больного и — бам! — бросил на каминную решетку стакан со своего стола. И сказал: «Слышали, как я ее разбил, стеклянную вашу *мадам Сижу*? Теперь садитесь на обычную, мягкую, которая осталась». И все стало прекрасно, больной стал вести себя нормально. Да только погубила эффект находчивости и силы внушения, мастерского исцеления, которого добился врач, простая бабская вздорность. Жена больного, которая сама и отыскала для него врача через знакомых, как-то поссорилась с ним и в запале перебранки выкрикнула: «А задница у тебя была и осталась стеклянная! Как был ты психом, так и остался!» Ничто потом не помогло, пришлось положить в стационар; вылечить не удалось, но жизнь человеку эта госпитализация спасла: по



психиатрическим больницам «врагов народа» не разыскивали. В безумное время в обезумевшей от власти подлых безумцев стране не только надежное убежище — очаг сохраненного морального здоровья открывался людям в пресловутом сумасшедшем доме.

Роману показалось, что он понял: он уловил сходство в звучании выражений *вывих сустава* и *свихнувшийся* — термин просторечья — человек. В том и в другом случае врач действует силовым приемом. Сустав он вправляет резким вытягиванием и последующим мгновенным перемещением кости в правильное положение, мозги — жестким внушением правильной и нужной для здорового поведения идеи.

Но больше всего ум и чувства Романа занимали слова о том, что этому больно-му жизнь спасла госпитализация в психиатрическую больницу. Сначала Роман глубоко прочувствовал тезис о надежном убежище. Этого одного бы хватило (как заканчивались поочередно строчки в молитве, которую в тайно отмечавшемся празднике Песах пел дед). Однако добавившийся пункт о сохраненной здесь атмосфере морального здоровья, после вакханалии всеместной слежки и всеохватного доносительства о том, что было и чего не было, из-за чего он угодил в сумасшедший дом, окрашивал заснеженный монастырь в цвета субтропиков с вечнозелеными деревьями и ароматами роз и акаций, место отпуска — насовсем, отдыха — навсегда! — от кошмара недавней жизни в столице. И, совсем как в дедовой молитве, здешний патриарх добавил, вслед за постоянным курированием его профессионального развития, новую задачу: дал задание, которое оправдывало и объясняло долговременность нахождения Романа здесь. Он дал Роману тему диссертации, которую можно было разработать только на базе психиатрического стационара с его амбулаторно-консультативным отделением.

Но временами Роману казалось, что самое главное, дарованное ему при чудесном вызволении из города, где всюду — угроза, где все — опасность, где верить нельзя никому, а радости ждать невозможно, что здесь был ее, Марины, дом. В это свойство его прибежища влились все предыдущие и, он знал, войдут все последующие качества этого чудного места, которое не было воплощением мечты — мечтать о таком невозможно, оно было осуществлением сказки.

Наверное, это его видение, внутреннее, эмоциональное, не поддающееся коррекции ни со стороны здравого смысла, ни со стороны требований рационального устройства жизни, вспыхнуло из-за всех необычных обстоятельств настолько сильно, что и закрепилось настолько же прочно. Выкристаллизовалось — и застыло многогранным сверкающим ядром его личности. И ни предыдущие слои-следы ее формирования, ни последующие наслоения, нормально влиявшие на ее развитие, не ослабили ни твердости ядра-кристалла, ни яркости его свечения в его глазах.

— В каждом мужчине сидит мальчишка, разного возраста в разных людях: один — вечный подросток, задиристый и уязвимый; другой — смешной застенчивый первоклашка. А Роман, понимаете, он с психикой зрелого мужа, с высокоответственным поведением, с блестящим интеллектом — со всеми этими чертами сочетал душу мальчика на границе пяти и шести лет. Это такое возрастное восприятие жизни, когда невозможно поверить вредным ребятам во дворе, которые говорят, что Деда Мороза не бывает, когда сюжет прочитанной сказки так же реален, как булочная на углу, куда мама посылает его одного за хлебом...

На этот раз мы отправились в другой парк — на тропу вдоль заросшего деревьями и кустарником берега Гудзона, тянули вверх, встав на цыпочки, пальцы к шелковице, поспевавшей к сентябрю. Тропа была неухоженная, но искоженная — в метр шириной, не меньше, в будние дни почти безлюдная. И там порою Марину выносило вперед и вперед, и она говорила, будто на лету:

— Понимаете теперь, какой он был? Каждый человек чем-то своим удивительный, в чем-то особом замечательный. А в Романа всё было удивительным и замеча-



тельным... Знаете ли, психиатры любят навешивать друг на друга ярлычки с диагнозами... Удивляетесь слову «диагноз»? Один чешский психотерапевт писал: человек — как дерево с ветвями и листьями, у которого прямой, как столб, ствол — это психическая норма. Вы видели когда-нибудь живое дерево, состоящее из одного ствола? Если продолжать метафору, можно так описывать «искривленные стволы» — так и называются происходящие при некоторых заболеваниях искривления психики. Правда, есть одна сложность: психиатры зачастую говорят на разных языках, используют различные классификации для описания заболеваний, пограничных состояний, психологических особенностей. Дело порой до абсурда доходит: в Москве в семидесятых годах в различных научно-исследовательских институтах психиатрии сосуществовали две или три классификации шизофрении — это при том, что была и обязательная всесоюзная минздравовская, для статистических отчетов и расчетов, и где-то витала международная, по которой пресловутой вялотекущей шизофрении тогда уже не существовало — таких пациентов относили к разным категориям психопатий.

— Так есть она или нет, пресловутая и знаменитая? — не утерпела я.

— Господи, твоя воля! Есть люди, есть просто такие люди, называй хоть так, хоть эдак...

Кстати, в том самом месте, о котором публика должна понимать, что там-то и засел изверг рода человеческого, воистину врач-вредитель, теоретик пресловутой вялотекущей академик Снежневский, которую он якобы и придумал для борьбы с нашими диссидентами, в этом его Всесоюзном центре психиатрии, Марина Моисеевна всего за несколько месяцев до отлета в Вену (там разберемся — к дочерям в Израиль или к сыновьям в Америку) была на предзащите докторской диссертации, материал для которой сотрудница этого центра — а ранее института, на базе которого центр образовался — собирала долго, не меньше полутора десятков лет. Выходит, происходило все — и сбор материала, и его обсуждение, и издание статей по теме диссертации не просто при жизни «изобретателя несуществующего заболевания» академика Снежневского, но и при его содействии и под его непосредственным руководством. В этой диссертации автор доказывал, что заболевание, называемое вялотекущей шизофренией, по своим симптомам и другим формам проявления никакого отношения к тому, что называют, скажем так, *классической* шизофренией, не имеет, никакой не имеет с ней связи, не является ее формой, а представляет собой отдельную, как говорят в медицине, *нозологическую* единицу, является совершенно особым заболеванием. Похожие названия, которые употребляются в одних и не употребляются в других классификациях, приводят к путанице, но не меняют сути: пресловутая вялотекущая шизофрения — не настоящая шизофрения...

— Не знаю, как проходила защита, утвердил ли ВАК — я же уехала, но помню, как я тогда завидовала красавице Эвелине Дубницкой. Мне кто-то рассказал тогда, как она стала психиатром. Она заканчивала мединститут, будучи на сносях, родила и собиралась ходить на госэкзамены, сцеживая предварительно молоко для ребенка, оставленного дома. И вдруг у нее началась родильная горячка — такая болезнь с галлюцинациями. Ей мама подносит после кормления тазик с теплой водой, обмыть грудь, а она кричит: «Убери! Огонь!» Пламя ей чудилось вместо воды. Всей кафедрой психиатрии ее отхаживали, преподаватели приходили домой «госы» принимать. Тогда она и выбрала себе эту специальность в медицине, а раньше и не собиралась.

— А Снежневский?..

— Снежневский — гениальный психиатр. Последний раз я слышала, как это говорилось, тоже незадолго до отъезда, от самого Савенко Юрия Сергеевича. Вот уж был из диссидентов диссидент! Но научная честность и добросовестность для него всегда на первом месте. «Система, — говорил он мне тогда, — может с успехом использовать абсолютно любую концепцию». Юрий Сергеевич еще во времена Со-



юза, в самом начале восьмьдесят девятого, стал президентом Независимой психиатрической ассоциации, которую он создал и которую сразу признали за рубежом, приняли во Всемирную психиатрическую ассоциацию. Он и сейчас ее президент — Российской независимой психиатрической ассоциации. А с официозным Всесоюзным научным обществом невропатологов и психиатров сами, может, помните, как дело было: их в восьмьдесят третьем уже было собраны исключать из Всемирной психиатрической ассоциации за злоупотребления в политических целях, так они вышли из международной ассоциации «добровольно». А сам Снежневский, если приглядеться, разрабатывал так называемую теорию единого психоза — крамола не крамола, но в нашей солнечной стране все-таки отклонение от генеральной линии теории и практики советской психиатрии. Суть, в популярном изложении, такова, что у различных психических заболеваний нет четких границ. Они как бы переходят друг в друга. Это не абсолютное открытие, многие ученые склонны считать, что надо во главу всего ставить синдром, совокупность признаков, а не стремиться немедленно формулировать название заболевания. Однако именно этот примат диагноза и довел в Союзе в практической и теоретической психиатрии.

— Так какой диагноз нацепили на Романа?

— Ее, родимую... Мол, типичный-растипичный вялотекущий, которому вполне удастся адаптироваться в обществе, если найдет он в нем свою нишу, как крот нору, и там будет вполне адекватно функционировать. В учебнике вы такой пример могли бы встретить: нелюдимый, угрюмый, неразговорчивый книжечей находит работу в букинистическом магазинчике где-нибудь на отшибе, куда покупатель не сразу и доберется. Из художественной литературы приводят Обломова, особенно то, как он типично женится на женщине много старше себя и как стремится никуда никогда не ездить. Мол, был в русской литературе «очарованный странник», а доктор Клигер — «очарованный пустынный». Монастырь с пустыней перепутали и божий дар с яичницей. И мне, выходит, годков навешивали, а я ж на пять лет его моложе.

— Разве Роман?..

— Да бросьте, вы же помните, как он не меньше двух-трех раз в год бывал в Москве, обе диссертации защищал там, на конференции и семинары с докладами являлся. Театры, концерты, выставки нескончаемо, даже специально приезжал, как, например, когда в Пушкинском музее показывали картины Дрезденской галереи. А вот на Сальватора Дали уже не... — она переборола всхлип. — И мы столько путешествовали с детьми, начали их брать в походы, когда они совсем маленькие были, то в горы, то на байдарках. Он постоянно списывался с товарищами по школе и институту, знал все о новых веяниях, ни от чего не отставал. Все журналы читал, все песни пел, самиздат привозил в наш монастырь и людей доверенных просвещал. Когда детей пришла пора чему-то серьезному учить, стали открываться школы специальные, математические, языковые, он заставил меня перебраться с детьми к моим родителям в Москву. А мне придумал такую тему для аспирантуры, чтобы надо было часто в нашу тьмутаракань за материалом ездить... Отец мой на кафедре возвращаться не захотел. Он заведовал отделением несколько лет в своей любимой больнице, потом ушел на пенсию, писать книги...

Старую квартиру профессору вернуть было невозможно, она давно превратилась в коммуналку. Дали по прежним понятиям небольшую, в новом районе, который после развития строительства пятиэтажных Черемушек-Кузьминок стал вполне престижным, а жилье, по новым понятиям, просторным. Плюс к тому с приездом дочери и внуков получил он разрешение на членство в жилищном кооперативе, и потом уже в качестве нужд и проблем они обсуждали покупку автомобиля или дачи. Внуки кончили школу, институты-университеты; конечно, все пошли в психиатрию либо медицинскую психологию. И были отчаянными кухонными диссидентами, как в его молодости студенты были салонными революционерами. Только нынешние не

столько мечтали о демократии на своей родине, сколько стремились осуществить главный лозунг советских диссидентов, требовавших права советского человека на свободу передвижения по миру с целью свободного выбора места проживания — где-нибудь подальше от нелюбимой родины, в истинно свободном мире. Кого влекло за океан на Запад, кому был сердцу милее Ближний Восток.

Дед не удивлялся ничему. Но от одной вещи страдал душевно. До того огорчительно и обидно ему было, что с ног на голову поставлена была и недобросовестными врачами, и негодяями во все той же самой власти, которая по-прежнему довлела над страной, ни в чем не повинная его профессия. Больницу стали называть *психушкой*, и туда теперь сажали даже галлюцинаторного больного.

— Профессия не виновата, — провозглашала неумная молодежь, — виновата система, которая стала использовать ее в политических целях. Именно это недопустимо — использование психиатрии в политических целях!

— Да я всю свою жизнь этим занимался! — кипятился дед. — Но мои цели были охранительные: я спасал жизни. Вы справедливо выступаете против использования психиатрии в карательных целях, так будьте добры поставить точки над *i*, обелите медицину, перестаньте делать врача-психиатра в глазах людей пугалом, нет, хуже — врачом-вредителем. Нынешняя интеллигенция подвержена самиздатовской пропаганде, которая приведет не только к росту числа запущенных случаев. Вы стремитесь в мир, где неудобно посещать кабинет психиатра, но красиво-престижно регулярно наведываться к терапевту. Не медицинскому психологу даже, как в дипломе, а психотерапевту, всемогущему шринку, мозгоправу.

— Ну, папа, зачем ты их так... Сам знаешь, там у них будет больше простора для работы, не только легче и приятнее жизнь.

— Я не против их отъезда. Это обыкновенная миграция нового поколения. Я сам ушел от родителей из украинского местечка в Москву босиком, с сапогами через плечо. Дед-равный был весьма прогрессивных взглядов, он советовал не чураться формальных несоответствий с предписаниями Торы в каких-то обстоятельствах повседневной жизни. Например, еда, соблюдение кашрута или ношение бороды. «Важно одно — что у тебя внутри, кто ты на самом деле. Конечно, хотелось бы, чтобы ты женился на еврейской девушке, чтобы не разбавлять кровь, как говорится, но, может... может, от слишком густой крови и происходит апоплексический удар: недаром же доктор пивяки ставит, чтобы ее отсосать и потом питьем разжижить». Я уверен, что он никогда не слышал о гепарине, просто у него была настоящая еврейская голова, которая постоянно думает, сопоставляет, делает выводы. Он хотел сохранения производства природой таких голов, вот и все.

— И для этого ты женился на нашей бабушке, с ге-не-ти-чес-кой целью! А потом поженил маму и папу в своем монастыре! — раздухарились близняшки, пара старших мальчиков, пара младших девочек.

— Это, люди, называется евгенической целью. Когда дедушка и бабушка женились, евгеника была наукой об улучшении человеческой породы. А когда мы с мамой — тут уже генетика стала прислужницей возлюбленного вашего империализма.

— Пап, а ты ведь молчишь... Где твои точки над «ё»?

— При мне. Ладно, если без балагурства — с вашим дедушкой я и сейчас во всем согласен. Но, боюсь, вы и он — жуткие идеалисты. Вы склонны идеализировать эту прекрасную недоступную страну под названием «заграница». Деду простительно: он там проводил медовый месяц, да еще и перед Первой мировой. Прелестная довоенная Европа — вот куда вы, по его понятию, направляете свои обуты в кроссовки стопы. А Европа стала иной. Впрочем, вы туда и не собираетесь, Германия вас не прельщает. Что мы в действительности знаем об Америке и Израиле? По-существу — ни-че-го! Если вас это не пугает сегодня, я надеюсь, что вы сохраните присутствие духа, когда там что-то начнет сильно вас допекать, что-нибудь уж совсем тяжелое и очень неожиданное. Вы справитесь... Это я вам обещаю...



— И они уехали, все сразу. Рождались по очереди, а исчезли — сразу. Девчонки закончили университет, мальчики бросили аспирантуру — и фью! Я залила слезами Шереметьево: тогда, в семидесятые, никто не мечтал увидиться снова. Роман держал меня так крепко, что было больно, и я понимала, что он делает это специально, чтобы физическая боль оттянула на себя хоть часть страдания душевного. А когда фигуры в знакомых одежках уже поплыли в слезном мареве к черте, отделявшей Союз от иного мира, я услышала, как Роман тихо сказал мне: «Ты с ними встретишься. Это я тебе обещаю».

Это были его *особые* обещания. Он нечасто говорил мне такое — обескураживающее, нелогичное, но... мобилизующее, что ли... Так было, например, во время моей второй беременности. Мальчишкам тогда исполнилось по три с небольшим, они меня замучили безбрежными разливами своих «что?» и «почему?», бесконечными потасовками, и я мечтала о девочке, чтобы мирно поиграть в бантики. Ультразвук тогда не использовали для определения пола зародыша (а я бы и сегодня не советовала), и я, насупившись, поглядывала на торчащий глобусом живот, в котором акушер уже обнаружил два сердца: эй, вы там кто?!.. Роман подошел, послушал, как я вопрошаю судьбу, задумался и сказал вот так же тихонько:

— Обе будут девочки. Это я тебе обещаю.

Только сейчас она начала плакать. Только сейчас.

С того момента, когда она появилась перед его глазами на скамейке вагона, Роман уже никогда о ней не забывал. Ни на минуту. Даже во хмелю, когда они вместе с его школьными друзьями встретились в Коктебеле и так накачались молодым вином, что валились на первую попавшуюся скамейку в хозяйском саду, он хватался за ее плечо и мычал в сторону разделившей их фигуры друга: «Ты не отодвигай мне точку опоры — она перевернет мне землю!»

Маринька редко попадалась ему на глаза в течение рабочего дня в монастыре, а уж вечером — и подавно. Она стала работать медсестрой в процедурном кабинете, зачетная книжка третьекурсницы мединститута подтверждала квалификацию. Всем было сказано, что она приехала продышаться сосновым воздухом после затяжного бронхита. Работа ей не нравилась, у нее была «тяжелая» рука, она с трудом попадала в вену и неловко продвигала желудочный зонд.

Процедурная соседствовала с лабораторией, там она отдыхала душой у микроскопа. Сама напросилась посчитать формулу крови — распределение по клеточному составу во взятой для анализа капельке крови. Ее результаты сверили с тем, что делала опытная лаборантка, они совпали, и заведующая лабораторией попросила главврача обменять на Мариньку сотрудницу, которая дорабатывала месяцы до отъезда к мужу, служившему на Камчатке, и ожидала конца учебного года у сынишки. «Школьницу» пристроили в архиве составлять какие-то списки и выдавать истории болезни врачам, а Маринька с головой ушла в окуляр микроскопа.

Роман не искал с ней встречи, не старался разведать, где она бывает — он был плохим Дон Жуаном. Точнее, он совсем не был Дон Жуаном. Если бы он опасался, что она куда-то может уехать, он бы, конечно, предпринял поиски. Но он понимал, что она точно так же обрела здесь укрытие, с той только разницей, что это и был ее родной дом. Он знал, что они сейчас находятся под одной крышей, пусть и разрезанной на множество корпусов.

Снова Роман увидел Марину, когда главврач пригласил его к себе домой на чай. Там уже был отец Афанасий, которого Роману приходилось видеть на территории больницы; Роман считал, что священник навещает больных прихожан, и не предполагал, что тот вхож к доктору. Маринька почему-то не сидела у круглого стола с кружевной чайной скатертью, а забралась с ногами в угол широченного кожаного дивана и держала свою чашку на весу. Когда он ее увидел, то сразу почему-то вспом-





нил про герцога Орсино, решив позже проанализировать странную ассоциацию, пользуясь фрейдовским методом изучения оных.

После первой чашки, основательной дегустации бутербродов и новой порции чая доктор неожиданно спросил:

— Господа, надеюсь, все видели последнюю газету?

— Это ту, где про сдохшего Антихриста? — усмехнулся батюшка.

— Но по радио говорилось только о болезни! — вырвалось у Романа испуганно.

— Юноша, вы же дипломированный врач. Симптомы перечисленные слышали?

— Нет, к больному позвали...

— А-а... так вы прочтите. Последний бюллетень вышел со словами «чейн-стосово дыхание». О предсмертном симптоме огласку допустят только после смерти. Там уже всю древнеримские парадные захоронения разукрашенных набальзамированных кукол готовят. А вы, батюшка, ведь не врач, так откуда ж узнали?..

— От них, вполне официально. Я был уверен, что первое сообщение о таком небывалом событии, как болезнь отца всех народов, может быть обнаружено только после фактически совершившейся кончины. Эти ублюдки, его прихлебатели, которых для виду называют правительством, побоялись бы пикнуть, не то что издать при жизни бюллетень о здоровье вождя.

— А ведь резонно, абсолютно точно... Я как-то в медицинский аспект углубился. Вот уж дал маху... Простите меня, Роман Самойлович!

Роман замахал обеими руками, а потом схватился за голову.

— Маме говорили, в Москве на запасных путях уже вагоны-теплушки стояли для отправки евреев в Биробиджанскую область. На половину еврейского населения Москвы и области. Не потому что половину собирались оставить дома, а потому что рассчитали, что половина вскоре умрет по дороге. Вот уж, как говорится, бог спас...

— От такой напасти — больше никому. Но теперь надо заигаться не меньше прежнего. Выждать. Смотреть, что будет...

Арестованных врачей освободили из заключения сразу, однако настоящее ощущение того, что потом называли по роману Ильи Эренбурга *оттепелью*, пришло только после известия о расстреле Берии. Лето было тяжелым, страну наводнили выпущенные по амнистии уголовники. Многие из них были психически больными, но проблема состояла не в том, что им нужно было обеспечить медицинскую специализированную помощь на свободе. Их неудержимо влекло к новым преступлениям, а назначать психически больным лечение по суду вместо уголовного наказания, соблюдая закон, теперь стали все больше и больше. Потребовалось увеличить для них то, что на бюрократическом языке называется *кочным фондом*. Позже стали строить специализированные психиатрические больницы в системе МВД, а пока вся тяжесть ложилась на минздравовские больницы.

Приехала в летний отпуск мама Романа. Побывала и вернулась в Москву одна. Роман отправил с ней просьбу об изменении темы в заочной аспирантуре, где он раньше числился, на другую, связанную с контингентом больных, находящихся на лечении в психиатрическом стационаре, с дополнительной просьбой назначить вторым научным руководителем профессора Левинсона. Вот это произвело фурор. Пришлось и доктору отправляться в Москву, «на раскопки», как он шутил, рассказывая об изумлении законного жильца в своем бывшем кабинете, к которому он явился с невиданной просьбой приподнять парочку паркетин. Все сладилось как нельзя лучше. А вот Маринька осталась проводить и дальше свой академический отпуск, из которого намеревалась выйти после зимней сессии. Правда, ее мама считала, что первый перерастет во второй — по беременности, а тот уже в третий — по уходу за



ребенком. Так и произошло. А тогда близкие каламбурили напропалую о романе с Романом и Романом в романе.

Он узнал о ее любимых лесных цветах, и когда они в очередной раз отправились на лесную прогулку, вдруг заторопил:

— Скорее, скорее, не успеем, увянут...

— Кто?!..

— Скорее! Бегом!

Побежали. Маринька не поспевала, запыхалась, Роман подхватил ее на руки и побежал еще быстрее. Добрались до маленькой полянки на отлогом склоне лесистого холма. Тут Роман одной рукой сдернул белую и влажную еще простыню с середины поляны, плюхнул туда Мариньку на гору незабудок, а сам стал собирать простыни с синими больничными штампами, взятыми напрокат у кастелянши, и открывать под ними озеро незабудок, накрывших всю поверхность прогаляны. Он насобирали их рано поутру, когда они начинали распускаться, вдоль ручья на дне оврага, и родители Мариньки еще долго после того называли его «наш монастырский Рюи Блаз».

В те времена молодежь умела «властвовать собою», как поучал Онегин Татьяну, и дожидалась свадьбы, чтобы в первый раз оказаться вместе в постели — была другая эпоха, другой стиль отношений. Это было нормально, иное всегда означало драму, напряженность... Марина с Романом были обычной для своего времени парой — они сперва посетили ЗАГС, выпили с семьей доставленное из Москвы «Советское шампанское», а потом отправились в Маринькину комнату начинать взрослую жизнь.

В те времена, когда даже в литературе сексуальные отношения не показывались, а только подразумевались, первой брачной ночи девушки ожидали тревожно и наивно — как щелчка ключика в дверце, ведущей в страну чудесных ощущений. Считалось, что все происходит автоматически, само собой — дивные чувственные переживания, обильность извержения из сладострастной раны... В те времена хорошим новобрачным был муж, который настолько умел *властвовать собою*, что бережно и нежно овладевал новобрачной. Большого от него не ожидалось.

Роман, как описано в старых романах, внес Марину на руках в комнату, положил на кровать и начал медленно, аккуратно раздевать — как ребенка. Раздевшись и сам, он встал на колени у постели любимой и коснулся губами ее плеч, подбородка, ямочки у ключиц и округлость груди, которую в какой-то момент скрыл под кистью руки, и в первый раз сказал те самые свои *особые* слова:

— Твоя грудь всегда будет такой, как сегодня. Это я тебе обещаю.

Она выкормила две пары близнецов, но грудь ее возвращалась к прежнему размеру, даже сосок не потерял гладкости и цвета бледно-розового продолжения нежной белой кожи полушарий.

Он ласкал губами ее шею и грудь, обводил языком округлость розовато-желтоватого соска, гладкого и невинного, до тех пор, пока тот не стал обмирать под его языком, сморщиваться пупырышками и торчащим в центре пупырышком покрупнее будто направляясь в ротик новорожденному младенцу. И он стал этим самым «младенцем», и нарушил неизвестный ему запрет иудаизма — не целовать грудь женщины, пока она не родит. Роман кружил и кружил языком округ ее соска, проводил им от округности к центру, поддевал розовый пупырышек твердым кончиком сложенного канавкой языка до тех пор, пока Маринька не застонала криком, не позвала его сама сменить муку истомы на сладость страсти, уже ставшей ей понятной, потому что она ощутила физический порыв к нему там, куда теперь его сознательно звала. Но еще до того, как он успел скользнуть на гладкость постели и вытянуться всем телом с ней рядом, Марину выгнуло легкой дугой и частыми волнами накатывающих пульсаций простучало, подбрасывая, по тем неизвестным ей прежде точкам, которые были охвачены трепетом, когда она потянула туда Романа...



А дальше в этой их семейной жизни все было более-менее обыкновенно: дважды родить для женщины было тогда обычным делом, а близняшки оба раза, хоть и редкость, но в их случае только в радость... Необычным и не вполне нормальным считалось только то, что доктор Клигер, даже после защиты докторской, не желал переезжать в родную Москву, где сперва ждала его мама с комнатой в центре, потом жена — с квартирой в прекрасном районе, да еще и разные должности в соответствии с типовой городской карьерой. Всем он отвечал одной странноватой фразой: «Мне здесь уютно». Но, может, так он срежиссировал необыкновенность супружеской жизни, которая постоянно обновлялась расстояниями и расставаниями... Он ведь и начинал выстраивать их любовь с того, что не дал завянуть незабудкам.

Отсюда он любил ездить в какие угодно далекие путешествия, в самые далекие. Они хватали детей, когда девочкам еще было четыре года, и отправлялись в походы, вошедшие в большую моду у интеллигенции. Сначала по городам, славным своей архитектурой и музеями. С уже подростками детьми отправлялись любоваться захватывающими дух видами — сплохами северного сияния, чистотой глубоководья Байкала, вершинами высокогорья Памира. И снова — музеи, памятники архитектуры... Очень часто он бывал в Москве, которую любил и которой радовался в каждый приезд так, будто это был первый и последний раз одновременно.

Это было странно в нем: без внешней экзальтации он каждый миг жизни проживал так, будто тот был последним, завершающим, решающим. С раннего детства он знал, что молодая цветущая жизнь может быть прервана внезапно — как сорванное с гвоздя пальто останется с разодранной подкладкой там, где была аккуратно вшитая прочная вешалка. У него на глазах бросился в лестничный пролет черного хода отец, когда за ним пришли. Маму могли сначала забрать, потому что жен «врагов народа» тоже арестовывали, а позже — убить на войне, которую она от начала до конца провела хирургом в военно-полевом госпитале. А его самого могли бы отдать в детдом, где он бы пропал, если бы не бабушка с дедушкой и нелегкий дальний путь с ними на восток. Вскоре после долгожданной победы начался в прессе волчий вой о безродных космополитах, а еще через пять лет наступил январь пятьдесят третьего...

И Роман стал оптимистом. Он повторял: худшее позади, и это было правдой. Он кланялся судьбе, которая сберегла его, когда многим в таком же положении выпадала иная доля. Он знал, что дважды проснуться в зачарованном замке невозможно, потому лелеял триединое чудо, случившееся с ним, как место спасения жизни, обретения высокого и духовного ее содержания в новой профессии и всепоглощающей любви. Только одно его держало в постоянном напряжении: он был убежден, что надо быть всегда готовым к внезапной смерти. Жизнь полна ситуаций, чреватых внезапностью смерти, от навязшего в зубах кирпича с крыши до стремительного развития инфаркта миокарда. Собственно, тут ничего худого нет, жизни положено кончиться, когда выполнены дела земные и познаны земные радости, потому он и стремился наполнить жизнь делами и впечатлениями. Важна, говорил он, постоянная моральная готовность. У него она выражалась в том, что он старался всегда быть искренним в поступках и предельно честным перед самим собой.

Эта внутренняя честность порой доходила до абсурдной крайности. Роман вдруг стал вегетарианцем. Марина для упрощения кухонного хозяйства за ним последовала, а для детей отдельно готовила московская няня. Как-то приезжая практикантка стала допытывать его расспросами:

— Роман Семенович, почему вы вегетарианец? Вы мясо не едите из соображений пищевой гигиены — так полезнее для здоровья?

— Нет, — отвечал новый главврач, — я не ем мяса, потому что я психопат.

— Ну-у... может, вы это делаете из моральных соображений, чтобы не быть причастным к убийству животных на потребу людей?



— Да нет, я же вам сказал, просто я психопат, никаких других причин у меня нет.

— А может, — не унималась назойливая девица, — вы делаете это из религиозных соображений, буддизма, например. Или вы...

Договорить ей не удалось — Роман вышел из себя. Он почти кричал скрипучим и тянучим голосом:

— Но я же вам сказал: я не ем мяса, потому что я психопат-а-а-а!

Однажды Маринька долго не приезжала в монастырь, работы было у обоих много — статей, которые надо было дописать, проверок начальства, которому требовалось что-то показать и доказать, другой мороки... Месяца полтора они не виделись, а на станции, где они когда-то познакомились, он вошел в купе взять ее чемодан и встретил ее сопротивление:

— Спасибо, отпустите, меня муж встречает!

В бороде и новом дубленом кожухе она его еще не видела. Потом хохотала:

— Надеюсь, коллега, это у вас приват-доцентская борода, а не фрейдовская. Вы тут на отшибе, надеюсь, психоанализом втихаря не балуетесь?.. Не всякой моде подражать следует, не забывайте, вы не на Диком Западе и не на Ближнем Востоке!.. — после чего каждому новому знакомому он непременно говорил:

— Борода у меня приват-доцентская, с фрейдовской не перепутайте.

С Фрейдом у него были сложные отношения. Сперва восторги открытия запретного плода, увлечение толкованиями сновидений, которые старался теперь запоминать, расшифровки оговорок, описок, своих и чужих. Тогда же он понял сам и рассказал Мариньке, почему во время второй их встречи вспомнил о герцоге Орсино.

Любимейшей его пьесой всегда была «Двенадцатая ночь» — о спасении от гибельного кораблекрушения и чудесном соединении влюбленных, чья любовь была истинной, жертвенной и преданной. Образцом такого чувства была девушка по имени Виола, которая ради любимого представляла перед объектом его любви, переодеваясь в него самого, чтобы добиваться его счастья, каковое он видел только в браке с красавицей Оливией. Виола, переодевшаяся юношей, любила герцога Орсино. Это имя маняще благозвучно, оно будит воображение, потому что это имя не мужчины в латах и шпорах, каким он известен по постановкам пьесы, а будто имя преданной девушки, певшей серенады для другой, ради любимого покорявшей жаркими речами ту самую другую...

Маринька тогда сидела в своей излюбленной позе на диване. Свет оранжевого абажура делал ее волосы темно-медными, как на полотнах Рембрандта. На ней была персикового цвета и тончайшего шелка блузка с жабо и воланами вдоль пуговичек и на запястьях. В обрамлении потертой кожи дивана она казалась переодетой в юношу девушкой из давнего времени...

С тех пор блузку она берегла и надевала ее только на «Орсино-фестивали», как на особом внутрисемейном языке назывались годовщины этого дня, совпадавшие с годовщиной официально объявленной смерти Сталина...

Переждав период первых восторгов и изумлений Романа, Михаил Владимирович стал понемногу делиться с ним возможностями, которые может дать методика психоанализа.

— Для начала, — сказал он, — посмотрите, на каком основании выстраиваются там суждения о структуре психики человека. Это дневниковые записи самонаблюдения всего нескольких человек. Если бы они были репрезентативны, то могли бы представлять анатомию душевной жизни в *норме*... Метод Фрейда только с виду похож на то, как исследователи человеческого тела разрабатывали учение об анатомии здорового человека. Прятавшийся от закона средневековый анатом мог опираться на опыт вскрытия других млекопитающих, особенно домашних животных. Еврейский резник, например, обязан был обладать обширнейшими познаниями о



разных болезнях: для пищи людей разрешалось брать только мясо абсолютно здорового животного, умерщвленного кошерным способом. Этому резник тоже был обучен, он умел проводить операцию так, чтобы животное умирало мгновенно, без мучений — страдание приравнялось к болезни... Заметьте, наши больные, сравнивая свои страдания с физическими, считают душевные более тяжкими. Наверняка существуют телесные признаки душевного страдания, которые не видит патологоанатом даже в микроскоп. Надеюсь, вы доживете до дней, когда будут делать биохимические анализы для диагностики психических заболеваний, примерно так, как мы сегодня назначаем анализ крови на сахар при подозрении на диабет.

— Неужели вы исключаете психологический компонент в заболеваниях психики?

— Это было бы логически невозможно, даже лексически. Психология — наша «нормальная анатомия». Но не забывайте, что есть две болезни в психиатрии, которые даже патологоанатомы упоминают в протоколе вскрытия в качестве непосредственных причин смерти: белая горячка и токсическая шизофрения — спасибо Блейлеру, давшему в девятьсот двенадцатом году определение систематизированным и многочисленным описаниям шизофрении. До сих пор остаются неисследованными заболевания, которые не проявляются анатомически при вскрытии и подтверждаются лишь записями врача-психиатра в истории болезни — о поведении больного, о его словах и ощущениях; но когда-нибудь у нас получится находить и материальные подтверждения такого диагноза.

— Но это все внешние признаки, а Фрейд раскрывает глубокие внутренние пружины, управляющие поведением человека. Или хотя бы его мыслями, представлениями...

— Читать Фрейда увлекательно, я согласен. Он ведь так убедителен... И так интересна игра в разгадки — оговорок, недомолвок, снов и шуток. Но, во-первых, увлекателен — не значит бесспорен. А во-вторых, вообразите себя на месте пациента, которому, так сказать, с наилучшими целями выворачивают душу наизнанку. Подумайте о своей источенной боли и мягкой, как пух, как мех соболя, бессмертной душе. С изнанки этот содранный с освеженного красавца-зверька мех выглядит кровоточащим и слизким переплетением кожных сосудов и нервов, за которые экспериментирующий над вами знаток дергает — как вы на занятиях в кабинете физиологии прикладывали электроды к различным точкам мозга лягушки, чтобы определить, отчего дергаются лапки. «Это не я, — захотите вы сказать, — это не мое истинное лицо! Правильно лишь то, что из всего этого выросло: моя нежная и теплая сущность!» Я утрирую, на самом деле все происходит гуманнее. И хитрее. Пациент тоже увлекается процессом, расслабившись на кушетке. Но для лечебных целей в настоящей большой психиатрии это, увы, непригодно. Потому что *психологизирование* патологических проявлений способно увести вас от непосредственной задачи лечения, этим дорого и неперспективно заниматься. Не говоря уже о том, что при пограничных состояниях это не лечение, а обычная тягомотина. А нам сейчас нужны лекарства, нужна такая же революция, как открытие пенициллина. До этого я надеюсь дожить...

— Но ведь нам известно, что увлечение Фрейдом у зарубежных психиатров не ослабло...

— Там в ходу другое — например, психологическое консультирование. Один мой товарищ в двадцатые годы мечтал о развитии сети психологических консультаций — в таком же объеме, как и гинекологических. Он был убежден, что современному человеку, которого наука, а у нас и власть, лишили бога и священника (наш отец Афанасий не в счет), необходима заместительная фигура, которой можно безопасно исповедоваться, открывая душу вплоть до катарсиса, и откуда получать морально-психологическую поддержку и нужную жизненную ориентацию. Но когда запахло этой бесконтрольной ориентацией, сочли достаточной другую заместитель-



ную фигуру — профорга. Не говоря уж о безопасной исповеди — это при такой-то налаженной структуре доносительства... Так что будьте предельно осторожны — и чисто профессионально, чтобы не запустить больного, когда можно было бы пролечить доступными нам средствами, и формально: Фрейд у них персона нон грата, не забывайте.

После таких разговоров Роман отложил Фрейда и начал обдумывать методики для проверки памяти. Сначала он проверял свои методики на добровольцах, только потом переключившись на нарушения памяти у пожилых обитателей стационара. Постепенно набрался материал, после чего были сделаны выводы в его кандидатской диссертации: нарушения памяти в старческом возрасте связаны с нарушением процесса концентрации внимания, а не фатального склероза.

За кандидатской последовала докторская, потребовавшая еще больше времени. Тут Роман оказался вообще пионером, впервые у нас применив так называемую арттерапию, лечение изобразительным искусством. Больные рисовали; это был для них катарсис, предельная разрядка эмоций, а для врача — подручное средство в диагностике и определении подходов к лечению.

Приезжали журналисты. Одна недоверчивая молодая особа потребовала доказательств того, что рисунок человека действительно может что-то сказать о нем. Роман пожал плечами, достал чистый лист писчей бумаги и предложил неверующей нарисовать себя — как угодно схематично, только быстро. Та бодро схватила ручку и изобразила от края до края страницы круглую голову с большими глазами и невыразительным ртом-полоской, к которым прилепила узенький овалчик меленького тельца и спичечки рук и ног. Роман не стал поворачивать к себе листок бумаги, наоборот, подвинул к ней и сказал:

— Вот так вы себя видите, не так ли?.. Если бы остались здесь на месяц в группе психотерапии, могли бы узнать о себе что-то еще...

Удивительно, но по совокупности, как говорится, всех причин и обстоятельств Роман был утвержден в должности главного врача монастырской больницы. В духе тогдашнего времени было типовое распределение ролей: главврачом психиатрической больницы мог работать русский доктор, а при нем пресловутым «ученым евреем при губернаторе» находился заместитель главного врача по лечебной части. В Москве это правило было почти обязательным, но в провинции стереотип поведения властей был чудесным образом нарушен.

Конечно, у Романа и Мариньки, занявшейся изучением психиатрии, всегда были в изобилии темы для профессионального обсуждения. Известно, что психиатры чаще женятся, так сказать, внутри профессии, на психиатрах и медицинских психологах, в интуитивном стремлении к полноте взаимопонимания и общения. Дела больницы, где она выросла, всегда были у Марины на первом месте. Она давно перестала огорчаться отсутствию у мужа карьерных устремлений, наслаждалась возвращением в детскую атмосферу обсуждения больничных вопросов в роли взрослой — к тому, о чем часто мечтают в детстве, осознанно или неосознанно.

Порою Роман огорчался, признаваясь в своем бессилии изменить что-либо, сомневаясь, нужно ли вообще менять то, что было ему не по душе. В какой-то момент, например, все врачи для него оказались племенем младым и незнакомым. Они исправно работали, постигали профессию, собирали материал для кандидатских диссертаций, но это было другое поколение, которое вело себя совсем иначе даже в быту. Однажды он сказал Мариньке, что врачи, живущие на территории больницы, теперь собираются вечерами после работы и напиваются перед выходными чуть не до беспамятства, признав, что он не имеет права им в этом препятствовать, поскольку понимает, как тяжела их нагрузка и как велико нервное напряжение, раз теперь им приходится вести огромные палаты и отделения на шестьдесят коек. Он понимал, что нужно им снять напряжение, расслабиться после тяжелой и опасной работы, непонятной никому, кроме посвященных... В ответ на его признание Марина, как ни

странно, добавила: были в Москве какие-то семейные гости со своей младой порослью, физиком из подмосковного научного городка. Тот рассказывал Мариньке, пока старики распивали чай с пирожными, что у них завелся в городке ученых такой обычай: каждую пятницу-субботу они собираются у кого-нибудь и пьют водку, пьют до полного безобразия и хулиганства, каковым однажды случилось выбрасывание мебели из окна восьмого этажа. Естественно, не обошлось без вмешательства милиции. Когда Марина спросила физика, почему они так сильно пьют, тот призадумался, а потом ответил с абсолютной убежденностью в точности своего ответа: «Просто раньше было поколение физиков, которые не пили, а сейчас работает поколение физиков, которые пьют».

Когда началась перестройка, сокурсники Романа назвали его в открытую ими хозрасчетную клинику, и он приезжал на несколько дней в месяц для консультаций в качестве заезжего светила. Дети давно уже перебрались в свободный мир: сыновья обосновались в Америке, дочери со своими религиозными мужьями — в Иерусалиме. Начались встречи с родными и поездки через рубеж, некогда непреодолимый. Они с Мариной разделились на эти первые выезды: она с родителями полетела в США, Роман — в Тель-Авив.

Роман после объезда Иерусалима и блужданий по Старому городу сказал жене в телефонную трубку:

— Теперь я все это видел! Теперь я видел, где все начиналось, теперь можно и умереть.

Маринька поняла его, но постаралась поскорее увести разговор в практическое русло: сыновья настаивали на оформлении для бабушки и дедушки статуса беженцев из тоталитарного государства, стремясь получить для них тот уровень медицинского обеспечения, который в Москве был недостижим даже с академическими связями. А маму и папу они настоятельно просили после возвращения начать оформлять документы на отъезд, но не по гостевому вызову, а навсегда.

Роман вяло соглашался и рассказывал, что его везут завтра на Мертвое море, а потом... Да-да, он понял, но об этом после... Он искренне надеялся оказаться в монастыре в изоляции, в стороне от всех разрушительных процессов, которыми, как считали дети, чревата нынешняя пресловутая перестройка, ведь монастырь уже был для него островком спасения в тяжелейшие годы тирании, а сейчас грядет что-то непостижимо новое и либеральное. В Москве он виделся с Игорем Семеновичем Коном, а когда завел разговор о происходящем вокруг и перспективах, тот оглянулся на стены, потом отвел Романа в коридор и там с придыханием выпалил:

— Я думаю, может даже быть де-е-мо-крати-я! — и быстренько закрыл за посетителем дверь.

Сыновья именно этого и боялись. Родителей они считали неприспособленными к меняющейся жизни, узнав от матери, как нажились ловкие папины однокашники, платившие консультанту Клигеру больше уважением, чем адекватным заработком. Роман не обиделся, но и не загорелся от перспективы получения им *лиценсы* — американской лицензии для врачебной практики в каком-нибудь штате, поближе к месту, где обосновались сыновья, открывшие частный врачебный кабинет и продолжавшие, как настаивали отец и дед, работу в стационаре, «чтобы постоянно ощущать большую психиатрию на кончиках пальцев». Выслушав все предложения, Роман сказал Мариньке:

— Обсудим дома, — и улетел домой.

Она через два дня тоже села в самолет на Москву. Прилетела ночью, с монастырем связаться по телефону не удалось, отправилась утром на работу. Вместо заокеанских впечатлений ее там стали расспрашивать о больном дромоманией, патологической тягой к странствиям, которого Роман лечил не так давно, год или два назад.

Больного тогда сняли с поезда в их городе, поэтому он попал на освидетельствование и остался для лечения в монастырской больнице. Он не помнил своего имени



и того, где жил когда-то. Он знал только, что всегда хотел путешествовать; сейчас, из-за холодов, он передвигался на поездах, а летом будет передвигаться на своих двоих.

Та самая революция, о которой мечтал старый доктор Левинсон, к тому времени уже произошла: у психиатров был целый арсенал противопсихотических лекарственных средств; в России при этом больше использовали те, что производились в ГДР или Венгрии.

Больного пролечили. Он рассказал, что начал путешествие из своего московского дома, и четко помнил, что как раз ехал в Москву, когда доктор Клигер вмешался в его жизнь и задержал продвижение по назначенному маршруту. Компьютерных баз данных тогда еще не было. Пока кормили больного лекарствами и уговаривали разными методами вспомнить имя-фамилию, пока списывались с московскими психоневрологическими диспансерами, психиатрическими больницами и органами милиции, которые могли иметь отпечатки пальцев больного, пока устанавливали его личность, он, вспомнивший цель своих блужданий, начал чуть ли не скандировать, будто одна из чеховских «Трех сестер»:

— В Москву. Хочу в Москву! В Москву!

Его данные нашлись в архиве столичной клиники, где он лежал раньше и куда отправился с нарочным. О нем скоро забыли, не забыл только он сам. Когда курс лечения в клинике был закончен, его отправили на поправку в дневной стационар. В стационар больные приходили утром, принимали здесь лекарства, занимались трудотерапией, вечером уходя домой.

Таким же пациентом дневного стационара был герой публикации в «Медицинской газете». Однажды он сбежал со своего лечебно-трудового места в мастерской московского психоневрологического диспансера, объявился дома, схватил нож и крикнул матери: «Сначала зарежу врача, а вернусь — тебя!»

Газета (вышла она, как и та, первая роковая, тринадцатого января, только тридцать пять лет спустя) опубликовала материал, чтобы напомнить о том, какая это опасная для врача область медицины — психиатрия, и умерить пыл не слишком добросовестных журналистов, в погоне за сенсацией нарушавших принцип врачебной тайны и называвших подлинные имена людей, пострадавших от якобы незаконно и неоправданно навязанного им лечения. А начиналась статья провидческими, как оказалось, словами: «Может быть, после выхода этого материала в чьем-то помраченном сознании возникнет нелепая мысль...»

Дальнейшие события Марина Моисеевна восстанавливала так, как следователь реконструирует последовательность действий преступника. Она не видела всего произошедшего, но знала, что все было именно так.

Больной услышал в дневном стационаре разговор медсестер, одна из которых когда-то работала с убитым во время приема врачом — жертвой из той публикации. Потом бывший больной монастырской больницы по дороге из стационара услышал из открытой форточки песню Галича:

А как приняли по первой первача,  
Тут братана прямо бросило в тоску.  
Говорит, что он зарежет главврача,  
Что тот, сука, не пустил его в Москву!

Потом вокзал, за ним другой, третий... Нигде он не брал билета, нигде не попался контролеру; питался тем, что подбрасывала станционная буфетчица, пил из водоразборной колонки. Везде ему везло, каждый его шаг оказывался на редкость удачен. Его не остановили ни в воротах монастырской больницы, через которые он проскользнул вместе с въезжавшим продовольственным фургоном, ни на территории, где он казался совсем своим, здешним, ни около больничной кухни, где безумный гость стащил хлебный нож.



Роман лежал на старом кожаном диване, рассматривая фотографию, привезенную им из последнего путешествия. Маринька знала, именно на это фото он глядел перед вылетом, когда в последний раз говорил с ней. Он тогда неожиданно сказал:

— Знаешь, где я хотел бы умереть? Раньше я думал, что только у нас, в монастыре, на нашем диване Орсино... А теперь добавилось еще одно место, но оно требует сочетания некоторых деталей: в ночь, в полнолуние, в Иерусалиме...

Она никогда не считала подобные разговоры болезненными — обсуждают же люди завещание и распределение своего имущества после смерти.

Роман умер сразу, от первой раны, без мучений. Он посмотрел в глаза своему убийце и за последний отпущенный миг успел не просто ощутить счастье, но и продемонстрировать его больному. И тот, вместо того чтобы бросить окровавленный нож и благополучно скрыться, как несомненно поступил бы, будь он по-прежнему одержим своей манией, продолжал, бешено мстя за свое мгновенное излечение, за то что теперь он всю оставшуюся жизнь должен будет видеть этот взгляд, наносить удары по телу, которое уже не способно было отозваться...

Когда Романа нашли, рот его был приоткрыт, и дочери уверяли, что он успел сказать, как научили зятя, перед кончиной короткую, на шесть слов, молитву «Шма».



Дмитрий СЕВЕРОВ

## ВОДА НЕ БЫВАЕТ ПУСТОЙ

### ВНУТРЕННЕ УТРО

Что я любил до слепоты?  
Что ожидал как праздник?  
Среди деревьев и воды  
Я находил прекрасный  
Покой в природной правоте.  
Всё хорошо, покуда  
И свет, и отблеск на воде,  
И внутреннее утро,  
И ясный день, и ночь, тиха,  
Как мир без войн и смерти.

Поэтому я жив пока  
На этом белом свете.

\* \* \*

*А.В.*

Давай станем рыбами.  
Рифмовать тишину с тишиной,  
бить  
плавниками  
о волны  
волнующе, вольно,  
чтобы в порывистом оре  
своей толщиной  
нас накрывало,  
морщинась, огромное море.

Давай станем ры... —  
...скать по дну  
нервно  
ртами открытыми.  
Мы будем молчать, говоря.  
Как всегда, как сейчас...

Мы с тобою всего лишь  
 станем хорошими рыбами,  
 раз людьми стать хорошими —  
 наш неудавшийся шанс.

Давай станем... —  
 я  
 стал поуже  
 уже;  
 и кожа — чешуйчатей;  
 соединённое —  
 ноги;  
 И толще на пальцах моих перепонки;  
 ушей  
 больше нет;  
 только жабры на шее исчезнувшей —  
 тонки...

Давай... —  
 всё равно нас поймают.  
 Так лучше уж — рыбами  
 мы не скажем с тобой ничего тем глухим рыбакам.  
 Какой-то весной  
 они справятся  
 с нашей  
 придурью:  
 за хвост и —  
 о борт головой,  
 вёслами —  
 по бокам.

Давай станем рыбами...  
 Давай станем рыба...  
 Давай станем ры...  
 Давай станем...  
 Да...

### КОЙЯНИСКАЦИ

мой лучший товарищ однажды утром расцвёл акацией.  
 я в поисках самого себя перепутал все в мире кассы и станции.  
 ноги мои ходили песком на Гавайях, слушали волн рассказы,  
 а пальцы рук в это время в Ницце по клавиатуре клацали,  
 а руки лежали в музее Лондона, сто лет назад разобщённые с пальцами.  
 а рот мой широко был открыт на какой-то известной картине Пикассо,  
 и к нему, словно к обычному рту, запрещено прикасаться.  
 в странах Азии кто-то меняет, насупившись, дислокации,  
 и не замечает, что ничего не меняется, если менять декорации.  
 я где-то вдали сейчас жёлтым свитером на теле австрийца скатываюсь  
 и думаю, пришлось ли мне кем-то за всю мою жизнь исцаться.  
 я слышу, как под землёй на земле китаец спросил китайца:  
 «What did you say about missis Hudson?»  
 и я понимаю, что мне не надо скитаться.  
 всё хорошо. просто койянискаци.

## ВОРОБЬИ

добрый путник, незнания страх  
тебя сотрясает навряд, но  
наше знание о воробьях  
превратно.

*у воробьёв  
нет домов.*

*нет у них  
ничего,  
ничего.*

чев-чево  
чев-чево  
чев-чево

добрый путник, постой,  
нет.  
есть у них молодой  
поэт.

он не пьёт ничего  
и не ест.  
нет друзей у него  
и невест.

и не пишет он ничего.

чев-чево  
чев-чево  
чев-чево

сел на землю один  
воробей,  
серый он господин  
на ней,  
маленький,  
половина  
вершка.  
и не видно, на  
крылышках  
как  
сидит молодой поэт.  
не морщинист ещё и не сед.  
не морщинист, не сед уже.  
всё, что было душой,  
в неглиже.

воробей невесомей стишка.  
маленький,  
половина вершка.  
сел испить он сейчас  
воды,

распустившуюся  
как цветы.

миг — и тут же  
отправится ввысь.

а поэт  
этот был не допет.  
песни лучшие  
не удались  
и не спелись.

ты помолись,  
добрый путник, о нём, о нём.  
был как прутик  
он вдохновлён  
этой вешней талой водой.  
полугорькой, полусвятой.

через город и через лес  
донести его до небес  
ты, воробей, успей,  
пей, воробей, пей.

и ни ветра, ни дождичка нет,  
потому что на крыльях поэт.  
и не сдунуть его, и опять  
как при жизни его не помять,  
как при жизни его не понять,  
но у жизни уже не отнять.

и летят воробьи, воробьи!  
а на них, то в огне, то в крови,  
то как замершие невпопад,  
молодые поэты летят.

\* \* \*

не зовите пустое водой  
вода не бывает пустой

жизнь и смерть в этой жидкости есть  
можно в ней утонуть и расцвести

вот об этом дрожат плавники  
и синеют утопленники

и верблюды в пустыне хрипят  
моряки на плотине не спят

слишком часто уж тонут суда  
чтоб пустому дать имя вода

и слова мои словно цветы  
стоят во мне полном воды

Александр КИСЕЛЬНИКОВ

## НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (1985—2011 гг.): ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННОГО

Главы из книги

### I. «ПЕРЕСТРОЙКА»: ГОРБАЧЕВСКИЙ ПЕРИОД

*«Премьерами становятся не для  
того, чтобы разваливать империи».*

**У. Черчилль**

#### Ситуация к 1985 году

К началу 1985 года социально-экономическая и политическая ситуация в СССР оставалась стабильной. Ощущения приближающегося краха великой социалистической державы не было. Но зрело понимание того, что наметившаяся устойчивая тенденция падения темпов экономического роста, если ее не переломить, неизбежно приведет инерционную экономику Советского Союза сначала в режим простого, а затем суженного воспроизводства — со всеми вытекающими последствиями.

Стабильность, которую журналисты окрестили «эпохой застоя», уже более 10 лет удавалось поддерживать за счет наращивания экспорта нефти и газа, благодаря росту их добычи в Западной Сибири и исключительно благоприятной конъюнктуре цен мирового рынка.

Реальные отношения собственности тормозили научно-технический прогресс — основу всякого иного прогресса в обществе. Производственный аппарат в СССР устарел технологически, физически, структурно, экономически. Производство не развивалось, вложения в него сокращались. Массовую безработицу удавалось предотвращать только искусственным поддержанием избыточной занятости с присутствием ей уравниловкой в оплате труда, падением дисциплины и торможением инициативы. Шло скрытое повышение цен, усиливался дефицит товаров, обострялись другие социальные и экономические проблемы.

В обществе созрела потребность в проведении реформ, правда, без подрыва устоев: целостность СССР в этот период даже не обсуждалась и не подвергалась сомнению, социалистическая модель тоже — предполагалось ее только усовершенствовать, модернизировать. Большие надежды возлагались на субъективный фактор — замену «геронтократов» на более молодых и дееспособных, дискредитировавшего себя номенклатурного слоя с привилегиями — на более демократический слой управленцев. Коротко говоря, от реформ общество ожидало улучшения дел в экономике и социальной справедливости.

Последовавшее под лозунгом «перестройки» стремительное разрушение всех основ, положенных в создание Советского Союза, никто предвидеть не мог. Как показало дальнейшее развитие событий, у инициатора «перестройки» не было никакого стратегического плана реформ. Зато было много ни на чем не основанных иллюзий об «общечеловеческих ценностях», «общечеловеческом мышлении» и что «Запад нам поможет».

## Демонтаж политической и экономической системы СССР\*

### Хронология некоторых политических событий

#### 1985 год

10.03.85 — смерть К. У. Черненко.

11.03.85 — внеочередной Пленум ЦК КПСС единогласно избирает Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева.

11.06.85 — совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса. С докладом «Коренный вопрос экономической политики партии» выступил М. Горбачев.

17.10.85 — М. Горбачев на заседании Политбюро предложил «решение по Афганистану», из которого вытекала необходимость ухода СССР из Афганистана.

#### 1986 год

25.02.86 — 01.03.86 — работа XXVII съезда КПСС. Принята новая редакция Программы партии (курс на строительство коммунизма) и Устав партии.

26.04.86 — произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

28.08.86 — либерализован въезд в СССР и выезд по частным делам.

15.11.86 — принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», согласно которому разрешена частная деятельность и создание кооперативов в нескольких видах производства и услуг.

#### 1987 год

Январь 1987 — усиление инфляции. Начало возрождения кооперативов (фактически — предпринимательства). Рост неформальных движений под лозунгом защиты перестройки и защиты экологии. Начало раскрытия «белых пятен» истории, пробуждение исторического сознания.

27.01.87 — январский Пленум ЦК КПСС, на котором было принято решение о демократизации общества, гласности и намечены пути реформирования партии. Заявлено, что надо решительно отказаться от несвойственных партийным органам управленческих функций, стремления решать вопросы за других, подменять советские органы, хозяйственные и общественные организации.

30.06.87 — принят Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», направленный на усиление хозрасчета, экономических методов управления, расширение демократических основ (выборность руководителей предприятий).

17.07.87 — ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли пакет постановлений: «О перестройке планирования и повышении качества работы Госплана СССР в новых условиях хозяйствования»;

«Об основных направлениях перестройки системы ценообразования в условиях нового хозяйственного механизма»;

«О перестройке материально-технического обеспечения в деятельности Госнаба СССР в новых условиях хозяйствования» и др.

#### 1988 год

12.02.88 — начало митингов в НКАО за воссоединение с Арменией, эскалация Карабахского конфликта.

29.07.88 — Пленум ЦК КПСС по докладу М. Горбачева принял программу реализации политической реформы.

Декабрь, 1988 — Б. Ельцин возглавляет демократическую оппозицию.

02.12.88 — государственным предприятиям и кооперативам разрешено заключать контракты с инофирмами без посредничества внешнеторговых организаций.

02.12.88 — лидеры двух сверхдержав М. Горбачев и Д. Буш при встрече на Мальте официально сообщили миру, что «холодная война» закончилась.

07.12.88 — выступление М. Горбачева в ООН с программой ослабления противостояния (конверсия, отказ от милитаризованной экономики, одностороннее

\* Современная политическая история России. Т. 1. Хроника и аналитика (1985—1998 гг.). — М.: РАУ-Корпорация, 1999.

масштабное сокращение вооружений, прекращение глушения западных радиостанций).

07.12.88 — землетрясение в Армении (10,5 балла в эпицентре), погибло 24 тыс. человек, более 500 тыс. человек лишились крова.

31.12.88 — Генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев выступил с новогодним обращением к советскому народу, в котором отметил, что показатели 1988 года (национальный доход, производительность труда, производство товаров и услуг) были лучше, чем в предыдущем году.

### 1989 год

Январь, 1989 — начало политического и экономического кризиса, резкое падение темпов экономического роста, усиление развала потребительского рынка. Введение ограничений на вывоз товаров из регионов и талонной системы. Рост забастовочного движения.

15.02.89 — завершился вывод советских войск из Афганистана.

Апрель, 1989 — вывод 50 тыс. советских военнослужащих из ГДР и Чехословакии.

15.05.89 — провозглашение суверенитета Литовской ССР.

25.05.89 — 31.05.89 — Первый съезд народных депутатов СССР. М. Горбачев избран Председателем Верховного Совета СССР.

Июль, 1989 — массовые забастовки в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

09.12.89 — Пленум ЦК КПСС одобрил программу перехода к рынку Л. И. Абалкина под жестким контролем государства, предусматривавшую разработку 13-го пятилетнего плана.

20.12.89 — Второй съезд народных депутатов СССР принял постановление о мерах по оздоровлению экономики, этапах реформы и принципиальных подходах к разработке 13-го пятилетнего плана.

### 1990 год

Январь, 1990 — начало распада СССР («парад суверенитетов»).

Разработка проекта рыночной реформы группой Л. И. Абалкина и альтернативного проекта «500 дней» группой Г. А. Явлинского.

12.03.90 — Третий съезд народных депутатов СССР учредил пост Президента СССР, внес соответствующие изменения и дополнения в Конституцию СССР. Первым Президентом СССР избран М. С. Горбачев.

12.06.90 — Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР («за» — 907, «против» — 13, воздержавшихся — 9).

22.07.90 — СМ СССР отменил ограничения на продажу алкогольных напитков.

15—16.07.90 — Б. Н. Ельцин во время поездки в Казань выдвинул лозунг: «Берите самостоятельности столько, сколько сможете переварить».

3.10.90 — завершился процесс уступок М. Горбачева в вопросе объединения Германии, 3 октября объединение Германии стало свершившимся фактом.

25.09.90 — ВС СССР вручил особые полномочия М. Горбачеву, несмотря на протесты ВС РСФСР.

27.09.90 — принята Декларация о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия).

Октябрь, 1990 — провозглашение государственного суверенитета Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Мари, Казахстана, Киргизии.

27.11.90 — 15.12.90 — Второй съезд народных депутатов РСФСР.

Ноябрь, 1990 — ВС Чечено-Ингушской Республики принял Декларацию о государственном суверенитете.

24.12.90 — Четвертый съезд народных депутатов СССР принял постановление «О сохранении Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик».

24.12.90 — принят Закон РСФСР о собственности, в котором узаконена частная собственность (в т. ч. на землю), введено понятие муниципальной собственности.

26.12.90 — в 1991 г. СССР вступил без плана и бюджета.



## 1991 год

Январь, 1991 — распад СССР, восстановление Российского государства.

08.01.91 — М. Горбачев и Б. Ельцин подписали временное экономическое соглашение, согласно которому РСФСР должна перечислить в союзный бюджет 23,4 млрд. руб., намного меньше, чем прежде.

17.03.91 — Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Приняло участие 80 % из внесенных в списки для голосования, 76 % высказалось за сохранение Союза, в РСФСР приняло участие 75,4 % и высказалось за 71 %, на Украине — 83 % и 70 %, в Белоруссии — 83 % и 83 %, Узбекистане — 95 % и 93 %, в Казахстане — 89 % и 94 %, Азербайджане — 75 % и 93 %, Киргизстане — 93 % и 94 %, Таджикистане — 94 % и 96 %, Туркмении — 97,7 % и 98 %.

Власти Грузии, Литвы, Молдавии, Армении, Эстонии воспрепятствовали проведению референдума на территории своих республик.

04.04.91 — Третий съезд народных депутатов РСФСР наделил Председателя ВС РСФСР Б. Ельцина особыми полномочиями.

24.04.91 — начало так называемого «новоогаревского процесса» — встреча М. Горбачева с руководителями девяти союзных республик.

17.06.91 — выступая в ВС СССР, председатель КГБ Крючков разоблачил перестроечные реформы как заговор ЦРУ, проводимый через «агентов влияния», и прямо указал, что «если не будут приняты чрезвычайные меры, наша страна прекратит свое существование».

28.06.91 — официально распущены Совет Экономической Взаимопомощи и Организация Варшавского Договора.

06.07.91 — Верховный Совет принял Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР».

10—17.07.91 — состоялся V Съезд народных депутатов РСФСР (I этап). Б. Ельцин вступил в должность первого Президента России.

20.07.91 — М. Горбачев принял предложение Б. Ельцина установить однональную систему перечисления налогов России в союзный бюджет. Объявлено, что проект Союзного договора согласован и практически готов к подписанию.

19.08.91 — ТАСС сообщил о создании ГКЧП в составе 8 человек.

На 20 августа была назначена церемония подписания нового Союзного договора.

21—22.08.91 — победа группировки Б. Ельцина. Арест членов ГКЧП.

23.08.91 — опечатано здание ЦК КПСС. На сессии Верховного Совета РФ Б. Ельцин подписал указ о роспуске КП РФ.

Верховный Совет Украины принял Акт государственной независимости.

Над Кремлем поднят трехцветный российский флаг.

25.08.91 — Белоруссия провозгласила независимость.

05.09.91 — фактический самороспуск Пятого съезда народных депутатов СССР. Образован Государственный Совет, состоящий из высших должностных лиц республик и Президента СССР.

06.11.91 — указом президента Ельцина деятельность КПСС и компартии РСФСР на территории России прекращена, ее организационные структуры распущены, а имущество национализировано.

08.12.91 — Беловежское соглашение, подписано Б. Н. Ельциным, Л. М. Кравчуком, С. С. Шушкевичем.

23.12.91 — СССР перестал быть членом ООН. Его место заняла Российская Федерация.

25.12.91 — Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий президента, а также главнокомандующего Вооруженными силами и передал право на применение ядерного оружия Президенту России Ельцину.

В Кремле спущен Государственный флаг СССР, который заменили трехцветным флагом России.

26.12.91 — последнее заседание Совета Республик ВС СССР, на котором принята формальная Декларация о прекращении существования СССР.

29.12.91 — из выступления Ельцина по телевидению: «Нам предстоит создать основы новой жизни. Говорил не раз и еще хочу повторить: нам будет трудно, но этот период не будет длинным. Речь идет о 6—8 месяцах».

## Аналитический комментарий

1985 год был переломным в непродолжительной, но яркой истории Советского Союза. И дело не только в политических силах и конкретных персоналиях, которые вышли на поверхность и оформили распад и ликвидацию Советского государства. Это могло произойти только при наличии очень веских объективных причин.

Как уже отмечалось в начале главы, система отношений собственности и сложившаяся политическая система отторгали все нововведения. Попытки планировать и управлять из одного центра огромным народным хозяйством на огромной территории все ощутимее давали сбои. По официальным оценкам, номенклатура товаров и услуг измерялась уже миллионами единиц. Обеспечить в реальном режиме времени сбалансированное развитие страны было невозможно. Следовательно, переход к иной модели управления, где основную роль играли бы объективные экономические законы и регуляторы, был необходим. Варшавский Договор и СЭВ, да и сам «Союз нерушимый республик свободных» более полувека держался на двух китах — кнуте и прянике. Кнут — это применение или угроза применения военной силы или репрессий, пряник — это безвозмездные дотации большинству союзных республик, стран СЭВ и Варшавского Договора, многим развивающимся странам. Основным источником дотаций был ВВП России, который формировался за счет рентных составляющих и заниженного фонда потребления собственного населения.

В 1985 году продолжалась война в Афганистане, в денежном выражении она ежегодно стоила примерно 8 млрд. долларов.

С 1 июня 1985 началась антиалкогольная кампания, которая имела положительные последствия для демографии, снижения травматизма и др., но поступления в бюджет от акцизов резко сократились — на величину, сопоставимую с затратами СССР на ведение военных действий в Афганистане.

Наконец, в 1985 г. американцам удалось вынудить руководство Саудовской Аравии нарушить квоты ОПЕК и увеличить поставки нефти на экспорт. Цены на нефть резко упали. У СССР, как крупнейшего нефтеэкспортера, значительно сократилась экспортная выручка, возник дефицит торгового баланса.

Существовавшие в тот период идеологические догмы, в частности, так называемый «основной экономический закон социализма», не позволили руководству СССР принять диктуемые обстановкой решения — сократить некоторые государственные расходы, уменьшить зарубежную помощь и др. В стремлении обмануть реальность и собственное население власти прибегли к известному методу — дополнительной эмиссии. В результате и без того скудный потребительский рынок был разрушен, возникли огромные очереди, а вскоре и карточная система (талоны) в большинстве регионов. Вновь избранный амбициозный генсек в атмосфере всеобщего восхваления (прежде всего из-за рубежа) не стал признавать допущенных грубых просчетов и обвинил во всем социализм.

Первоначально «улучшение» социализма предполагалось осуществить в рамках административных мер, начатых при Андропове. Это и борьба со злоупотреблениями, и ужесточение дисциплины. Очень быстро начатые усилия сошли на нет и никакого эффекта не дали, поскольку метод «завинчивания гаек» шел вразрез с провозглашенным курсом открытости и демократических преобразований.

Последней попыткой заставить прежнюю систему управления более эффективно работать под руководством КПСС, не подвергая ее демонтажу, явилась разработка целевых программ «Интенсификация-90». Их суть — волевым путем ускорить внедрение НТП в хозяйственную практику, повысить производительность труда, фондоотдачу и другие показатели.

Эти программы были разработаны во всех союзных республиках, краях и областях. Прорабатывались, например, такие вопросы как перевод на круглосуточный режим работы детских дошкольных заведений, продление работы метро до двух часов ночи — это предлагалось сделать с целью введения второй смены на предприятиях и повышения коэффициента сменности оборудования.

Очень быстро руководство СССР пришло к выводу, что предпринимаемые действия не дают результата и необходимы более серьезные меры.

Первоначально внимание перестройщиков было обращено на производителей материальных благ и услуг. Под лозунгом раскрепощения инициативы снизу в стра-

не было развернуто кооперативное движение. Предприятиям кооперативной формы собственности разрешили делать то, что было запрещено для государственных предприятий. Эффект получился совсем не тот, на какой рассчитывали: вместо насыщения потребительского рынка и повышения качества обслуживания населения усилилась инфляция и скачкообразно выросла коррупция. Получив возможность легально перепродавать на дефицитном рынке фондируемые ресурсы по более высоким ценам, кооперативы превратились в основной своей массе в коррупционно-спекулятивные конторы.

Следующий удар перестройщиков пришелся по центральным органам управления экономикой СССР — ее штабным структурам. Журналисты окрестили этот этап реформ как «огонь по штабам». В 1987 г. был принят пакет постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, согласно которому резко ограничивалась деятельность Госплана СССР, Госкомцен СССР, Госснаб СССР, других центральных государственных институтов, которые осуществляли целеполагание, балансирование и реальное управление советской экономикой. Сделано это было под предлогом раскрепощения производителя, «снятия оков». Следует, конечно, признать, что в плановой системе было много недостатков и даже откровенных глупостей, но то, что произошло после ее разрушения, было настоящей катастрофой — после этого решения Советский Союз стал распадаться, как картонный домик.

Последней несущей конструкцией системы управления СССР оставался аппарат КПСС. В отличие от министерств и ведомств, он был структурирован не по отраслевому, а по территориальному принципу. ЦК КПСС, обкомы и райкомы осуществляли исключительно важные управленческие функции, главной из которых был подбор и расстановка кадров. Большое значение имели координационная и мобилизационная функции, которые по экономической сути представляли собой перераспределение ресурсов министерств и ведомств для обеспечения сбалансированного развития территорий.

В 1988 г. ЦК КПСС добровольно отказался от этих функций под лозунгом «недопустимости совмещения идеологии и хозяйственного управления». Члены ЦК КПСС приняли политическую взятку от Горбачева — разрешение первым секретарям обкомов совмещать посты председателей областных советов народных депутатов в обмен на фактическое отстранение КПСС от принятия важнейших государственных решений. Привитый за многие десятилетия инстинкт единогласного голосования пересилил инстинкт самосохранения.

Это решение особенно сильно ударило по регионам России. Если на общегосударственном уровне еще оставались институты, ответственные за ситуацию в стране в целом (Съезд народных депутатов СССР, СМ СССР, Верховный Совет СССР, вновь введенный институт Президента СССР и др.), то на региональном уровне с отстранением партийных органов от управления социально-экономическими процессами такой силы не осталось. По действовавшему на тот период советскому законодательству компетенция местных советов в сфере экономики была очень небольшой. То, что в конце 80-х — начале 90-х годов на территории России не произошло полного коллапса в экономике и остановки систем жизнеобеспечения, во многом объясняется инерцией ответственности и государственного мышления у старых (социалистических) кадров управленцев.

Вершиной пагубного творчества Горбачева явилось воплощение на практике идеи так называемого «регионального хозрасчета». Пик этих работ пришелся на 1989 год, спровоцировал их визит генсека в Эстонию. Очень быстро во всех союзных республиках, краях, областях и автономных республиках России были проведены соответствующие работы и сделаны примерно одинаковые политические выводы. Все без исключения союзные республики заявили, что являются жертвами неэквивалентного обмена с Центром, и что они только выиграют от независимого существования.

Распад единого народнохозяйственного комплекса был ускорен резкой активизацией экологического и забастовочного движений, падением дисциплины и ответственности на всех уровнях.

В 1990 г. шла ожесточенная борьба по разделу огромной территории и потенциала Советского Союза между различными кланами и группировками. Наиболее характерным явлением этого года был «парад суверенитетов». Не менее значимым событием явилась легализация института частной собственности. Первоначально

это было сделано в рамках программы «500 дней», принятой Съездом народных депутатов России.

Фактическая ликвидация центральных органов власти была предопределена решением набравшего силу руководства Российской Федерации в лице Б. Ельцина и его окружения перейти на одноканальную систему бюджетных взаимоотношений с СССР и резким сокращением налоговых поступлений в союзный бюджет. В 1991 году эти решения были оформлены юридически.

Шанс остановить распад Советского Союза, конечно, был, если бы ГКЧП вел себя так же решительно, как китайское руководство во время Тяньаньмэньских событий в 1989 году. Легитимные основания в пользу жестких мер по защите конституционного строя у политического руководства СССР также были — итоги всенародного референдума по вопросу о сохранении Союза и действовавшее в тот период законодательство. Не было только реальной политической элиты, которая могла бы противостоять тенденциям дезинтеграции Советского Союза.

Подводя итоги своей деятельности на посту премьер-министра Великобритании, Уинстон Черчилль как-то сказал замечательную фразу: «Премьерами становятся не для того, чтобы разваливать империи». Русскому народу, не привыкшему к демократии, не повезло — своими руками он привел к власти будущих ликвидаторов СССР...

## II. РЕФОРМЫ 1990-х ГОДОВ: ЕЛЬЦИНСКИЙ ПЕРИОД

*Зараз проявились у советской власти два крыла: правая и левая. Когда же она съется и улетит от нас к ядрене-фене?*

**М. Шолохов, «Поднятая целина»**

*Коммунизм рухнул. Но как бы его обломки не раздавили и Россию.*

**А. Солженицын**

*«Ваш любимый литературный герой?» — Пушкин.*

**Б. Н. Ельцин (1.09.1988 г.)**

*Вот мы буровим, я извинаясь за это слово. Марксом придуманное, этим фантазером.*

**В. С. Черномырдин**

### Страшная цена шоковой терапии

Сбылась мечта двух нобелевских лауреатов и всего «прогрессивного человечества» — Советский Союз действительно прекратил свое существование. Но вместе с ним почти одновременно перестала действовать и вся прежняя система управления гигантской страной. У руля встали, по образному выражению первого и последнего вице-президента России А. Руцкого, «мальчики в розовых штанишках», то есть в подавляющем большинстве случаев — люди без сколько-нибудь серьезного опыта государственного управления. «Партия, дай порулить» — шутка команды КВН Новосибирского государственного университета, признанная лучшей шуткой десятилетия.

Действительность оказалась гораздо печальнее. Россия заплатила страшную цену за варварские эксперименты над страной и ее населением. В 1992 году, в первый же год полноправного «демократического правления», в России возникло явление депопуляции (смертность превысила рождаемость), которого никогда не было в истории страны в мирное время. Максимальная «естественная» убыль населения пришлось на 1994 год, когда смертность превысила рождаемость на 1,5 миллиона человек, в период с 1995 по 2005 гг. в среднем за год — по миллиону человек. Общие же потери российской экономики за время проведения либеральных реформ 1992—1998 гг. более чем в два раза превысили потери советской экономики за годы Великой

Отечественной войны (Примаков Е. М. Прощание с псевдолибералами. — РГ. 15.01.2008 г.).

Но обо всем по порядку. Всплывшая на поверхность новая российская элита (новые русские), конечно, отличалась от матроса Железняк 1917 года. Она не носила бушлат и наган в кармане, почти все были в галстуках и многие даже говорили по-английски. Но по морально-этическим и деловым качествам большая часть новой политической элиты отличалась от вышеупомянутого исторического персонажа отнюдь не в лучшую сторону.

Прежде всего, не было никакой теоретической основы или хотя бы модели строительства нового государства, общества и экономики. Широко разрекламированную программу ускоренного строительства капитализма в СССР («500 дней»), почти единогласно принятую Съездом народных депутатов России, известный российский ученый-экономист В. Н. Богачев назвал «всенародным прыжком через пропасть — 100 дней разбег, 150 — собираем кости, остальное — поминки». И не сильно ошибся в прогнозе.

Других сколько-нибудь значительных концептуальных документов видения будущего обществу представлено не было ввиду их отсутствия.

Поскольку собственного ответа на известный вопрос «что делать?» не было, правящая верхушка послушно внедрила планы преобразования и элементы системы управления, переданные «в порядке помощи демократическим реформам» западными советниками (преимущественно американскими). Это делалось указами Президента РФ, поспешно принятыми законами и постановлениями правительства.

Но если в США очень сложная и дорогостоящая институциональная структура формировалась постепенно, в течение двухсот лет, по мере роста производительности труда и завоевания мирового господства, то российские реформаторы умудрились уложиться в десять лет на фоне почти пятикратного сокращения экономического потенциала государства (Россия 1999 г. по отношению к СССР 1989 г.). При этом основные постулаты внедренной модели представляли собой не современные западные образцы, а аксиомы времен Адама Смита. Иными словами, главные реформаторы повели страну не по Гегелю (развитие «по спирали» вверх), а «по штопору», вниз.

Один из крупнейших экономистов XX века Дж. Гэлбрейт так сказал о планах российских реформаторов по переходу к рынку: «Говорящие — а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь, — о возвращении к рынку времен Смита, не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическими отклонениями клинического характера. Это то явление, которого на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть, и которое не могло бы выжить».

Если вынести за рамки рассмотрения те силы, которые были вовлечены в этот разрушительный процесс из идейных или корыстных побуждений («агенты влияния», «пятая колонна», разнообразные мародеры, желающие поживиться на растаскивании бывшей общенародной собственности), то оставался обширный слой управленцев, которые действовали в обозначенном коридоре возможностей, исходя из благих намерений (вывести страну, регион, предприятие на путь прогрессивного развития).

Есть все основания полагать, что многие из них не отдавали себе отчета в последствиях, которые наступят в результате совершаемых ими действий или, наоборот, бездействия (апатии). В политической психологии такое явление называют склонностью к гипостазированию, что означает приписывание реального содержания искусственным умозрительным концепциям (С. Г. Кара-Мурза).

### **Хронология некоторых политических событий 1990-х годов\***

02.01.92 — в России «отпущены» цены на товары и услуги, то есть государство перестало их сдерживать и регулировать.

09.04.92 — VI Съезд народных депутатов России одобрил подписанный 31 марта 1992 г. «Федеративный договор» и постановил включить его в качестве составной части в Конституцию РФ.

\* Современная политическая история России. Т. 1. Хроника и аналитика (1985—1998 гг.). — М.: РАУ-Корпорация, 1999.

Апрель, 1992 — лидеры «Большой семерки» подтвердили свою готовность содействовать реформам Ельцина в России и предоставить помощь СНГ в объеме 24 млрд. долларов.

Уровень инфляции в России достиг 1 % в день. В целом за 4 месяца индекс потребительских цен, по данным Госкомстата РФ, составил около 740 %.

Январь, 1993 — начало ваучерного периода приватизации.

02.02.93 — Госкомстат РФ сообщил, что впервые за послевоенные годы произошло абсолютное сокращение численности населения России.

27.03.93 — Верховный Совет РФ принял основы земельного законодательства, в котором была разрешена частная собственность на землю.

04.06.93 — разгром Чеченского парламента и оппозиции в г. Грозном отрядами Д. Дудаева.

06.06.93 — по приказу министра обороны РФ П. Грачева из Чечни эвакуированы военнотружущие с членами их семей без вооружения, техники и иного военного имущества.

21.09.93 — по телевидению оглашен Указ Б. Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ», в соответствии с которым Верховный Совет РФ и Съезд народных депутатов РФ должны быть распущены.

В Белом доме начал работу Чрезвычайный съезд народных депутатов. Конституционный суд РФ признал Указ № 1400 противоречащим Конституции РФ, что является основанием отрешения Президента РФ Б. Ельцина от власти.

22.09.93 — советы депутатов 53-х регионов РФ признали Указ № 1400 незаконным. Об этом же заявили главы Брянской и Новосибирской областей.

04.10.93 — штурм Белого дома. Точное число жертв неизвестно (публиковались оценки от 50 до 500 человек). Министр обороны РФ П. Грачев награжден орденом, министр внутренних дел В. Ерин удостоен звания Героя РФ.

10.11.93 — опубликован проект Конституции РФ для всенародного обсуждения.

12.12.93 — состоялось всенародное голосование по проекту Конституции. За принятие Конституции проголосовало 32 млн. 937 тыс. человек (58,4 % от участвовавших в голосовании), против — 23 млн. 431 тыс. человек (41,6 %).

11.10.94 — «черный вторник». Обвальное падение рубля.

11.12.94 — в соответствии с указом Президента РФ началась военная операция в Чечне.

11.02.95 — Д. Дудаев заявил о переносе войны в российские города.

11.08.96 — Б. Ельцин принимает присягу Президента РФ.

19.03.97 — спустя три года после пика массовых финансовых афер в стране ФК Центрального банка сообщила в Генеральную прокуратуру и МВД, что 984 финансовые компании — «строители финансовых пирамид» («МММ», «Селенга» и др.), оказывается, не имели лицензий.

04.08.97 — президент Б. Ельцин объявил о деноминации российского рубля в 1000 раз с 1 января 1998 г.

23.03.98 — президент Б. Ельцин отправил Правительство РФ в отставку. И. о. председателя Правительства РФ назначен С. В. Кириенко.

Май, 1998 — массовые забастовки и голодовки шахтеров во всех угольных бассейнах страны в связи с невыплатой зарплаты. Перекрытие железных дорог: Воркута-Москва, Северо-Кавказской, Транссиба.

Июнь — август, 1998 — продолжение массовых забастовок по всей стране, массовые отключения электричества, перекрытие железнодорожных и автомобильных магистралей.

13.08.98 — в Москву прилетел первый заместитель главы Федеральной резервной системы США Дэвид Липтон.

14.08.98 — выступление Б. Ельцина по российскому телевидению: «Девальвации не будет, это я заявляю твердо и честно».

15.08.98 — президент США Б. Клинтон заявил о решительной поддержке усилий Президента РФ и Правительства РФ по преодолению имеющихся проблем.

16.08.98 — встреча С. Кириенко с Б. Ельциным.

17.08.98 — правительство и ЦБ сделали заявление о финансовом положении страны, объявив, по существу, дефолт.

21.08.98 — экстренное заседание Государственной Думы. Депутаты назвали действия должностных лиц правительства 17.08.98 «финансовым переворотом».

24.08.98 — С. Кириенко отправлен в отставку. И. о. премьера назначен В.С. Черномырдин.

26.08.98 — в состоянии комы впали валютный и финансовый рынки. Крушение банковской системы набирает обороты. За месяц рост цен по отечественным продуктам питания составил 20 %, на импортные товары — 80 %.

11.09.98 — Е. М. Примаков назначен премьер-министром России.

14.09.98 — президент США Б. Клинтон отдал приказ о начале бомбардировки Белграда.

13.12.98 — А. Солженицын отказался принять орден Андрея Первозванного, которым наградил его Ельцин. Он мотивировал это тем, что не может принять орден от власти, которая довела Россию до бедственного положения.

01.01.99 — большинство стран ЕС перешли на безналичные расчеты в новой общеевропейской валюте — евро.

24.03.99 — авиация НАТО совершила первый налет на Югославию, грубо нарушив Устав ООН. Бомбардировки продолжались до 10 июня.

12.05.99 — отставка правительства Е. М. Примакова.

18.05.99 — назначение С. В. Степашина председателем Правительства РФ.

09.08.99 — отставка правительства С. В. Степашина. Назначение В. В. Путина и. о. председателя Правительства РФ. Б. Н. Ельцин назвал В. В. Путина своим преемником на посту Президента РФ.

16.08.99 — утверждение В. В. Путина председателем Правительства РФ.

07.08.99 — 11.09.99 — вторжение отрядов Ш. Басаева и Хаттаба в Дагестан. Участвовало от 1500 до 10000 боевиков. Против них была проведена крупная армейская операция с участием подразделений МВД. Фактически это было началом Второй чеченской войны.

11.08.99 — солнечное затмение.

31.08.99 — взрыв на Манежной площади в подземном торговом комплексе «Охотный ряд». Пострадали 40 человек, одна женщина скончалась.

04.09.99 — взрыв пятиэтажного дома в Буйнакске (Дагестан) — 61 человек погиб, 140 ранены.

09.09.99 — взорван дом в Москве на улице Гурьянова: рухнуло два подъезда, погибли 94 человека, ранено 164.

13.09.99 — взорван восьмизэтажный дом в Москве на Каширском шоссе: погибли 121 человек, ранены 9.

16.09.99 — взрыв девятиэтажного дома в Волгодонске (Ростовская область). Пострадали 310 человек, 18 — погибли.

31.12.99 — заявление Б.Н. Ельцина о досрочной отставке с поста Президента РФ.

### **Аналитический комментарий**

Как видно из приведенного перечня политических событий, период 1990-х годов вполне очевидно можно назвать революцией (или революционным переворотом) наиболее активной части политических сил в стране, при явной помощи извне, против прогнившего политического режима во главе с Горбачевым и его перестройки, теперь уже на территории Российской Федерации.

Все составляющие этого явления были налицо: кардинальное изменение основ политического, государственного устройства и господствующей экономической модели. Сопутствующие явления, характерные для революционных процессов, также присутствовали: гражданская война на Кавказе, сепаратизм, социально-демографическая катастрофа, катаклизмы в экономике, борьба с контрреволюционерами вплоть до их физического уничтожения (1993 год) и т. д. Активного сопротивления новым «русским» революционерам не было, как писал А. Солженицын, «успех революции зависит не от силы взрыва, а от слабости сопротивления».

Отмечу два принципиальных отличия от Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года:

1) в 90-е годы осуществлялся переход не от капитализма к социализму, а назад, «в лоно цивилизованных государств из провалившегося исторического эксперимента»;

2) США и их союзники по НАТО (бывшая Антанта) не оккупировали Россию военным путем, предпочитают действовать информационными, политическими и финансовыми инструментами. Не осуждали вопиющие нарушения прав человека

(например, расстрел Белого дома, который прекрасно виден из окон посольства США в Москве). Более того, поддерживали и направляли практически все, что делалось режимом Ельцина в этот период (кроме попыток борьбы с сепаратизмом). Это говорит о том, что резкое ослабление российского государства им было выгодно.

В отличие от последовавших поздней революций в других странах СНГ — «роз», «оранжевых» и прочих — изменения российской действительности таким образом не определялись. В результате удалось закрепить в общественном сознании мысль, что события 1990-х годов — это трудный, но сознательный выбор российского народа, который мучительно ищет (или роет) путь к своему очередному светлому будущему.

Думаю, спустя какое-то время название у этой революции появится. Не бывает в истории революций без названия. Слово «Великая» здесь явно не подходит. Все-таки опустили страну со второго места в мировой классификации на 10-е, из разряда высокоразвитых индустриальных держав перевели в число развивающихся стран сырьевой ориентации.

Детальный анализ политических событий и процессов трансформации системы власти после принятия новой Конституции 1993 года не входит в цели данной работы. Они выступают контекстом, на фоне которого под видом реформ осуществлялись фундаментальные преобразования экономики и социальных отношений. Назовем их вехами «реформ»:

**1. 1992 г.** Политика «шокоterapiи», вызванная отпуском цен. Следствием явилась гиперинфляция и изъятие сбережений у целого поколения советских людей. Массовый характер приобрели нищета, бедность, резкое социальное расслоение жителей России.

В целом за 1992 год цены выросли в 26 раз. Но в предельно монополизированной экономике этот рост произошел крайне неравномерно. В результате бывший «единый народнохозяйственный комплекс», «единое экономическое пространство» были одновременно разорваны в клочья. Десятки отраслей и регионов стали нерентабельными. Например, сельское хозяйство стало убыточным в 86 субъектах Федерации из 89. Машиностроение в своей основной массе остановилось. Полностью парализованным оказался комплекс отраслей оборонной промышленности, поскольку единственный покупатель ее продукции (правительство в лице Министерства обороны) перестал что-либо покупать и, соответственно, финансировать; в зоны бедствия превратились десятки регионов и сотни городов, где произошел всплеск безработицы и преступности. В целом экономику страны поразил кризис неплатежей.

**2. 1993—1994 гг.** Ваучерная приватизация. Произошло беспрецедентное в мировой истории присвоение бывшей общенародной собственности крупнейшего в мире государства узким кругом лиц (отечественных и зарубежных) с помощью крупномасштабной ваучерной кампании, разработанной в западных аналитических центрах и реализованной под непосредственным контролем западных советников.

Операция была развернута под прикрытием острого политического кризиса (расстрел Белого дома, запрет КПСС, роспуск советов всех уровней, подавление оппозиции) и при массовом нарушении законодательства.

Впоследствии различные комиссии по оценке итогов приватизации 90-х годов (в том числе комиссии Государственной Думы) указывали аж на шестислойное нарушение законодательства в процессе приватизации (начиная с нарушения Конституции РФ), называли ее «грабительской», «преступной», «криминальной» и т. п.

Тем не менее правящая в тот период политическая группировка сделала все, чтобы приватизация стала необратимой. Главные приватизаторы все 90-е годы, по существу, контролировали правительство страны. Судебная система ничего не делала для исправления огромного количества нарушений законов в части приватизации и вообще отношений собственности, тогда правовой вакуум заполнили криминальные (бандитские) разборки, которые приобрели массовый характер по всей стране.

**3. 1994—1996 гг.** Основной этап постваучерной (денежной) кампании приватизации. После ваучерного этапа приватизации страна превратилась, по образному выражению журналистов, в «страну непуганых акционеро»». Общее их число составило около 60 миллионов человек. Большинство обладателей «ваучеров» были в полной растерянности, не знали, что с этими «ценными бумагами» делать, и практически никакого влияния на процессы перераспределения собственности оказать не могли.

Зато идеологи и инициаторы этой кампании прекрасно знали, чего они хотят. По существу, речь шла о скупке контрольных пакетов акций наиболее значимых



предприятий и организаций. Чтобы эффективно и быстро это сделать, необходимо было решить три основные задачи:

- обеспечить государственное сопровождение процесса скупки (нормативно-правовое, институциональное, контрольное, силовое — в случае необходимости);

- создать ситуацию, при которой владельцы ваучеров продавали бы их за бесценок, желательно ниже номинала, а номинал примерно соответствовал на тот момент одной среднемесячной зарплате;

- найти финансовые ресурсы для скупки у населения этих бумаг. Собственных финансовых ресурсов даже для скупки ваучеров по многократно заниженной цене у этой группировки в тот период не было.

Все эти задачи были успешно решены. Были созданы специальные приватизационные институты (Государственный комитет по управлению имуществом, Фонд имущества и другие), которые имели свой процент от реализации приватизированного государственного и муниципального имущества. При необходимости подключались силовые ведомства. Отсутствие законодательной базы преодолевалось с помощью указов президента. Попытки противодействия этим процессам со стороны депутатского корпуса игнорировались исполнительной властью при попустительстве так называемой правоохранительной системы.

Ваучеры скупались дешево с помощью простой и бесчеловечной схемы. По полгода и больше не выплачивалась и без того мизерная зарплата. В условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока, где преобладает моноспециализация и почти отсутствует подсобное хозяйство, речь шла о выживании в физиологическом смысле этого слова. Поэтому люди за бесценок продавали свой ваучер — «кусочек Родины», который им достался в виде ценной бумаги. Параллельно кризис неплатежей банкротил большинство предприятий.

Таким образом, была почти мгновенно скуплена нефтегазовая промышленность, предприятия цветной металлургии и другие наиболее ценные объекты.

С некоторым опозданием в приватизационную гонку включились директора и «топ-менеджеры» предприятий, которые благодаря этой акции превращались из наемных работников государства в хозяев предприятий, колхозов, совхозов, а также довольно многочисленный номенклатурный слой. Они и составили социальную базу и движущую силу процесса приватизации. Созданный героическим трудом нескольких поколений советских людей гигантский экономический потенциал в течение нескольких лет был «распилен» этой группой лиц, удельный вес которых в общем числе занятых не превышал 5 %.

**4. 1995 — 1997 гг. «Борьба за денежную стабилизацию».** Политика «шокотерапии» и вызванные ею гиперинфляция, разрыв хозяйственных связей, кризис неплатежей и массовые банкротства предприятий запустили полномасштабный социально-экономический кризис. Он усугублялся парализом системы управления, политическим кризисом и полномасштабной криминализацией общества. Возник правовой вакуум: после расстрела Белого дома и принятия новой Конституции РФ в 1993 г. большинство советских законов прекратило действовать, а новых (демократических, рыночных) просто не было, да и законодательные органы федерального и регионального уровней были распущены.

Ситуация в стране с точки зрения угрозы катастрофических последствий была хуже, чем в 1917 году. Россия 1990-х была перенасыщена всеми видами вооружений, ядерными реакторами, химическими предприятиями. Три четверти населения жили в городах с централизованным теплоснабжением, а топлива для ТЭЦ не хватало.

То, что в этот период не произошло крупномасштабных катастроф, похоже на чудо. Прежде всего, это можно объяснить огромным запасом прочности советской экономики, бесконечным терпением людей и высоким профессионализмом и ответственностью социалистических кадров управленцев.

Достаточно внимательно контролировали ситуацию в России и ее геополитические противники. Они, конечно, были заинтересованы в ослаблении страны, снижении численности ее населения, получении контроля над ее ресурсами. Но они вовсе не хотели, чтобы на территории России возникли десятки новых Чернобылей, а война в Чечне переросла в полномасштабную гражданскую войну. Поэтому на ситуацию в России постоянно оказывались существенные воздействия с помощью кредитов и иных инструментов.

Метод борьбы с инфляцией был избран очень своеобразный. По существу, это была афера, тщательно спланированная теми же людьми, которые прежде разгоняли

инфляцию с участием ведущих финансовых институтов государства. Созданная система включала сеть банков и сотни частных финансовых компаний, впоследствии получивших название финансовых пирамид («МММ», «Хопер» и т. п.). Венчали систему государственные «финансовые пирамиды» — выпущенные под гарантии государства ценные бумаги «ГКО» и «ОФЗ», которые одновременно позиционировались как самые надежные ценные бумаги на рынке (поскольку гарантировались государством) и как самые высокодоходные.

В отдельные периоды доходность рублевых вложений в ГКО и ОФЗ достигала 700 % годовых, а в долларах — до 36 % годовых. Для сравнения: рентабельность в промышленности при несопоставимо больших усилиях редко превышала 20 %.

Население, спасаясь от инфляции, несло все свои сбережения на депозитные вклады в банки и многочисленные фонды. Так же поступало и большинство руководителей предприятий, опустошая и без того мизерные оборотные средства. На оптовом рынке все эти частные финансовые конторы вкладывали добытые деньги в бумаги ГКО и ОФЗ. Тем самым деньги были практически выведены из реального сектора экономики. Если нормальным соотношением денежной массы к объему ВВП считается 70—100 %, то в 1992 г. это соотношение достигло 150 %, а в 1997 г. упало до 15 %.

Возникшую пустоту частично заполнили денежные суррогаты — векселя, взаимозачеты, бартерные схемы. Они только обостряли проблемы: экономическая преступность росла, а собираемость налогов падала. Кризис реального сектора экономики закончился параличом финансовой системы, развалом бюджета и быстрым ростом внутреннего и внешнего долга: финансовые средства, аккумулируемые в рамках пирамид ГКО и ОФЗ, частично разворовывались в пути, частично попадали в бюджет, но в основном шли на погашение внешнего долга и скупку пакетов акций отраслей и предприятий в проходившей параллельно кампании приватизации.

**5. 1998 год.** Дефолт и девальвация. К началу 1998 года стало ясно, что страну ожидает очередная «шокотерапия» с непредсказуемыми последствиями. На роль шокоотерапевта, как и в предыдущих случаях (отпуск цен в 1992 г., ваучерная и постваучерная приватизация), нужен был исполнитель. В мае 1998 г. Председателем Правительства России был назначен мало кому известный С. В. Кириенко.

Его программная речь в Государственной Думе (май 1998 г.) изобиловала лозунгами и высказываниями, которые в свете реальных событий августа 1998 г. выглядят верхом цинизма и некомпетентности: «правительство профессионалов, а не партийных функционеров»; «вернуть доверие людей и власти»; «твердый рубль — лицо страны», девальвация рубля ради финансирования госрасходов исключена; естественные монополии приватизации не подлежат и т. п.

17 августа Правительство РФ и Центральный банк в совместном заявлении по существу объявили дефолт и девальвацию рубля одновременно. Пирамиды лопнули, обслуживать их было нечем.

Назначенный 11 сентября 1998 г. председателем Правительства РФ Е. М. Примаков дал следующую оценку этому событию: «То, что произошло 17 августа, — это безумие, граничащее с преступлением. Небольшая группа людей повалила всю страну. Легли банки. Пирамида ГКО должна была привести к печальному результату».

Реально за все это ответил народ (сверхсмертностью и падением уровня жизни) и российская экономика — очередной скачкообразной деградацией.

Е. М. Примаков за непродолжительный период своей работы в качестве главы правительства никаких реформ не проводил. Для начала правительство под его руководством просто перестало вредить экономике страны. Затем в кратчайшие сроки была разработана программа действий, получившая в СМИ название «программы Примакова, Маслюкова, Герашенко» («Коммерсант», 30.10.98). Она содержит честную и объективную оценку ситуации, ранжированную формулировку негативных тенденций и угроз.

В программе были сформулированы стратегические и текущие задачи во всех ключевых аспектах управления государством. Начатая реализация предложенной системы мер позволила использовать имеющиеся ресурсы и открывшиеся возможности (эффект импортозамещения, рост внешнего спроса на российский экспорт), чтобы перейти на траекторию экономического роста.

## НАШ ЯЗЫКОВ

*К 210-летию со дня рождения поэта*

Мы расточительно позволили себе задвинуть во второй ряд книжной полки такого национального гения и мастера слова как Николай Языков (1803—1846), сочинениями коего восхищались Пушкин, Гоголь, Жуковский.

И. Киреевский писал: «Именно потому, что господствующий идеал Языкова есть праздник сердца, простор души и жизни, потому господствующее чувство его поэзии есть какой-то электрический восторг и господствующий тон его стихов — какая-то звучная торжественность. Эта звучная торжественность, соединенная с мужественною силою, эта роскошь, этот блеск и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пышность и великолепие языка, украшенные, проникнутые изяществом вкуса и грации — вот отличительная прелесть и вместе особенное клеймо стиха Языкова... Нельзя не узнать его стихов по особенной гармонии и яркости звуков, принадлежащих его лире исключительно».

Николай Михайлович Языков — 16 марта по нов. ст. исполнилось 210 лет со дня рождения поэта — памятен русскому человеку прежде всего поющим стихотворением «Пловец» («Нелюдимо наше море...»), а также посланием Д. Давыдову («Жизни баловень счастливый...»), вызвавшим, по воспоминаниям Гоголя, слезы у Пушкина.

Знаменитое стихотворение «К ненашим» Языков написал 6 декабря 1844 г., за два года до кончины. Однако сочинение, вызвавшее как горячее одобрение в стане славянофилов, так и скрежет оскорбленного возмущения среди западников, а также цензурный запрет к публикации на три десятилетия (!), обильно ходило в списках. Кто-то ставил это сочинение в ряд с «Бесами» Достоевского.

**О вы, которые хотите  
Преобразить, испортить нас  
И онемечить Русь, внимлите  
Простосердечный мой возглас!**

Сегодня мы читаем его как решительно актуальный текст, такое впечатление, что писано про текущие события. Кажется, не прошло полутора веков, не было помрачительного кошмара междоусобной Гражданской войны, страшных мировых войн, уничтожения собственного народа и отчей веры. Какие-то «не наши» константы остаются в русских людях и продолжают действовать против России.

Хоть Языков обращался к лицам конкретным, мы правильно понимаем адресацию как архетипическую. В стихотворении немало обличений — «жалкий ли старик, ее торжественный изменник, ее надменный клеветник; оракул юношей-невежд, ты, легкомысленный сподвижник беспутных мыслей и надежд; и ты, невинный и любезный, поклонник темных книг и слов, восприниматель достослезный чужих суждений и грехов...»

**Вы, люд заносчивый и дерзкий,  
Вы опрометчивый оплот  
Ученья школы богомерзкой,  
Вы все — не русский вы народ!**



Николай Языков, русский патриот, сын богатого помещика Симбирской губернии, много лет проведенный на лечении в Германии и Италии, выступил как провидец, обобщивший тему, боль, разрушительный вектор, уводящий к западопоклонничеству. Это — своеобразное предостережение окончательного культа капиталистических миллионщиков, «штыльцев», наверняка ведь сочинение Языкова было известно И. А. Гончарову, писавшему свой грандиозный, самый русский роман «Обломов» с 1848-го по 1859 гг.

Языков, похоже, предчувствовал испытания, ожидавшие Россию, словно постоянно слышал, с ужасом, «Предсказание» (1830) Лермонтова: «Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь...».

Однако мы помним историко-духовный контекст эпохи, вызвавшей к жизни яркое публицистическое сочинение Языкова. В 1842 г. — между прочим, за шесть лет до выхода в Германии в свет «Манифеста Коммунистической партии» фабриканта-эксплуататора Ф. Энгельса и юриста К. Маркса — В. Белинский под псевдонимом Петр Бульдогов напечатал резонансный памфлет «Педант», критиковавший профессора Московского университета историка С. П. Шевырёва, объявивший войну патристическому направлению русской мысли. Сей Бульдогов наряду с оскорблениями применил саркастический термин «наши» — по адресу русских славянофилов. «Европейская» пренебрежительность сквозит почти в каждой бульдоговой фразе, начиная с характеристичной: «Зовут моего педанта: *Лиодор Ипполитович Картофелин*».

Ха-ха-ха?! Но чем имя «Лиодор Ипполитович» кондовой, почвенной и комичней по сравнению с именем «Виссарион Григорьевич», понять затруднительно.

В мире все относительно: примечательно, что ведь именно Белинскому был — до того — адресован памфлет Е. Баратынского «На \*\*\*» (на рубеже 1839/1840 гг.):

**В руках у этого педанта  
Могильный заступ, не перо:  
Журнального негоцианта  
Как раз подроеет он бюро.  
Он громогласный запевало,  
Да запевало похорон...  
Похоронил он два журнала,  
И третий похоронит он.**

Речь идет о состоявшемся в конце 1839 г. приглашении Белинского в сотрудники «Отечественных Записок» издателем журнала А. А. Краевским. Узнаваемый портрет. И хотя «запевалой похорон» «неистовый Виссарион» назван по причине угробления им журналов «Телескоп» и «Наблюдатель», в этой едкой эпиграмме прочитывается и суть этого деятеля. И зримо видишь в этом облике некоторых нынешних «господ пера и дести» — то ли «худых, но сочных», то ли, напротив, изрядно разжиревших.

Итак, «К ненашим» — ответ Языкова всем Бульдоговым. Словарь Даля дает внятное пояснение: «Ненаш — нечистый, недруг, лукавый, бес».

Языков горько восклицает, не скажешь «обличает», поскольку его слова полны страдания и сострадания к адресатам.

**Не любо вам святое дело  
И слава нашей старины;  
В вас не живет, в вас помертвело  
Родное чувство. Вы полны  
Не той высокой и прекрасной  
Любовью к Родине, не тот  
Огонь чистейший, пламень ясный  
Вас поднимает; в вас живет  
Любовь не к истине и благу!  
Народный глас — он Божий глас —  
Не он рождает в вас отвагу:  
Он чужд, он странен, дик для вас.**

К «вам» из полуторавековой дали адресуется поэт Языков, говоривший на языке, ничуть и сегодня не устаревшем, к нашему смутному времени лишь набравшем силы.

**Вам наши лучшие преданья  
Смешно, бессмысленно звучат;  
Могучих прадедов деянья  
Вам ничего не говорят;  
Их презирает гордость ваша.  
Святыня древнего Кремля,  
Надежда, сила, крепость наша —  
Ничто вам! Русская земля  
От вас не примет просвещения,  
Вы страшны ей: вы влюблены  
В свои предательские мненья  
И святотатственные сны!  
Хулой и лестию своею  
Не вам ее преобразить,  
Вы, не умеющие с нею  
Ни жить, ни петь, ни говорить!  
Умолкнет ваша злость пустая,  
Замрет неверный ваш язык:  
Крепка, надежна Русь Святая,  
И русский Бог еще велик!**

В конце — отсылка к известному высказыванию хана Мамай, который, по преданию, именно так объяснял свое поражение на Куликовом поле: «Велик русский Бог!»

Оказалось, более страшных слов для тогдашних московско-питерских болотных, и найти было нельзя. Такое ощущение, что это же — слово в слово — мог сказать Пушкин, который, увы, к тому моменту уже семь лет лежал в землице на Святогорском холме, у стен Успенского храма. Но он успел из Михайловского в 1824 г. незнакомому, совсем молодому поэту (что вы, на целых четыре года моложе Пушкина!), адресовать свое сочинение «К Языкову», где говорил без обиняков, на века: «Клянись Овидиевой тенью: Языков, близок я тебе».

«Спасибо тебе за похвалы, которыми ты награждаешь меня за мое стихотворение “К ненашим”. Получил ли ты другое в этом же роде — послание к К. С. Аксакову («Прекрасны твои песнопенья живые...»), от 31 октября 1845 г. — С.М.) — писал Языков Гоголю. — ...Оба эти мои детища наделали много разных сплетней и разъединений в обществе, к которому и ты принадлежал бы, если б ты был теперь в Москве, т. е. в том кругу, где я живу и движусь. Некие мужи важные и ученые, старые и молодые, до того на меня рассердились, что дело дошло бы, дескать, до дуэли, если бы сочинитель этих стихов не был болен. Вот каково! Страсти еще волнуются и кипят, а мои грозные супостаты удовлетворяются тем, что пересылают мои стихи в Питер, в «Отечественные записки», где меня ругают как можно чаще, стихи мои пародируют и печатают эти пародии. Само собою разумеется, что эти на меня устремления и этот беззубый лай нимало не смущают меня и что я продолжаю свое».

И еще: «Речь идет о дешенных, московских особах, которым не нравятся лекции Шевырёва и потому они лгут и клеветуют на него во всю мочь... Все личное достоинство их поддерживается в глазах так называемого “большого” света только их презрением ко всему отечественному».

Николай Васильевич скоро и сам дождетя обструкции со стороны тех же «ненаших»; после 1846-го, выхода в свет гоголевского сочинения «Выбранные места из переписки с друзьями», они закружатся, эти «бесы разны».

Стрела Языкова попала в болевую точку, в общественный нерв, в «люди заносчивый и дерзкой», в «опрометчивый оплот, ученья школы богомерзкой».

Языков писал брату: «...Эти стихи сделали дело, разделили то, что не должно было быть вместе, отделили овец от козлищ, польза большая!.. Едва ли можно назвать духом партии действие, какое бы оно ни было, противу тех, которые хотят доказать, что они имеют не только право, но и обязанность презирать народ русский... Лекции Шевырёва возбуждают их злость... тем, что в этих лекциях ясно и неоспоримо видно, что наша литература началась не с Кантемира, а вместе с самою





Россией. А в защите правого и, могу сказать, чистого и даже святого дела — я никакой низости не вижу, какова бы форма этой защиты ни была: есть то дух Божий и дух льстечь».

Гоголь же в восхищении писал Языкову, что сам Бог внушил тому «прекрасные и чудные стихи “К ненашим”... Душа твоя была орган, а бряцали на нем другие персты. Они еще лучше самого „Землетрясения» и сильнее всего, что у нас было писано доселе на Руси... Бог да хранит тебя для разума и вразумления многих из нас». Стихотворение Языкова «Землетрясение» (1844) и Жуковский считал одним из лучших в русской поэзии.

Сегодня нам внятно, отчего Языков был отодвинут на обочину общественного сознания, почему его полемические антилиберальные опусы были запрещены к публикации.

«Белинский совершенно беспощадно бил по Языкову, и именно потому, что прекрасно понимал его огромную силу и понимал то значение, какое имела его поэзия в боевом арсенале противников, — писал М. К. Азадовский, — ...но за всем этим вставала и иная, для него более существенная сторона — политическая».

\* \* \*

Вскоре после стихотворения «К ненашим» Языков написал «К Чаадаеву» — одно из самых острых стихотворений в цикле. (В 1845-м последовали послания «П. В. Киреевскому», «С. П. Шевырёву», «А. С. Хомякову»).

В письме к брату Александру от 27 декабря 1844 г. Языков поясняет: «В нашем кругу теперь волнение чрезвычайное, волны едва не хлещут друг друга... Ч, даже Ч колеблется и выходит из себя: лекции Ш сильно его раздражают и проч. Впрочем, ему и достается за дело: вообрази себе, до чего он избалован поддакиваниями и подтакиваниями его нелепейшим выходкам на все наше, что на днях, на вечере у Павлова, громогласно назвал Ермолова шарлатаном!.. Я пришло тебе стихи, написанные мною к Ч. Не правда ли, что этакая его наглость есть оскорбление общенародное, личное всем и каждому!! И что “почто молчать?”».

**Вполне чужда тебе Россия,  
Твоя родимая страна!  
Ее предания святых  
Ты ненавидишь все сполна.**

**Ты их отрекся малодушно,  
Ты лобызаясь туфлю пап,—  
Почтенных предков сын ослушной,  
Всего чужого гордый раб!**

**Свое ты все презрел и выдал,  
Но ты еще не сокрушен;  
Но ты стоишь, плешивый идол  
Строптивых душ и слабых жен!**

**Ты цел еще: тебе доныне  
Венки плетет большой наш свет,  
Твоей презрительной гордыне  
У нас находишь ты привет.**

**Как не смешно, как не обидно,  
Не страшно нам тебя ласкать,  
Когда изволишь ты бесстыдно  
Свои хуленья изрыгать**

**На нас, на все, что нам священо,  
В чем наша Русь еще жива.  
Тебя мы слушаем смиренно;  
Твои преступные слова**

**Мы осыпаем похвалами,  
Друг другу их передаем**



**Странноприимными устами  
И небрезгливым языком!**

**А ты тем выше, тем ты краше:  
Тебе угоден этот срам,  
Тебе любезно рабство наше.  
О горе нам, о горе нам!**

Эти строки восхищали даже М. Жихарева, племянника Чаадаева, именно он получил их от Хомякова и опубликовал впервые в 1871 г. в «Вестнике Европы». «Вот это послание **и по достоинству поэтическому, и по одушевлению гнева, и по глубокой, томительной патриотической тоске, и по блеску и звону стихов** (выделено мной — С.М.) чуть ли не самое прекрасное из всех, вышедших из-под столько знаменитого, в свое время, пера Языкова», — писал Жихарев. Какие блестящие, конгениальные слова!

А ведь еще в 1833 г. П. Киреевский замечал Языкову: «Эта проклятая Чаадаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте свою одностороннюю премудрость, которая только что доведена ad ab-surdum в сумасшедшей голове Ч., но отзывается по несчастью во многих, не чувствующих всей униительности этой мысли, — так меня бесит, что мне часто кажется, как будто вся великая жизнь Петра родила больше злых, нежели добрых плодов. Впрочем, я и сам чувствую, что болезненная желчь негодования мутит во мне здоровый и спокойный взгляд беспристрастия, который только один может быть ясен».

На стороне «наших» был и Пушкин (обратившийся когда-то к Чаадаеву со своими хрестоматийно известными стихами «Любви, надежды, тихой славы...»), который также высказал несогласие со взглядами Чаадаева на историческое прошлое России, выраженными в «Философских письмах» 1830-х. Помним, что 19 октября 1836 г., в день Царскосельского лица, за четыре месяца до своей кончины, Пушкин писал Чаадаеву, и это тоже знаменитая его реплика: «Благодарю за брошюру, которую Вы мне прислали... Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться... Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

(И мы помним, что Чаадаев потом изменил свою точку зрения на Отечество.)

Не пропустим и слова из послания Языкова свояку Хомякову, идейному вождю русских славянофилов:

**Несчастный книжник! Он не слышит,  
Что эта Русь не умерла,  
Что у нее и сердце дышит,  
И в жилах кровь еще тепла;  
Что, может быть, она очнется  
И встанет заново бодра!  
О! как любезно встрепенется  
Тогда вся наша немчуря:  
Вся сволочь званых и незваных,  
Дрянных, прилипчивых гостей,  
И просветителей поганых,  
И просвещенных палачей!  
Весь этот гнет ума чужого  
И этот подлый, гнусный цех,  
Союзник беглого портного,—  
Все прочь и прочь! Долой их всех!  
Очнется, встанет Русь и с бою  
Свое заветное возьмет!**

Не только Белинский выступил против Языкова и Пушкина в «Обзоре русской литературы в 1844 г.», но и Некрасов, со смешной местами, но в целом вяловатой и затянутой пародией («Послание к другу (из-за границы)»), опубликованной в «Литературной газете» 1 февраля 1845 г. Как многое похоже на ту ситуацию и теперь! Звонко щёлкают пёрьями «поэты и граждане».

«К ненашим» — мощное и значительное высказывание русского национального гения. Примечательно, что адресовано оно известным умам России, с которыми нас учили отождествлять русскую «прогрессивную» литературную мысль. Странная сложилась традиция: кто Россию критикует, если не сказать поносит, тот непременно считается прогрессивным, а у кого за нее душа болит, — тот ретроград, лапотник, сермяжник, и никоим образом не Виссарион Григорьевич, а совсем напротив — Лидор Ипполитович Картофелин.

«...Вы все — не русский вы народ!» — сказал Языков. И кому же? Грановскому, Чаадаеву, А. Тургеневу, Белинскому. Саморазоблачительно «узнал» себя в этой реплике и Герцен, британский, с позволения сказать, «колокол», нехорошо назвавший сочинение Языкова «доносом в стихах». Передернул. В новые и новейшие времена так поступают некоторые «ненаши», десятилетиями служащие «Голосу Америки» или би-би-си. Герцен отбыл на берега Альбиона и оттуда учительствовал Отечеству. Умрет, известное дело, в «Парижике», в 1870-м. Тогда как молодые Пушкин, Лермонтов и Языков полягут на Родине, причем гораздо раньше — на рубежах 1840-х, плюс-минус несколько лет.

Герцен все же под занавес дней своих рискнул самопримириться в «Былом и думах» (опубликовано в 1868 г.), то есть спустя двадцатилетие с момента кончины Языкова, в виду своей приближавшейся смерти, пытаясь умягчить сам себя и общественность, сказал о сути спора между «славянами», как он назвал славянофилов, и западниками («нами»): «Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна... Такова была наша семейная разладаца лет пятнадцать тому назад... Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они — в нашей».

Н. М. Языков тихо скончался вечером 26 декабря (по ст. ст.) 1846 г. С. П. Шевырев расскажет: «На одре смертном он пел и читал стихи. Ему грезилось любимое занятие жизни. Когда кончились страдания жизни, и предстало лицо Языкова во всем величавом спокойствии смерти, тогда обозначились настоящие черты, которые искажала болезнь. Выпрямилось высокое чело... Мысль, что эти уста, в которых создался полновзвучный его стих, смежились на веки безмолвием, тяжело-грустна была не только для ближних его, но и для всех, кто любил русское слово, поэзию и дорожит славою Отечества».

Отпевание поэта состоялось в Благовещенском храме на ул. Тверской. 30 декабря друзья и близкие похоронили поэта в Даниловом монастыре. Рядом с ним через шесть лет упокоится и его друг, тезка — Николай Гоголь. Прах обоих русских гениев потом перенесут на Новодевичье кладбище.

А есть ли у нас, сограждане, где-нибудь памятник поэту Языкову? Его не могло быть, как видим, ни в XIX, ни в XX в. Но вот вопрос: может ли он быть поставлен в XXI-м?





Николай ВИТОВЦЕВ

## «ПИРАМИДА» ВЕДЕТ НА АЛТАЙ

*Роман Л. Леонова «Пирамида», как пишет сам автор этой статьи Н. Витовцев, для критики до сих пор остается «непостижимым», если вообще возможно «окончательно» постичь этот роман-феномен. Устроена «Пирамида» так, что оценить ее односторонне невозможно, и эта статья лишний раз ее подтверждает. Отталкиваясь от «алтайской» точки зрения на роман, Н. Витовцев выявляет его не всегда очевидные контексты, в первую очередь «перриховский», ранее запретный или замалчиваемый. Столь ли значим был для Л. Леонова и его романа религиозный аспект? Вопрос спорный, ибо мировоззрение автора «Вора» и «Русского леса» было явно шире, объемнее, философичнее, «пирамиднее». И потому, например, сравнение строительства социализма не с египетской пирамидой, как это делает герой романа Вадим Лоскутов (мнение, близкое Н. Витовцеву), а с Вавилонской башней, согласно Л. Леонову и интерпретатору романа Л. Якимовой, было бы ближе к духу «Пирамиды». Писателю был чужд как пафос безбожного строительства всяческих «башен», так и разрушения, антисоциализм. С другой стороны, система аргументации Н. Витовцева, особенно анализ Книги Еноха как ключевой мировоззренческой проблемы романа, связанной с идеями Н. Рериха, сообщает необходимые столь насыщенной смыслами работе сюжет и интригу. Не являясь строго академической, статья Н. Витовцева в то же время целиком «сибирская», и в этом ее неоспоримое достоинство.*

*Владимир Яранцев*

В публицистике Леонида Леонова есть репортаж «Ярость», написанный с Харьковского процесса 1943 года. И там есть строки, за которыми угадывается работа писателя над каким-то масштабным полотном: «За последний месяц я обошел много мест на Руси и на Украине и вдоволь насмотрелся на дела твои, Гитлер. Я видел города-пустыни, вроде каменного мертвеца Хара-Хото, где ни собаки, ни воробья, — я видел стертый с земли Гомель, разбитый Чернигов...»

Рассказывая о том, что происходило на судебном процессе, писатель вел внутренний монолог: «Так кто же убил вас в самом цвету — города, яблони, радость и песни наши? Вот они сидят на скамье подсудимых... Пусть каждый, даже с далекого Алтая, посмотрит в лицо убийц...»

В литературном творчестве часто случаются вещи на первый взгляд необъясни-

мые, но за случайными фразами всегда угадываются направления поиска, и при внимательном перечитывании леоновских книг не будет сомнений: тема Алтая вошла в репортаж 1943 года из тех сюжетных линий, которые уже выстраивались в творческом воображении мастера. Развалины древнего Хара-Хото и люди, жившие в годы войны на Алтае, находились в его мастерской где-то рядом.

Роман Леонида Леонова «Русский лес» вышел сразу после войны, там профессор Вихров рассказывал в своей лекции перед студентами о наших бескрайних лесах, об их исторической судьбе и мировом значении, рассказывал о сибирской тайге и лесах Алтая. Но кто был прообразом и прототипом леоновского героя? Это был собирательный образ, своими корнями ухидивший в довоенное время — как, впрочем, и замысел ито-

говой книги «Пирамида», где главный герой о. Матвей Лоскутов уходит паломником все туда же, в горы Алтая.

Но что за неведомая, тайная и неодолимая сила повлекла попа-расстригу на далекий Алтай?

Первые строки романа ведут нас к концу 30-х годов, когда сам повествователь однажды забрел на Старо-Федосеевский погост и стал невольным свидетелем Всенощной, которая близилась к своему завершению. «Поющая девочка на клиросе сразу привлекла мое внимание... Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком... Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место — узнать, кто ее незримый собеседник».

Девочку звали Дуня, она была дочерью местного священника о. Матвея. А ее собеседником оказался... сошедший с церковной фрески ангел. Все, что происходило в церкви, воспринималось повествователем как отжившее, ветхое, как ситуация «перед уходом Божества». Храм Божий для автора — часть «обитали мертвых». Взволновавшая его «тайна» была совсем иного рода, нежели церковные таинства. Фигура странного ангела, запертая кованая дверь на фреске — вот истинный клад, который бросал случайного посетителя храма в «озноб открытия».

Земное и небесное — вот две темы, из которых выростала его «Пирамида», своим основанием уходившая в довоенное время.

В 1943 году, когда Леонов писал свой репортаж «Ярость» с мимолетным упоминанием Алтая, в далекой Ойрот-Туре опорный пункт Мичуринского института был реорганизован в Алтайскую зональную плодово-ягодную опытную станцию. С этого времени стала разрастаться экспериментальная и производственная база, ареал влияния новой станции с появлением Чемальского и Барнальского опорных пунктов заметно расширился, а позднее открылись Шипуновский и все другие опорные пункты станции.

Созданию центра алтайского садоводства предшествовал съезд колхозников-опытников, собранный в 1932 году в Москве «Крестьянской газетой», там прозвучал утверждающе-оптимистический доклад «Сибирь будет покрыта садами», с которым выступил садовод-опытник из Ачинска Михаил Лисавенко. Его заметили и предложили съездить в город Козлов, к самому Мичурину.

Когда 34-летний Михаил Лисавенко приехал к патриарху российского садоводства Ивану Мичурину, тот дал ему наставление: «На востоке страны совершенно нет садов. Михаил Афанасьевич, поезжай-ка ты на Алтай... Это очень богатый край на самом юге Западной Сибири». А вот фотография с признательной надписью Мичурина: «Одному из талантливейших селекционеров современности Михаилу Афанасьевичу Лисавенко». И напутствие: *«Иди напролом и умей постоять за свое дело. И тогда ты победишь».*

С весны 1933-го Михаил Лисавенко — в Горном Алтае, там он был принят в штат Ойротского облземуправления садоводом, а в облисполкоме дружно поддержали его идею об организации питомника, выделили ему четыре тысячи рублей и ходатайствовали перед НИИ плодородства имени Мичурина взять ойрот-туринский пункт под методическое руководство. Ответили новому хозяйству четыре гектара земли в урочище Татанак, и в первый же год там появился плакат со словами «Я знаю: саду цвести!»

Десять лет спустя строки об Алтае и цветущих садах в леоновском репортаже оказались рядом, и это — не случайность.

В 1943 году, когда Леонид Леонов, будучи фронтовым корреспондентом, колесил по дорогам Украины, изредка возвращаясь в столицу, Михаил Лисавенко продолжал свою переписку с будущим автором «Русского леса», он писал о своих успехах и обо всех хозяйственных заботах. По свидетельствам родных и близких, в архиве Михаила Афанасьевича вместе с письмами от Леонида Леонова сохранились другие письма, которые приходили в Ойрот-Туру будущему академику от лучших людей того времени.

Эпистолярное наследие Михаила Лисавенко еще не открыто, и как только оно откроется, весь Алтай сможет удостовериться, насколько был велик этот человек и как его творчество отражалось в искусстве лучших мастеров его времени. Строка в леоновском репортаже — всего лишь пунктир, по которому может пойти направление поиска.

Дом Михаила Лисавенко всегда был полон гостей, под его крышей собирались разные ученые, писатели. Лисавенко дружил с Леонидом Леоновым, Евгением Федоровым, встречался с ними в Москве, а на Алтай к нему приезжал в войну академик Н. И. Вавилов. В те годы по соседству в Белокурихе жил в эвакуации Константин Паустовский, и, по воспоминаниям прославленного садовода Юрия Дмитриевича Бурого, «доктор Пауст» тоже бывал в Ойрот-Туре в гостях у будущего академика.

В каком из его писем предугадано появление леоновской «Пирамиды»?

Говорить о том, что Паустовский и Леонов поддерживали после войны тесные дружеские отношения, не приходится — оба предпочитали уединение всяческой суете, и оба знали истинную цену Слова. Вполне возможно, что у кого-нибудь есть мемуары, в которых оба писателя объединены темой Алтая, может быть, они касались ее в своих немногословных разговорах. Но вот что известно с полной достоверностью: в судьбе того и другого писателя был Юрий Рерих.

«Да, Рерих действительно был инакомыслящим. Он не желал подстраиваться под жесткие рамки тогдашней цензуры, — сообщается в одном из воспоминаний. — А самое главное — он не желал скрывать своих истинных взглядов. Он не прятал своего инакомыслия — напротив, делился им с другими людьми. С ним встречались, получали от него запрещенные тогда книги «Живой Этики» писатели Иван Ефремов, Константин Паустовский, Леонид Леонов, художники В. Черноволенко, Б. Смирнов-Русецкий. К нему в Москву приезжали члены разгромленного в 30-е годы рериховских обществ и молодые участники будущего рериховского движения в России...»

А вот свидетельства Гунты Рудзите о встречах с посланцем таинственной Шамбалы: «Иногда во внутреннем кармане пиджака у собеседников Юрия Николаевича находилась любимая книга “Агни Йоги”... Эти книги распространялись тайком, из рук в руки. Их читали и Иван Ефремов, и Константин Паустовский, и Леонид Леонов; знал Учение, оказывается, и Максимилиан Волошин, который в 1926 году встретился с Рерихами в Москве».

Из путешествия по Алтаю они вынесли новую книгу Учения, и с 1926 года их «Община» пошла по кругу, в который вошел либо тогда же, либо чуть позже Леонид Леонов, будущий автор «Пирамиды».

Сохранилось его признание: «Люблю Рериха!» А любовь писателя держалась на том, что ему всегда были близки рериховские мысли и мечтания о «светлом и чистом человечестве, — но еще ближе его страх утратить некое вечное сокровище, которое мы постепенно, незаметно и запросто разучиваемся ценить». Слова, которые помогут нам чуть позже в понимании тайного, сокровенного смысла его «Пирамиды».

До сих пор одни критики пытались судить о главной вершине Леонова, к которой он шел почти 50 лет, с позиций догматов пра-

вославной Церкви — другие же, напротив, искали в «Пирамиде» только философию общечеловеческого звучания, далекую от какой-либо идеологии, а тем более — от религиозных догм. Но никто, как мне показалось, не говорил о его «романе-наваждении» с позиций того учения, которое завезли к нам Рерихи.

Встречи Леонида Леонова с живым участником международной экспедиции «Алтай — Гималаи» проходили в конце 50-х, когда начиналась его работа над «Пирамидой», и, как знать, изначальные корни леоновского инакомыслия могли быть именно там, в рериховском течении, и сама мистическая связь его «Пирамиды» с горами Алтая была, видит бог, там же.

Это было время хрущевской «оттепели», время каких-то надежд, а Леонид Леонов, к удивлению почитателей, вот как закончил один из своих романов, переизданный в 1957 году, когда на родину вернулся Юрий Рерих: *«Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель».*

Тридцать лет спустя он говорил о горбачевской перестройке примерно те же неприветливые и холодные слова. До конца своего жизненного пути с конечной остановкой в 1994 году (через три месяца после выхода в свет «Пирамиды») писатель вел безостановочный внутренний монолог, вопрошая: *«Сколько лет длится атака на царствие Божие... Бегут и падают. И которые же добежали?»*

В первых строках автор-рассказчик (или, точнее, автобиографический персонаж) холодно-отстраненным взглядом созерцает богослужение в старом храме. И вместе с ним у каждого, кто держит «Пирамиду» в руках, поневоле возникают сомнения: а есть ли Бог в этом храме?

Временами одолевала о. Матвея по каким-то необъяснимым причинам «срочная надобность выяснить — слышат ли там, в небесах, что творится на святой Руси?» В год убийства Кирова жестокими ветрами на Старо-Федосеевском храме «порвало обшивку купола, и через дыры вместе с голубями ворвались недуги подобных зданий, покинутых Богом и людьми». Пророки и евангелисты в церковных росписях «покрылись известковыми нарывами, а запрестольная фреска вовсе превратилась в легкомысленный натюрморт». Зажмурясь, чтобы не видеть этого запустенья, о. Матвей «ничком валился на щербатый, выхоженный пол и, не просту-

жаясь, по часу и дольше лежал распластанный, шепча сто тридцать восьмой псалом, и так был насторожен слух, что слышал падевшие оторвавшейся от купола снежинки инея...»

Раскорчевка бывшей империи под всемирную цитадель интернационального братства, по тексту «Пирамиды», началась планомерным искоренением православия, заложенного в фундамент русской государственности. Старинный собор с наспех залатанными повреждениями октябрьского штурма еще сохранял свою внешнюю парадность, но никак не радовали бедного священника толпы богомольцев, бесконечные похороны и «зловещее обилие отовсюду слетевшейся экзотической гольтьбы».

И в эти трудные времена «из-под пера Матвеева вырвалось надгробное рыданье по отечеству» в письме опальному протопопу Устину Зуеву, который сумел, став пчеловодом, безнаказанно следовать своей вере в далекой алтайской глуши. В одном из своих писем с Алтая протопоп признавал: «сколь не просится у тела душа моя, чтоб отпустило ее отдохнуть на небесном приволье, противится, держит крепко, дай Бог, в чаянии лучших времен... напрасно машет крыльями, бедняжка, отцепиться не может».

Вот и в душе о. Матвея те же страдания: «Воистину обширная, незримая зола простирается ноне кругом нас: экое кострище из России содеяли — еще полвека отпыхает, пока не прогорит дотла! У них сколько веков плакал Иеремия, а мы только лишь спонинаем, — писал отец Матвей, — и кто знает, надолго ли хватит наших слез. Соблазнились православные на жидкое братство и, не понюхав, вкусили досыта...»

Перечитывая библейский плач Иеремии, он прозревал: «Нас взяли на заманку всемирного братства... Невольная приходит на ум догадка — не в том ли заключалось историческое предназначенье России, чтобы с высот тысячелетнего величия и на глазах у человечества рухнуть наземь и тем самым собственным примером предостеречь грядущие поколения от повторных затей учинить на земле без Христа и гения райскую житуху? И вот лукавый бес ночной шепчет мне под руку полюбоваться — как причудливо выполняется у нас Нагорное пророчество о примате нищих духом в царстве Божиим».

Осенью 2009-го Захар Прилепин, воссоздавший весь трудный путь Леонида Леонова в «Библиотеке ЖЗЛ», выступил на страницах «Литературной России» с нашумевшей статьей «*Леонов и Сталин: последние*

*долги*». Он написал о том, как в 70-е годы Леонов признался одному из собеседников, что изначально в «Пирамиде» хотел «махнуть по атеистам» — это первая тема; и *объяснить* 37-й год («...иначе нам его не простят», — пояснил Леонов) — это тема вторая.

Среди знакомых, вернувшихся из лагерей, был близкий, еще по архангельской истории, старый друг Леонова — Зуев Александр Никанорович, которого забрали в 1938-м. Они встретились в 1954-м, много разговаривали, часто встречались... Нам пока еще неведомо, какими были реальные письма А. Н. Зуева из Сиблага, и где искать его «командировки». Как знать, и самый близкий друг Леонова тоже мог оказаться на Алтае среди «сибулонцев», поднимавших Чуйский тракт по крутым горным перевалам...

Строители коммунизма принимали свои страдания по тюрьмам и лагерям. Людмила Якимова, сотрудник Института филологии СО РАН, справедливо заметила, что от начала до конца творческого пути Леонова строительный образ башни-пирамиды служил ему верным художественным средством воссоздать трудный опыт жизнестроения, миростроительной практики человека. *Но была ли это только пирамида, без намеков на возведение новой Вавилонской башни?*

Один из главных героев «Пирамиды» писатель Вадим Лоскутов работает над романом о строительстве египетской пирамиды, «где этот вселенский образ предстает как символ социального неравенства». Но от обыденного представления об этом символе земного миростроения Вадим переходит к аллегории: тяжкая доля египетских рабов зримо соотносится под его пером с буднями строителей социализма, считает Л. Якимова, а на примере судьбы фараона он пытается укорить советского Вождя, присвоившего себе подобно фараону имя земного Бога.

Леонову для того и нужна эта «книга в книге», чтобы откорректировать страстного обличителя пирамидного мироустройства Вадима Лоскутова и чтобы в сложном диалоге о путях исторического прогресса пробилась на поверхность другая точка зрения — египтолога Филументьева, на глазах которого ложная социальная идея оборачивается «обширным котлованом под всемирный край братства», а пирамида оказывается «вещью мнимой бесполезности... но с коих, пожалуй, и начинается подлинная культура».

И здесь леоновский роман восходит по спирали к другой вершине советской литературы — «Котловану» Андрея Платонова.

По представлениям Леонова, советский вождь Сталин превратился в строителя очередной Башни Калафата, о которой автор «Пирамиды» написал еще в юношеском стихотворении 1916 года. Напоминая об этом, Захар Прилепин доказывает: человек не вправе стать больше, чем он есть — вот в чем смысл леоновской притчи о Калафате. И чем выше пытается возвести человек свою Башню, тем страшней будет его ужас при виде тщетности приложенных усилий.

К самым истокам его творчества, пишет о том же Л. Якимов, восходит «Притча о Калафате» — как отдельное, самостоятельное произведение, изданное только сейчас, но как вариант — уже вошедшее в роман «Барсуки», где молодой писатель предупреждал о необратимых издержках безоглядного волюнтаризма и экспериментаторства: «Страшен ты, страшен красный сок человеческий». И его убеждение, что «туда (т. е. к высоким целям и идеалам. — Н. В.) и другие дороги есть», краеугольным камнем ляжет в основание будущей «Пирамиды».

За год до смерти писатель несколько раз предлагал своей дочери Н. Леоновой: «Перечитай притчу о Калафате». И лишь со временем она стала понимать, что в этой притче — ключ ко всему творчеству создателя «Пирамиды».

Почему сталинская цензура запретила его рассказ о Калафате? В те времена, когда по всей стране начинали возводить монументы новым вождям, Леонов всего лишь напомнил о деспоте, который тоже мечтал, «чтоб все тому серебряному статуе кланялись, а, буде, кто не поклонится, — того в смоле варить...»

В притче царь Калафат уничтожил все капища прежних богов. «Пока-де я на земле — незачем молиться!» Закрыл и замки привесил... И в рассказе так же: «Растет башня... звенит железо, стонет глухо камень, рождается под ударами большой, грозный всевидящий каменный глаз: задумал Калафат на конце башни себя из камня поставить». И ради этого Калафат покориł многие «царствия», чтобы пленные строили ему башню до небес. Потрудились его солдаты, много народу побили, и видел царь, как «текут красные ручьи».

Построил он башню и «зверем ринулся побеждать небо. И прыгнул барсом вверх Калафат и оглянулся вокруг... и вдруг завыл, смертно завыл... Нет никакой башни, стоит

Калафат на голой земле... и на землю пал, и землю ногтями рвал».

Рассказ «Калафат» тоже можно считать притчей, только не стесненной никакими цензурными обстоятельствами. Ключом можно считать мечту Калафата: «Стою я на небе, а подо мною земля, а надо мной нет ничего!»

Это не просто посягательство на небеса, это их низвержение ради возвеличивания собственного «я». Такая мечта — апофеоз человеческой гордыни, чреватой катастрофами для всего человеческого сообщества. В притче эта мысль выражена так: «звезды поклеим»; это и было истинной целью строительства башни, названной в рассказе «камнем земного мятежа», и это было горьким предчувствием начала строительства очередной Вавилонской башни.

Много лет назад у Леонова спросили: какова эта «другая дорога», о которой говорится в притче о Калафате?.. Леонид Максимович пояснил: легенду о Калафате трактовали неверно... «Так вот — есть две дороги: вера и наука». Но стремление к материалистическому прогрессу без духовной цели неизменно приведет к падению — вот причина крушения Вавилонских башен, в том числе и Калафатовой. «Не остановишься, если бы захотел».

В июле 2006-го Борис Парамонов, выступая на Радио «Свобода», справедливо рассудил, что Леонид Леонов писал «Пирамиду» заведомо в стол — кто мог в начале, скажем, 70-х годов при гонениях на Сахарова и Солженицына думать, что доживет до конца советской власти?

«Пирамида» была опубликована в 1994 году. Но еще почти 70 лет назад Юлия Сазонова, эмигрировавшая после революции в Париж, писала о романе «Вор»: «Вопреки всем запретам Леонов в своем творчестве славит Христа и в Нем видит будущее спасение России... это помогает ему создать религиозный роман, продолжающий традицию Достоевского». И дальше: «...Леонов приходит к выводу... Земля без Бога есть обитель Смерти».

Юлия Сазонова предугадала формулу Леонова, прозвучавшую в его последнем романе — «Бессмысленность башни без Бога» — формулу, ставшую ключом к пониманию и последнего романа «Пирамида», и первого рассказа «Калафат».

Но есть и другой взгляд на леоновский шифр, вынесенный в название книги: вся история человечества обретает к «концу времен» вид пирамиды — или, как рисовал ан-

гелюид Дымков для Дуни Лоскутовой — сплюснутых треугольников со все убывающей высотой: чем дальше, тем уже и уже. До абсолютного нуля и перерождения в финале.

Этот роман — трудное чтение, но он, как мистический иероглиф, хранит тайну Мастера, оставленную нам в наследство. Так написал осенью 2008-го Дмитрий Мамлеев в «Известиях». И мы должны понимать, что перед нами не просто книга, предназначенная всего лишь для времяпрепровождения, — в этой книге извечный спор Знания и Веры, в котором нет и не может быть готовых ответов.

Прежде чем пуститься в свои странствия, чтобы оставить этот суетный мир, где торжествуют строители «царства Божия на земле» (но только уже без Бога), и уйти от этого мира в горы Алтая, о. Матвей много раз перечитывал Книгу Еноха, пытаясь понять, что же случилось с нашей страной. Почему ее оставил Бог, и даже безгрешные дети стали страдать наравне с безбожниками?

«Было известно с давних пор: распря небесная началась из-за человека, еще задолго до появления его на свет, — повествует текст «Пирамиды». — И лишь после уймы бессонных ночей... мысленно исследуя ускользающую от ума непреложную истину, наткнулся вдруг на каверзный и никем дотоле не поднимавшийся вопрос — а собственно зачем, в утоление какой печали Верховному Существо, не знающему наших забот, потребностей и вожделений, понадобились вдруг грешные, дерзкие, скорбные люди и почему никто пока не усомнился в туманном богословском постулате об изначальной любви к своим завтрашним творениям, ибо как можно заранее полюбить еще не родившихся?»

Отпадая от церкви, которая ничем не могла помочь православному люду, брошенному на растерзание комиссарам, о. Матвей «мучился над другою и явно духом тьмы навеянной догадкой, что человечество было изобретено по хозяйственным соображениям, дабы не пропадала даром излучаемая свыше благодать...» Такие соображения попа-расстриги выглядели откровенно богоборческими, но он не мог остановить их неотвратимый ход.

Догматическое свидетельство Моисея об оправдании нашего праотца по образоподобию Божию и переданное нам в апокрифе Еноха дерзкое поведение будущего сатаны подтверждали версию Матвея Петровича, что Адам «был задуман Богом как промежуточная рабочая ипостась между собою

и ангелами, с подчинением последних человеку». А затем была ссора, которая плачевно отразилась на дальнейшей истории человечества. «Впрочем, никаких ангельских мятежей не было, да и не могло быть, потому что как могли призраки пронзать друг друга копьями, рубить саблями, оставаясь бессмертными?»

*Что же это за книга, к которой обратился перед своим уходом на Алтай бывший священнослужитель Матвей Лоскутов?*

О Енохе, седьмом по счету потомке Адама, из Библии известно, что жил он 65 лет и родил Мафусаила. И ходил Енох перед Богом, по рождении Мафусаила, еще триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом; и не стало его, потому что Бог взял его (Быт 5:21-24).

Что выражено в образе Еноха, когда известно, что число его лет — это число дней в году? В его Книге сказано, что полученные на небесах знания он вложил в 360 книг, чтобы передать их людям. И чем объяснить тот факт, что в эзотерической литературе Енох принимал посвящение на неведомой 12-й планете, а по-алтайски имя ее — Таянар?

Считается, что Енох был взят, как и пророк Илия, на небо живым то ли за неземную праведность, то ли еще почему-то. Книга Еноха — о его путешествии на небо, где пророк стал свидетелем восстания Сынов Божиих, картины грядущего конца света, постиг небесную механику и много иного сокровенного. Его видения и пророчества, собственно, и составили Книгу, стоящую до сих пор особняком в христианских книгохранилищах.

Енох (в переводе с еврейского — Посвященный, Посвященный, Учитель) известен в иудаизме как ветхозаветный патриарх, а для историков оккультизма это — Гермес-Тот, или автор «*Изумрудной скрижали*» Гермес Трисмегист. В его поисках на Алтай до сих пор устремляются провозвестники зарождения новой, «шестой расы». Общени с ним ждала на Алтае поклонница рериховских идей, американка Кэрол Хилтнер, написавшая в «*Скрижалях Света*» о своих поисках.

По легенде, Енох написал книгу, которую его правнук Ной спас во время потопа. На нее ссылался апостол Иуда в своем послании, об этой книге есть упоминания у древних писателей — Тертуллиана, Оригена и других авторов, почитаемых в нынешних эзотерических кругах. Но сам текст был неизвестен до XVIII века, пока его не обнару-

жили в составе эфиопской Библии, где он изначально входил в церковный канон.

*Почему же современная церковь не пожелала включить текст апокрифа в каноническое Писание?* Среди самых распространенных объяснений было такое: ангелы в Книге Еноха как бы «приземлены», по сюжету книги они брали себе в жены «дочерей человеческих», после чего Всевышний всем в наказание устроил потоп.

В Книге Бытия ангелы, сошедшие с небес, именуются как сыны Божии — в отличие от остальных, рабов Божьих (Быт. 6:14). В комментариях к Торе сказано: после сотворения человека ангелы преисполнились ревностью, поскольку вся Божественная любовь была направлена на это создание, и они всячески старались очернить человечество перед Всевышним. Тогда Господь предложил ангелам облечься плотью и отправиться на землю.

И точно так же в романе «Пирамида» с небес пришел на землю новый ангел, принявший фамилию Дымкова — его-то и обнаружила в храме Дуня Лоскутова. С первых строк своего романа Леонид Леонов решил продолжить древний сюжет Книги Еноха, но только без земных страстей по Дымкову.

Двести ангелов под предводительством Азазеля спустились в допотопные времена на землю и обрели телесную природу, но вместе с плотью они получили и то дурное начало, которое есть в человеке. Ангелы стали вступать в браки с земными женщинами, и от этих браков рождались великаны. Кроме того, падшие ангелы научили людей таким искусствам и наукам, которых лучше бы им не знать. Азазель научил людей делать мечи и железные ножи, щиты и доспехи, научил людей прорывать шахты, добывать металлы и драгоценные камни, а также поведал о свойствах драгоценных камней. Так в мире появилась зависть, люди стали убивать друг друга из-за драгоценных металлов и камней.

Дети же, рождавшиеся от ангелов и «дочерей человеческих», были великанами. Обладая недюжинной физической силой, они не имели того нравственного стержня, который отличал их родителей-ангелов. Они творили на земле беззаконие, пользуясь силой и колдовством. Все это привело к тому, что Всевышний послал четырех своих ангелов — Уриеля, Михаеля, Гавриеля и Рафаеля — для изъятия падших ангелов с земли и последующего наказания их.

Каждый из ангелов получил свой срок пребывания в аду — кроме Азазеля, который остался в этом мире и, по одной из ле-

генд, вышел в люди. В талмудической литературе его называли сатаной, а в наши дни особо «продвинутые» оккультисты видят в падшем ангеле Люцифере носителя истинного Света и поклоняются сатане, ставшему на земле богочеловеком. В книгах Агни Йоги имя его — «Свет утренней звезды»; иногда это «Несущий свет», но во всех случаях имя нового Бога одно — Люцифер.

Первый бунт, по версии Леонова (ориентированного на Книгу Еноха, если же точнее — на Коран), случился, когда Бог создал людей и подчинил им ангелов. «Как мог Ты созданных из огня подчинить созданиям из глины?» — воскликнул тогда предводитель ангелов.

Новая эпоха Огня — в мечтах и ожиданиях верных последователей учения Агни Йоги, к которым принадлежал в свое время и создатель «Пирамиды».

И если бы ангел Дымков, ведомый рукой Сталина, был способен лишить людей разума (а в конечном итоге — того божественного духа, что был в них вдохнут), то человечество вновь могло бы превратиться в ничтожество. Из одухотворенной глины оно стало бы просто глиной...

И Бог понял бы, что его вера в человека и любовь к человеку были напрасны, ненужны. «Пирамида» в том числе и об этом.

В романе Леонова — проблема, по утверждению Дмитрия Быкова, обозначенная задолго до него в Книге Еноха, главном мифологическом источнике «Пирамиды»: несовершенство проекта, заложенное в нем изначально. «*Господи, в твоей формуле ошибка!*» — «*Я знаю...*»

Именно это несовершенство — толчок истории, залог ее развития. В человеке нарушен баланс «огня и глины», а потому в конце своего пути человек обречен уничтожить свой мир — это и есть главная цель истории, отсюда ее неизбежный эсхатологизм, отсюда же пессимизм большинства леоновских героев.

Как сказано в книге Леонова: «По примеру пророков древности, вдохновляющих свое войско виденьями земли обетованной, мы тоже зарядили каждого доброй чаркой пламени перед штурмом. Однако возникшая было надежда уложиться в отпущенный нам историей срок шибко поубавилась под влиянием не сопротивления вражеского, а кое-каких досадных, потому что с запозданием осознанных, соображений о самой натуре людской».

Церковь, которая встала на путь сотрудничества с красными комиссарами, могла

восприниматься о. Матвеем как продолжательница тех традиций, что закладывались при патриархе Никоне, с отказом от старых укладов и обрядов. Церковь не могла быть иной после череды отступлений от старой веры, и такой взгляд был бы удобен, когда б не Книга Еноха с небесными откровениями, которые далеки ото всех церковных традиций.

Раскол случился на Руси вовсе не при патриархе Никоне — его предшественники появлялись и в прежних столетиях. И даже не люди виновны в том, что Церковь распалась. Ученик Шатаницкого, легковверный Никанор убеждает автора стать «соглядатаем грядущего» и осуществить «публикацию новой схемы небесного раскола», чтобы «лоскутовская эпопея вывела бы читателя на простор закосмических обобщений».

Суть внушения, или задания, или наваждения, захватившего писателя, — «публикация» новой картины мира, которая должна заменить собой предыдущие. Новая вера отца Матвея — от разрыва между Небом и землей, между Творцом и его творением, предположил А. Любомудров. Образ пустых небес, откуда нет отклика, — вот лейтмотив «Пирамиды». Любая молитва к таким небесам — бессильна. И поэтому в основе богословия Матвея Лоскутова только один мотив, по своим истокам очень земной и простой, — *обида на Бога*.

Вот где истоки его «наваждения».

Сам Леонов так и сказал об эволюции своей творческой работы над книгой: «Тема началась с очертания мира, а кончилась штурмом неба»; «В первой редакции хотел по атеистам махнуть, а махнул по Богу...» Признание, надо сказать, более чем красноречивое. Христос прямо назван в леоновском романе «бывшим Богом», и в этом нет никакого элемента случайности, когда знаешь, что в годы хрущевской оттепели автор «Пирамиды» пришел к Агни Йоге.

Весь разговор Матвея Лоскутова с горбуном Алешей (как авторский спор с самим Достоевским) его преследовала неотвязная мысль о «плохой работе» Сына Божьего — «по совокупности скопившихся несчастий» на земле после Его крестного подвига. Посылая Сына на казнь, Бог искупал... свой собственный грех за ошибку случайного творения. Допуская, что Бог греховен, вероотступник Матвей Лоскутов явно осознавал, что «отрекся от коренного догмата веры». И эту же «догадку об истинной сути искупления» разделяла его дочь Дуня.

Но если Бог переставал восприниматься как Друг, то и сатана переставал восприниматься как враг.

Накануне своих алтайских исканий потерявший веру о. Матвей встретил горбуна Алексея, которого назвали таким же именем, «как и тезку его, Божьего человека из любимого русского сказанья, что расположило батюшку в сторону большого доверия». И эта запретная принадлежность к Церкви располагала к тому, что «разговор у них принял дружественный оттенок».

— С котомкой-то, отец, никак в путешествие собрался? — судя по скользнувшей нотке надежды, не без тайного расчета справился горбун Алеша, на что батюшка туманно, с одной стороны, якобы под давлением семейных разногласий, с другой же — будучи целиком отчислен от жизни, повинился в намеренье завершить дни в уединенье от мирской суеты. Тем легче далась ему «спасительная полуправда, что еще в отрочестве, начитавшись староверческих книжек из чердачного ларя у своего опекуна и благодетеля», возымел он жгучее влечение к странничеству...

Из староверческих книжек о. Матвей узнал, наверно, еще в отроческие годы старую легенду о Беловодье, и, может быть, ему открылись еще с тех лет маршруты старинных «Путешественников», по которым уходили на Алтай выходцы из керженских лесов, приверженцы традиций Выговской пустыни, потомки новгородцев и вятичей — все хранители древлеправославной святоотеческой веры.

— Вот в дебрь алтайскую, где поглубже, устремляюсь... пособил Господь! — с благодарностью Создателю отвечал о. Матвей на Алешин вопрос — далеко ли направился? — причем самое слово вырвалось произвольно, не для сокрытия следов, а как издавна дивное и утешное пристанище всякого рода русских беглецов.

Уход от мира, бегство от реальной жизни — вот цель, которую поставил перед собой разуверившийся во всем о. Матвей. Принимая новую веру, он снова и снова возвращался к Книге Еноха, задавая сам себе вопрос: если ангелы могли появляться на Земле в допотопные времена, то, может, и теперь они ходят среди нас? Может, как в будущей песне: «Ангелы рядом, брат!...»

Развитие событий показало в дальнейшем, повествует текст «Пирамиды», что мир действительно стоял на пороге грандиозных перемен, и если бы не сорвалось наикрупнейшее политическое дельце великого вождя, «то предосудительное ныне ангеловедение давно стало бы разделом Большого Естествознания со всеми академическими атрибуциями...».



И еще одно, предельно откровенное рассуждение Леонида Леонова: «Вне зависимости, произошла ли она (“божественная размолвка”) из-за противодействия ангелов ближайшего окружения действительно странному намерению Творца навязать себе на шею род людской, или же появление последнего рассматривать как наглядное возмездие отверженному ангельскому клану, в обоих случаях движущим фактором является его ревнивая любовь к Отцу. И не в том ли заключается их коварная деятельность, чтобы мнимым покровительством своим соперникам, потачкой их похоти, лестью их уму низвести в предельное ничтожество, чтобы тот увидел возлюбленных своих в омерзительной ярости самоистребления, с апофеозом гниющей пирамиды в конце, и ужаснулся бы — ради кого отвергнул одних и кому предпечел других...».

При этом автор «Пирамиды» признавал, что у Еноха упоминались в свое время и другие, непостижимые для нас толкования разрыва...

Летом 1991-го в Москву приезжал доктор Джеймс Биллингтон, директор библиотеки конгресса США, советолог и русист. По его просьбе Дмитрий Мамлеев организовал тогда ему встречу с Леоновым. Состоялась интереснейшая беседа, шел разговор о творчестве и перестройке, о природе и демократии. И, конечно же, о новом романе «Пирамида»:

— Мы замахнулись на саму природу, — размышлял тогда Леонид Максимович. — Но на таком полете менять двигатель в самолете со скоростью — очень опасный замах. Эта мысль развивается у меня в новом романе. История распалась на два начала — добро и зло... В доме пожар, надо тушить огонь. А у нас керосин подливают, и со всех сторон летит — альтернатива, консенсус, элита, имидж. Народ этим словам не верит и еще не сказал своего последнего слова...

А вот строки из его романа:

«Октябрьская революция началась не позавчера, ее истоки теряются в еще дохристианской мгле, плохо доступной невооруженному уму. Христианство возникло как утешительная надежда скорбящих на посмертное вознаграждение. Но уже к концу первого тысячелетия его обезболивающее действие стало настолько ослабевать, что разочарование надоумило передовых мыслителей на осуществление проблематичного блаженства небесного по возможности в прижизненных пределах, на земле.

Наиболее удобный момент для попытки такого рода представился лишь к концу

второго тысячелетия, когда по техническим и прочим показателям новая общественная фаза оказалась почти рядом, правда, по ту сторону вполне неприступной скалы — в смысле серьезной биологической перестройки...»

С какой миссией появлялся на земле леоновский ангелоид Дымков? И можно ли предполагать, что его явление народу — некое провозвестие перед приходом «шестой расы» в Эпоху огня? Прямых указаний на свое следование рериховским идеям Леонов в «Пирамиде» не оставил, но в ее тексте рассыпаны красноречивые намеки для приверженцев Агни Йоги.

В самом названии леоновского романа — идея Огня. Это может казаться странным, но в слове «пирамида» нет на самом деле ничего «треугольного»; «мера огня», «средоточие огня» — вот изначальный, эзотерический смысл древнего слова. И здесь опять-таки название романа перекликается с названиями книг «огненного учения», переданного через Рерихов.

В апреле 1926-го в Урумчи, по пути на Алтай, Рерих нарисовал пирамиду для памятника Красному Вождю. Пребывание его экспедиции в столице Джунгарии совпало с подготовкой к открытию медного памятника Ленину на территории советского генконсульства. И как раз в тот день, когда статую получили из Москвы, Рерих оказался на приеме у консула, который попросил художника сделать наброски эскизов для постамента.

Наутро, ко дню рождения Ленина, они были готовы. В проекте Рериха пьедесталом была усеченная пирамида из красного камня. Об этом рассказывал дипломат А. Быстров в «Дневнике Генерального консульства СССР в Урумчи». Кстати, ленинская усыпальница на Красной площади — все та же пирамида, завещанная великими Учителями.

После экспедиции «Алтай — Гималаи» по рериховскому эскизу в Америке была запущена «пирамида власти», безостановочно работающая по сей день. Это убедительно показал Драгош Калаич в блестящем эссе «О символике доллара». Слева на однодолларовой купюре Рерих поместил все ту же пирамиду, один из главных объектов поклонения «вольных каменщиков». Так зовут себя братья-масоны, якобы ведущие родословную от жрецов и тайных обществ Древнего Египта. Но пирамида у него какая-то странная — усеченная и сложенная из тринадцати ступеней.

По одному из толкований, в усеченной пирамиде из тринадцати кирпичных ярусов

каждый кирпич обозначает какой-то народ или государство, и она как бы указывает на «неполноту» человечества без всевластной «вершины». А вот и сам символ властительной «вершины» — треугольное око «Великого Архитектора Вселенной», увенчанное латинской надписью из тринадцати букв: «Annuit Coeptis», что означает: «избранному» классу предопределено править миром.

По другим толкованиям, ее называют «пирамидой Иллюминатов (Просвещенных)», представителей старинных масонских лож. Структура иллюминатов состоит из тринадцати степеней посвящения, и это наглядно отражено в тринадцати ступенях пирамиды на рериховском долларе. Вершина обезглавленной пирамиды как бы парит в лучах над основанием. В треугольнике (это еще один «знаковый» масонский символ) виден глаз. Специалисты называют его по-разному: «Всевидящее Око», око «Великого Архитектора Вселенной» — шефа всех масонов, а то и просто «глаз Люцифера». Как ни толкуй, это глаз все того же падшего ангела из Книги Еноха, взгляд самого Сатаны...

Снизу пирамида окаймлена лентой с девизом на латыни «Novus ordo seclorum» («Новый мировой порядок»). Что же мы получаем в итоге? «Благословлен Новый мировой порядок!» Тот самый, основанный на принципах масонства. Всевидящее Око, сам падший ангел Люцифер царит теперь над пирамидой — всеми народами мира. Нам ясно дается понять, к какому богу относится девиз в центре купюры: «In God We Trust» («Мы верим в Бога»).

Американскому историку Альфреду Сигерту потребовалось целое расследование, долгие годы работы в архивах, прежде чем сделать такой же вывод: над дизайном однодолларовой купюры под псевдонимом «С. Макроновский» работал не кто иной как русский мистик, философ и художник Николай Рерих! А когда А. Сигерт установил, что купюра в один доллар была разработана Рерихом в соавторстве с Рузвельтом, он был просто ошеломлен.

В наше время одно только упоминание о том, что Рерих был членом масонской ложи, розенкрейцером, имевшим высшую степень посвящения, вызывает бурю негодования в рядах его почитателей. Но вот что писала участница алтайской экспедиции З. Фосдик 29 ноября 1929 года: «Н. К. получил диплом от Общества розенкрейцеров...» (З. Г. Фосдик. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. (По страницам дневника: 1922—1934). М.: Сфера,

1998. — с. 539). Копия диплома хранится в архиве Музея Н. К. Рериха в Нью-Йорке, оригинал — по новейшим данным — в Москве.

А в сентябре 2009-го на «Бирюзовой Катунь» собрались поклонники Николая Рериха — чтобы увидеть торжественное открытие памятника своему Учителю. Высота его — 3,5 метра, а постамент выполнен в виде все той же усеченной пирамиды. Материалы для изготовления «пирамиды Рериха» были добыты на Алтае, а белый мрамор привезли с Урала.

По отзывам его почитателей, место для Пирамиды оказалось «знаковым» — рядом с Тавдинскими пещерами, но, как высказывались приверженцы древних алтайских традиций, «пирамиду Рериха» вряд ли стоило возводить в исконном месте шаманских камланий, тем более по соседству с пещерами, где в окружении змей обитает владыка преисподней, хозяин тьмы Эрлик.

В романе, который остался недописанным, нет прямых указаний, что же пытался найти поп-расстрига Матвей Лоскутов в горах Алтая. В годы, когда последователи новомодных оккультных и эзотерических учений пестрыми потоками устремились на Алтай в поисках новой веры, Леонов мог повально воспринимать тексты из серии Агни Йоги, с которыми впервые пришлось ознакомиться в самиздате еще при Хрущеве. *Но почему он ни разу не высказал своего отношения к рериховскому Учению, ограничившись только намеками?*

Сомнения Леонова (реального, а не «рассказчика») в Божественной любви к роду людскому приводила в свое время Т. Земскова. Писатель не принимал идеи Страшного суда, высказывал свои мысли об ответственности Творца перед творением. В записях его бесед с Н. Грозновой (1970—1993) просматриваются многие концептуальные идеи «Пирамиды», среди которых и главная для нашего разговора — об исторической исчерпанности христианства:

«Путь к христианству — это в старое время. Сейчас идти некуда, христианство “закрыто на переучет”»; «...в романе священник не может защитить христианство, оно представляется ему обманом... Нужны другие догматы».

Мог ли писатель воспринимать в качестве новых догматов книги из серии «Живая Этика»? У нас еще будет время, чтобы вернуться к этому вопросу. И прежде чем искать на него ответ, следовало бы заново перечитать его роман, до сих пор остающийся для нашей критики таким же «непостижимым», как и в момент его издания.

На страницах леоновской «Пирамиды» не только бывший священнослужитель о. Матвей ждет «великого духовного обновителя». Номенклатурные владыки неба и земли, развивает эту идею богохульствующий Никамор, нечувствительны больше к земной боли людской. «Нынче нужны нам не крылатые генералы света и тьмы, а некто, способный просто пожалеть находящееся на исходе человечество, и еще неизвестно, чем обернулось бы дело, кабы нашелся третий...»

Дуня мечтает, используя чудотворные способности пришельца Дымкова, делать людям «добрые дела», дарить им «внезапное счастье». Эти благодеяния предполагается проводить во всемирном масштабе. Правда, осуществлять их надо «под контролем... сведушего руководителя», на роль которого предназначается, конечно же, «обманутый небесами Матвей Лоскутов».

При всей парадоксальности такого сопоставления, один из критиков увидел в роли смиренной Дуни ясновидящую Вангу, которой поклонялись у нас в стране последователи всего оккультного и мистического. Леонов впервые побывал у ясновидящей Ванги в 1970 году, и эта встреча, по его признанию, перевернула все его мировоззрение. Леонов верил ее пророчаниям, задавал ей вопросы о своем будущем, о том, каким должен быть его роман. Леонов доверился ей без остатка. Ванга уверяла, например, что «отдельные пришельцы из других миров уже давно живут на Земле...» Многие картины «Пирамиды» очень близки к ее видениям.

Свои упования персонажи леоновского романа связывают с неким существом из Космоса, по-видимому «добрым» и «хорошим», которое будет вдохновлять человечество чудесами (но «не досыта», чтобы не привыкли), будет оказывать всяческие благодеяния людям, при этом его советником и даже руководителем выступит человек, ожидающий прихода «некоего третьего», кто бы пожалел человечество. С позиции христианского мировоззрения все это — давно предсказанный этап на пути принятия миром антихриста, который тоже будет творить чудеса, «добрые дела» и «предложит человечеству устройство высшего земного благосостояния и благоденствия» — но только ценой отречения от правды Евангелия.

Такого рода управление человечеством с помощью чуда показано ясновидящей Дуни в одной из футурологических картин. Некие «хранители устоев», жрецы святилища, правят миром с помощью яйцеобразного агрегата, в котором сосредоточены все

тайны и знания. (Может, в поисках их и подался о. Матвей в горы Алтая?) Это «яйцо» представлено как «подлинное чудо, до крохотности доверчивое и беззащитное», а его уничтожение «крутолобыми ребятами», увидевшими в нем «коловдовскую игрушку», вызывает у нее боль.

Насколько близка идея управления человечеством группой избранных «мудрецов» самому писателю? По свидетельству К. Смирнова, Леонид Леонов считал, что «планете нынче очень нужен какой-то всечеловеческий высший совет — мыслителей, пророков, праотцев. Мудрых, имеющих мужество додумать все до конца».

Ничего нового, кроме старых идей о приходе к власти Мирового правительства.

Размышляя о трагических судьбах родной страны, автор «Пирамиды» приходит к парадоксальным выводам: «Нам повезло в том, что на святой Руси... наличия упряжи и самовара всегда с избытком хватало для возникновения острой классовой неприязни. И так как высшим богатством людским принято считать осознанную память о прошлом, иначе сказать — ум, то истинная цена личности запросто читается в ее взоре... Таким образом, внутривидовое замыкание полюсов может начаться стихийной, не обязательно буквальной пальбой по крохотной бисеринке света в чужом зрачке, главной мишени преступного божественного превосходства...»

Божественный взор Учителя, неземной свет в Его глазах и собственное привыкание к тому, чтобы ходить, будучи верным Учеником, среди «двуногих» как среди самых низших и «темных» существ, — такие переключения между «Пирамидой» и, скажем, «Иерархией» легко узнаваемы. Но, будучи озабоченными поиском энергии космического Огня для собственного внутреннего потребления, не рассчитанного на широкую публику, агни-йогии могли не заметить леоновского предупреждения: «Однажды подожженное изнутри горячее такого рода, в мелких соревновательных дозировках служившее движущим топливом прогресса, имеет свойство полахать, пока не выгорит дочиста...»

Роман остался незавершенным, и трудно сказать, какое развитие могли получить в «Пирамиде» такого рода суждения. Если в раннем романе «Скутаревский» (1932) мелькнула — со ссылкой на Бебеля — наполненная пророческим смыслом фраза о том, что для проведения эксперимента, т. е. «для построения социализма» «прежде всего нужно найти страну, которой не жалко», то к кон-

цу века, по наблюдениям Л. Якимовой, тревожность прогноза писателя возросла до масштаба всей Земли.

«В безудержной гоньбе за удовлетворением материально-телесных благ» унифицированное в непомерном росте своих потребностей и безостановочно растущее население планеты окажется на краю бездны, приведет себя к самоуничтожению; жизнь на Земле закончится, по выражению Леонова, «самовозгоранием человечины». *Но каким был для него этот Огонь — благодатным и очистительным, или же это была предсказанная всеми пророками геенна огненная, и совсем не космический, но беспощадный адский огонь?*

«В доме пожар, надо тушить огонь», — говорил Л. Леонов за три года до выхода «Пирамиды». И, видимо, уже тогда он видел последние картины своего романа: «Никогда не бывал зимой в тех краях, но вот непонятное, с утра, томление повлекло меня к ним на окраину». Это о том, как память возвращала его к старому храму, обреченному новой властью на уничтожение. Повествователь рассказывает, как его слуха «достигли протяжный скрип и неопознаваемый издали цепной скрежет. Так объяснялась моя боязнь опоздать к чему-то: сносили Старо-Федосеевскую обитель...»

И дальше следует описание, которое не назвать иначе как апокалипсическим:

«Присев на округлый, верно из купола, кирпичный обломок с изображением орлиного крыла, наблюдал я творившуюся вокруг себя ударную суету. Как ни больно признаваться, любая работа у русских, тем более предпраздничная, идет куда скорее в чаянии премии, которая в прежние годы именовалась чаевыми. Казалось бы, благодарение создателю, мучительно и долго томившее меня наваждение схлынуло наконец, и сквозь напользавшие с запада тучи угадывалось чистое небо далеко впереди, но вместо ожидаемого облегчения овладевал мною непонятный, с примесью отчаянья, страх неизвестности, каким сопровождаются все эпохальные выздоровленья — от мечты, от прошлого, от самого себя в том числе».

Уничтожали еще один православный храм. «...Потянуло оглянуться перед уходом. Ни звонков трамвайных, ни паровозных окликов с окружной, в безмолвии вечерней окраины только и слышалось потрескивание исполинских костров. Столбы искр взвивались в отемневшее небо, когда подкидывали новую охапку древесного хлама на перемол огню. Они красиво реяли и гасли, опадая пеплом на истоптанный снег, на просторную окрестность по ту сторону поверженного наземь Старо-Федосеева, на мою подставленную ладонь погорельца».

На русской земле начиналась жизнь без Бога.



# НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

## Главы из биографического повествования

### «Я СГОРЕЛ НА СВОЕЙ «ПОГОРЕЛЬЩИНЕ»»...

Клюев не мог не ждать этого дня, не мог не предчувствовать его наступление.

Когда комиссар оперода Шиваров предъявил ему ордер, Николай прочитал, отошёл в сторону, тяжело уселся на низенький стул, предоставив свою дальнейшую судьбу Божьей воле.

А пришедшие «архангелы» со знанием дела рылись в его вещах и бумагах.

В протоколе обыска было подробно и добросовестно зафиксировано всё изъятое для представления в ОГПУ: «Рукопись поэмы “Я” (это была рукопись “Каин” со стёртым прежним заголовком и частично разорванными пополам страницами. — С. К.), вторая часть; рукопись поэмы “Погорельщина”, зелёная тетрадь с записями различных стихотворений на 34 страницах; рукопись сборника стихотворений “О чём шумят седые кедры” и другие, напечатанные на машинке на 54 листах; рукопись из первой части поэмы “Я” на первом листе; рукопись поэмы “Песнь о великой матери” на 82 страницах; рукопись стихотворения “Не верю” на двух листах; программа концерта от 9 октября 1914 г<ода>; книга Таро... и книга В. В. Розанова “Люди лунного света”; три записных книжки; шестнадцать писем и записок с адресами».

И сразу после того, как доставили поэта в узилище (не в первый раз приходилось знаться с тюрьмой, со следователями жестокими — да только видно было, что не обойдётся ныне всё так сравнительно легко, как прежде), составлены были анкеты арестованного и заполнен первый протокол допроса.

Шиваров своей рукой написал лишь клюевский московский адрес. Всё остальное заполнил сам Николай, заполнил дрожащей от слабости рукой. Фамилия, имя, отчество. Год и место рождения (здесь Клюев написал 1887, переправив «четвёрку» на «семёрку»). Местом рождения обозначил «Северный

край, г. Архангельск» (эти слова написаны еле-еле — рука с трудом держала казённое перо).

Место службы и должность занятий (так в анкете!): писатель.

Имущественное положение в момент ареста: нет (т. е. никакого «имущественного положения»).

Социальное происхождение: крестьянин (перо совсем выпадало из рук, слово написано так, что Шиваров был вынужден сверху написать его более разборчиво).

Политическое прошлое: нет (ответ чрезвычайно нетривиальный).

Национальность и гражданство: великоросс (представляю себе, как у Шиварова — болгарина по национальности и интернационалиста по призванию — «вскипела» нервная система от одного этого слова; самолично написал ниже «русский»).

Партийная принадлежность: здесь уже сам Шиваров поставил прочерк, среагировав на отрицательное движение Клюева. Не упомянул Николай ни о своём вступлении в ВКП(б), ни о последующем исключении.

Образование: грамотный (Шиваров, видимо, следуя утверждению самого Клюева, приписал в скобках: самоучка).

Состоял ли под судом и следствием: судился как политический при царском режиме (вряд ли Клюев думал всерьёз, что этот «пункт» как-то облегчит его положение, хотя — кто знает...).

Состояние здоровья: болен сердцем.

На фотографии из следственного дела — заросшее щетиной лицо измученного старика. Глаза, полные еле сдерживаемого страдания. И отчётливо заметные на лице следы побоев. Видно, следователь особо себя не ограничивал.

В протоколе допроса упомянуты как близкие родственники брат Пётр и сестра Клавдия. На вопрос об образовательном цензе сначала было указано: «три класса сельской школы». Потом исправлено: двухклассное уездное училище.

А потом был сам допрос. И касался он не политики, а сугубо интимных вещей.

«Вопрос: К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?»

Ответ: Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г<оду>.

Вопрос: Можете ли вы назвать все свои связи на почве мужеложества с этого времени?»

Ответ: Это будет мне затруднительно. Легче будет мне назвать мои связи на этой почве за последние годы.

Вопрос: С кем вы поддерживали устойчивые связи на почве мужеложества за последние годы?»

Ответ: С Львом Пулиным, проживающим у меня в течение последних 6—7 месяцев. Второе — с Анатолием Кравченко, за период с 1928 года по 1932 год без непосредственного полового акта. Третье — с Львом Груминским в 1927—28 году. Точнее установить этот срок затрудняюсь.

Поразительный протокол. Настолько поразительный, что практически каждая строчка его кричит: всё неправда!

Проще всего не думать, отмахнуться от этой «грязи», не пытаться выяснить степень достоверности приведённых ответов. Но — не получается. Ясное же дело, что «спусковым крючком» послужила «информация» Гронского на основании чтения стихов, посвящённых Яру. И это притом, что статьи за мужеложество в уголовном кодексе в это время не было. Она появилась через месяц с небольшим — 7 марта 1934 года.

То, что происходило на самом деле, во многом проясняют воспоминания Анастасии Александровны Пулиной (урождённой Ермаковой), жены Льва Ивановича Пулина, которую тот нашёл в 1936 году в Калининне, находясь там в ссылке. Рассказывала она со слов своего мужа.

«Ещё до ареста Л. И. его вызывали в органы, где предлагали стать осведомителем — доносить о разговорах в тех кругах, где ему приходилось бывать. Били. Однажды продержали (один день) в одиночке с глазком, куда было вставлено дуло пистолета. Арестовали его вместе с поэтом...»

Пулин был в курсе всех последних сочинений Клюева. Во всяком случае, он читал наизусть своей жене стихи цикла «Разруха», из которых она запомнила несколько строк.

Тугая, неразрывная сеть была сплетена вокруг поэта. Не берусь с уверенностью утверждать, что в «оперативную разработку» не попал и Анатолий, что и с ним не проводилось соответствующих «бесед». Но набирающий известность художник, уже работающий над сюжетами для парадных картин

из советской жизни и портретами вождей (во всяком случае, в начале 1930-х годов), — это одно дело. И совсем другое — студент и начинающий журналист Пулин. Вероятно, с ним обращались без особых церемоний.

Пулин, судя по всему, был поставлен перед жёстким выбором: либо 58-я статья со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо 151-я («Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости») — притом, что Пулину было 25 лет! — да ещё через 16-ю («Если то или иное общественно опасное действие прямо не предусмотрено настоящим кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления»).

Инкриминировать было, по сути, нечего, кроме так называемых «оперативных данных» — и то больше основанных на слухах, чем на реальности. Потому-то «дело» Пулина в тот же день и было выделено в «особое» с припиской, что следствие по нему необходимо «продолжать».

Лев пошёл на компромисс, позорный для себя (впрочем, едва ли он думал и тогда, и через много лет, что эти протоколы выплывут когда-либо из лубянских подвалов), но не «сдал» своего друга, не дал на него никаких дополнительных убийственных показаний. Получив 151-ю через 16-ю, он через два года тюрьмы поселился ссыльным в Калининне, откуда продолжал переписываться с Николаем.

Клюева ждала иная судьба. Он, будучи в тяжелейшем физическом состоянии, не потерял остроты ума и прекрасно понял игру следователя. Главное было — отвести прямую опасность от своих друзей. А там — будь что будет.

В отношении собственной судьбы он не питал никаких иллюзий. Через две недели состоялся второй и последний допрос, проходивший уже в совершенно ином тоне. Ни о какой «интимности» никто не вспоминал — о ней и речи не было. Предметом разговора стали убеждения поэта, у которого политического прошлого, якобы, «нет», — зато есть политическое настоящее. Вот оно — в аккуратно собранных и прочитанных рукописях, в оперативных данных, от которых *не отпрётся!*

И Клюев даёт подробные показания. Не показания это даже, а открытая политическая речь, которую следователь, дрожа от возбуждения, еле успевает записывать, сплошь и рядом переиначивая клюевские выражения и разбавляя протокол своими собственными формулировками.

«Вопрос: Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отноше-

ние к политике Коммунистической партии и Советской власти?

*Ответ:* Мои взгляды на советскую действительность, моё отношение к политике коммунистической партии, советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями. Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитывался на древней русской культуре Корсуна, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней допетровской Руси, певцом которой я являюсь. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о древней Руси, отсюда моё враждебное отношение к политике коммунистической партии и советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как усиление государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.

*Вопрос:* Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?

*Ответ:* Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моём творчестве. Конкретизировать этот ответ могу следующими разъяснениями. Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий, бедствий и сделала её самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении «Есть демоны чумы, проказы и холеры...»

И Клюев начинает читать. Он не вспоминает ни о цикле «Ленин», ни о «Песне солнценосца», ни о «Песне похода»... Не пытается заслониться прошлым. Нет, он идёт до конца... Может быть, в эти минуты укрепили его дух строки из «Песни о Великой Матери» — слова вешего деда:

**Почто дружиною поморы  
Не ратят тушинских воров,  
Иль Богородицын Покров  
Им домоседная онуча?  
И горлиц на костёр горячий  
Не кличет Финист-Аввакум?  
.....**

**Я князь и вотчиной родной,  
Как раб, не кланяюсь Сапеге!  
Моё кормленье от Онеги  
До ледяного Вайгача...**

Услышал он клич Финиста-Аввакума, увидел пламя грядущего костра... Перед глазами встали великомученики, те, что в «Винограде Российском» Семёна Денисова поминаются... Он будет держать свой ответ по их великому примеру.

Перед Шиваровым лежали перепечатанные специально для него стихи «Разру-

хи». Тут и доказывать ничего не надо — весь состав преступления налицо. Но что-то дрожало внутри, смесь восторга от следовательской удачи со странным предчувствием чего-то жуткого не давала покоя, когда слушал Клюева, выпевающего тонким пронзительным голосом:

**Вы умерли, святые грады,  
Без фимиама и лампы  
До нестареющих пролетий.  
Плачь, русская земля, на свете  
Злосчастней нет твоих сынов,  
И алмазтовый засов  
У врат лечебницы небесной  
Для них задвинут в срок безвестный.**

Клюев читал и, прерывая чтение, продолжал говорить, не сдерживая себя:

«Я считаю, что политика индустриализации разрушает основы и красоту русской народной жизни. Причём это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей “Песне Гамаюна”...»

Более отчётливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале...

Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как наваждение...

Мой взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и губительный для русского народа, я выразил в своей поэме “Погорельщина”...»

И Клюев читал — о канале, о «чёрте из адской щели», о том, как «погибал Великий Сиг»... Он был готов принять мученический венец, подобно праотцам, о которых сказано было в «Винограде Российском», — по многу раз повторял он эти слова огненные про себя наизусть: «О ужаснаго позора, о нестерпимаго мучения, о всекрепкия твоя помощи, Христе мой, юже Твоим страдальцам всебогатно в терпении подаваеши! Юже народи зряще плакахуся, позорствующие людие всерядательныя источники слез изливая, зряще таковыя и толь ужасныя мучительныя позоры: но всепридивнии страдальцы толь тверди, толь благодерзновенни и всерадостни являхуся, яко паче злага сими украшахуся, паче анфраза всекрасно процветаху, всекрасно древлецерковное благочестие ясным проповедаше языком...»

А у Шиварова была своя сверхзадача.

*Вопрос:* Кому вы читали и кому давали на прочтение цитируемые здесь ваши произведения?»

И Клюев отвечает, называя далеко не всех, а лишь тех, о которых точно знает: их имена следователю известны. Они уже были

ему предъявлены на основании «оперативных материалов» — и опираться здесь было бессмысленно

«*Ответ:* Поэму “Погорельщина” я читал главным образом литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало и на квартире моих знакомых, в кругу приглашённых ими гостей. Так, я читал “Погорельщину” у Софьи Андреевны Толстой, у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер, группе писателей, отдохнувших в Сочи у художника Нестерова и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу.

Отдельные процитированные здесь стихи — незаконченные. В процессе работы над ними я зачитывал отдельные места — в том числе и стихи о Беломорском канале — проживающему со мной в одной комнате поэту Пулину. Некоторые незаконченные мои стихи взял у меня в моё отсутствие поэт Павел Васильев. Полагаю, что в их числе была и “Песня Гамаюна”...»

Невозможно не заметить: в отличие от многих и многих поэтов и писателей, которые уже допрашивались, которые ещё будут допрашиваться, Клюев ни разу не назвал свои произведения ни «пасквилем», ни «клеветой»... Сам он — «реакционер», ладно, пусть таковым его и считают. Но стихи его не подлежат примитивным политиканским определениям.

На этом следствие было закончено. 20 февраля (всё следствие не заняло и трёх недель!) Шиваров составил обвинительное заключение, которое завизировал своей подписью начальник секретно-политического отдела ОГПУ Г. Молчанов.

«Полагая, что приведёнными показаниями Клюева Н. А. виновность его в составлении и распространении к/р литературных произведений и в мужеложестве подтверждается, постановил считать следствие по делу Клюева Николая Алексеевича законченным и передать его на рассмотрение особого совещания при коллегии ОГПУ».

А судебная коллегия 5 марта постановила:

«Клюева Николая Алексеевича заключить в исправтрудлагерь сроком на 5 лет с заменой высылкой в г. Колпашев, Западная Сибирь, на тот же срок со 2 февраля 1934 г<ода>. Дело сдать в архив».

Исправтрудлагеря Клюев бы не вынес — достаточно было бросить на несчастного беглый взгляд, чтобы это понять. Видимо, потому и заменили срок высылкой в Колпашев. В Нарым, исхоженный и изъезженный многими из нынешних, «на заставах командующих», бывшими ссыльными революционерами, ныне посылающими сво-

их подлинных и мнимых врагов знакомыми маршрутами... В Нарым, напророченный Клюевым себе самому ещё в начале 1920-х.

\* \* \*

Клюев ещё находился в пути, когда Западно-Сибирское управление НКВД получило следующий документ:

«НАЧ. УСО ПП ОГПУ ЗАПСИБКРАЯ г. Новосибирск.

В дополнение к № 14 (3444) от 14.3 — 34 года направляется меморандум на Клюева Николая Алексеевича для сведения».

В этом меморандуме было, в частности, указано, что никаких «ограничений в работе по специальности не требуется», а на вопрос о пригодности использования «в интересах ОГПУ» уполномоченным дан чёткий и недвусмысленный ответ: «ни в коем случае не рекомендуется».

Знали, с кем имеют дело.

...На четвёртый месяц после начала тюремного этапа Клюев прибыл в Томск и был заключён в местную тюрьму. Отправил в Ленинград весточку со своим обратным адресом, получил ободряющую телеграмму от матери Яра и ответил ей благодарным письмом:

«Дорогая Лидия Эдуардовна! Получил Вашу драгоценную телеграмму, всем сердцем благодарю за неё. Слова Ваши явились для меня великим утешением и подкрепили меня душевно. На белом свете весна, а я всё за решёткой. Отправку в Колпашев обещают на 24-ое мая, но это не наверно. Больше нет сил и навряд ли я выдержу, так как здоровье моё очень плохое и я без съестных передал и какой-либо помощи. В окне светит голубым бархатом май, по-видимому, в здешних краях лучше, чем в Ленинграде. Соседи-сибиряки рассказывают, что в Нарыме есть пчёлы, созревает греча и огурцы, множество рыбы, но всё это гадательно, и мне не верить, во что-нибудь хорошее на моём пути. Но Бог милостив, быть может, призовет меня скоро в иной край, где нет ни печали, ни воздыхания. В моём настоящем положении это упование — желанная мета и избавление... Прошу Вас узнать, что с моей квартирой в Москве?.. Как здоровье Толи? Как он себя чувствует? Жизнь ему и счастье! Прощайте! Простите!»

О квартире он беспокоился не зря. Через месяц с небольшим была составлена служебная записка № 291477 за подписью помощника начальника УСО ДГУ ГБ Зубкина и начальника камеры хранения той же организации Аксёнова, адресованная в 3 отделение ОПЕРО ДГУ ГБ.

«Просьба вскрыть опечатанную комнату Клюева Н. А. по адресу: Гранатный пер.,



12, кв. 2, и всё находящееся в нём имущество по описи сдайте на хранение домоуправлению. Комнату передайте в жилотдел Моссовета. По исполнении акт и опись вышлите в УСО ГУ ГБ».

Подобные бумаги составляются тогда, когда их авторы уверены: бывший жилец в свою комнату уже не вернётся.

Квартира была опечатана печатью ОГПУ, которую сняли лишь 2 августа, когда жильё передали в жилотдел, а имущество и ключи — по описи в домоуправление.

Клюев ничего этого не знал. Наконец, состоялась отправка в Колпашево, до которого и сейчас из Томска на автомобиле ехать нужно целый день. А тогда — несколько дней на подводе с короткими ночёвками, под конвоем.

Унылая, длинная, кажущаяся бесконечной дорога, лишь изредка радуют глаз встречающиеся селения: Молчаново, Кривошеино, Мельниково... Вот и холм показался, от одного названия которого мороз подрал по коже: «Могильный»... Мост через реку Чаю... И вот, наконец, она — Обь, и паром у причала — другим путём в Колпашево не попадёшь...

31 мая Клюев сошёл на другой берег Оби.

Деревянные тротуары, кержаские старые двухэтажные купеческие дома из тёмных брёвен (они и поныне стоят на Колпашевских узеньких улочках)... Вот и «шанхайчик» — район, где селились ссыльные — ещё с царских времён... Здесь и предстояло ему найти пристанище. Поначалу Николая поселили в общежитии исполкома, потом — в «шанхайчике»: нашлась крыша над головой в доме № 12 по Красному переулку; дом на 4 семьи, где хозяйкой была некая Панова.

Соседом Клюева был ещё один любопытный ссыльный — бывший эсер, киноактёр Юлий Фердинандович Маротти — первый в России исполнитель роли Овода... Но общего языка с соседями Клюев не нашёл. Вместо того чтобы сидеть дома, предпочитал долгие прогулки — пока хватало сил. Спускался на пристань: с левой стороны виднелась Колпашевская церковь. Оттуда же, с пристани, доходил до Коммунального переулка, где размещалась баня... Письма отправлял с почты, что была на пересечении улиц Ленина и Белинского. А к самому любимому месту — в лесную тишину — уходил по Красному переулку через поле, через деревянные покосившиеся ворота. Там, за полем, за пашней и пастбищем, начинался лес, где уживались друг с другом кедр, сосна и берёза, где выбивали длинные очереди дятлы, и любопытные белки соскакивали со стволов и подбегали чуть ли не под ноги. Теперь на этом месте разбит парк.

...А отмечаться приходилось каждые 10 дней в здании НКВД (так уже стало называться ГПУ за время клюевского «сидения») на улице Советской, где «принимал» сначала немец Краузе, а потом венгр Иштван Мартон, кроме венгерского и русского, свободно владевший немецким и французским языками, единственный на памяти старожилов, кто общался с ссыльными по-доброму. Клюев писал о нём в одном из писем к Надежде Христофоровой-Садовой самыми тёплыми словами: «Местное начальство относится ко мне хорошо. Внешне никто меня пока не обижает и не шпынует. Начальник здешнего ГПУ прямо замечательный человек и подлинный коммунист»... В конце концов, и этот «подлинный коммунист» был арестован, посажен в тюрьму и освобождён лишь в 1939-м.

Он молит о помощи, просит узнать, нельзя ли перевести его в другое, не такое гиблое место ссылки. Нельзя ли обратиться к Екатерине Пешковой в Красный Крест, к Горькому, к Бубнову или, может быть, подать Калинин прошение о помиловании? В душераздирающем финале письма С. Клычкову от 12 июня 1934 года Клюев пишет: «Не ищу славы человеческой, а одного — лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мёрзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело моё, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твоё...»

Из письма Надежде Христофоровой-Садовой 10 июня 1934 года:

«...Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашево... Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения большого сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные тёмные посещения сменяются областью загробного мира. Я прошёл уже восемь демонических застав, остаётся ещё четыре, на которых я неизбежно буду обличён и воплощён сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает теплоты моё земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон берёзовой почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и прозорливость? Я прошу Ваше сердце, оно обладает чудотворной способностью воздыхания. О, если бы можно было обнять Ваши ноги и облить их слезами!.. Временно или навсегда, не знаю, я помещён в только что отстроенный дом, похожий на дачный и в котором можно жить только летом. Углы и конуры здесь на вес золота. Ссыльные своими руками роют ямы, землянки и живут в них, иног-

да по 15-ть человек в землянке. Попасть в такую человеческую кучу в стужу считается блаженством... Если бы можно было продать мой ковёр, картины или складни, то на зиму я бы грелся живым печужным огоньком. Но как это осуществить? Мне ничего не известно о моей квартире. Хотя бы спасти мои любимые большие складни, древние иконы и рукописные книги!.. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и жёлтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен. Так развёртывается жизнь, так страдною тропой проходит душа. Не ищу славы человеческой, ищу лишь одного прощения. Простите меня, дальние и близкие!..»

Он с благодарностью упоминает Надежду Обухову, приславшую денег по телеграфу, сравнивает её с героинями «Русских женщин» Некрасова, к которому постоянно декларировал свою нелюбовь... Снова пишет о Калининe, которому «подавал из Томска заявление о помиловании, но какого-либо отклика не дождался. Не знаю, было ли оно и переслано...» Томское заявление не найдено, но сохранилось в архиве Сергея Клычкова заявление, написанное в Колпашеве 12 июля 1934 года во Всероссийский Центральный Исполнительный комитет:

«После двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы я за безумные непродуманные строки из моих черновиков, за прочтение моей поэмы под названием “Погорельщина”, основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, сослан Московским ОГПУ в Нарым на пять лет.

Глубоко раскаиваясь, сквозь кровавые слёзы осознания нелепости своих умозрений, невыносимо страдая своей отверженностью от общей жизни страны, её юной культуры и искусства, я от чистого сердца заявляю ВЦИКомитету следующее:

“Признаю и преклоняюсь перед Советовластием как единственной формой государственного устройства, оправданной историей и прогрессом человечества!”

“Признаю и преклоняюсь перед партией, всеми её директивами и бессмертными трудами!”

“Чту и воспеваю Великого Вождя мирового пролетариата товарища Сталина!”

Обязуюсь и клянусь все силы своего существа и таланта отдать делу социализма.

Прошу помилования.

Если же помилование ко мне применено быть не может, то усердно прошу о смягчении моего крайне бедственного положения...

Если я недостоин помилования, то усердно прошу уменьшить мне срок ссылки,

дать минус шесть или минус двенадцать без прикрепления к одному месту.

Всё это спасло бы меня от преждевременной смерти и дало бы мне, переживающему зенит своих художнических способностей, возможность новыми песнями искупить свои поэтические вины...»

Это заявление было переслано в Москву Сергею Клычкову для дальнейшей передачи по инстанции. Жена Сергея Варвара Горбачёва показывала его Ахматовой, которая привела несколько строк из него по памяти в «Листках из дневника».

Из письма С. А. Толстой-Есениной 17 июня 1934 года.

«...Поговорите с богатыми писателями и с моими почитателями — ведь их у меня недавно было немало. Я погибну в Нарыме без милостыни со стороны, без одежды, без пищи и копейки. Поговорите с В. Ивановым, Леоновым! Нельзя ли написать Шолохову и Пантелеймону Романову, Смирнову-Сокольскому. Если будет исходить просьба от Вас — они помогут... Сходите к Антонине Васильевне Неждановой... Поговорите с ней обо мне — и о том, чтоб она поговорила с Горьким — об облегчении моего положения... Они давно знакомы — ещё по Италии, когда Алексей Макс<имович> был там в изгнании. Объясните Неждановой просьбу: убавить срок ссылки (дано пять лет по 58-10 статье за поэму “Погорельщина” и агитацию ею). Дать минус шесть или даже двенадцать без прикрепления к месту ссылки. Оставить мне мою писательскую пенсию, просить ГПУ передать мои рукописи в архив Оргкомитета писателей... Обрадовали бы, если бы соорудили посылочку — чаю, сахару, сухарей из белого хлеба, компоту от цинги, — простите, но я так тоскую по всему этому! Здоровье моё сильно пошатнулось. Теперь бы вы меня и не узнали бы — такой я стал... Помогите, родимая, простираюсь к Вам сердцем своим, целую Ваши ноги и плачу кровавыми слезами...»

Из письма Алексею Толстому:

«Алексей Николаевич, — после двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы, я за чтение своей поэмы “Погорельщина” и отдельные строки моих черновиков, за слова моих стихотворных героев сослан в жестокую Нарымскую ссылку, где без помощи добрых людей неизбежно должен погибнуть от голода и свирепой нищеты. Помогите мне ради моей судьбы — как художника и просто живого существа. Умоляю о съестной посылке. Деньги только телеграфом...»

Идут письма Николаю Голованову, Вячеславу Шишкову и Павлу Васильеву: «Дорогой поэт — крепко надеюсь на твою милостыню. Помогите несчастному. Отплачу

сторией в своё время. Русская поэзия будет тебе благодарна...» Достоверно известно, что Клычков, его жена, Анатолий, Нежданова, Обухова присылали ему деньги и вещевые передачи, делали всё, чтобы облегчить его участь, и Николай не уставал их благодарить за помощь и поддержку.

Кроме просьб о материальной помощи, об оставлении пенсии, о содействии в охране имущества в Москве, он просит о главном: перевести его из Нарымского края «в отдалённый конец быв<шей> Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или Краснококшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключают возможность разложения его моей поэзией, но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания, неимение которых в Нарыме грозит мне прямой смертью...»

Это обращение продлило ему жизнь, помогло, в конце концов, вырваться из Колпашева, грозившего неминуемой близкой гибелью.

\* \* \*

Бытовые тяготы и нищенская жизнь не угасали его духа. В первой половине июня он пишет письмо Яру, где сообщает о новой, только что написанной поэме.

«...Крепко надеюсь на милостыню. Написал поэму — называется “Кремль”, но нет бумаги переписать. Как с поэмой поступить — посоветуй! Жизнью и смертью обязан твоему милосердию... Вероятно, я зимы не переживу в здешних условиях. Прошу о письме. О новостях, об отношении ко мне. “Кремль” я писал сердечной кровью. Вышло изумительное и потрясающее произведение. Где живёте летом? Райское место — этот городок Горбатов на р. Оке, весь в вишнях и фруктах. Жители только садами и промышленют. У меня много нужды — всего не перескажешь — получу ответ на это, напишу большое письмо. Но сгораю предчувствием твоего письма. Прощайте. Простите!»

Городок Горбатов на Оке... Это воспоминание о давнем путешествии, о том, как в этом садовом раю Клюев впервые был арестован местной полицией в 1899 году. Документы, посвящённые этому событию в его жизни, хранились одно время в Государственном архиве Российской Федерации, но потом исчезли в неизвестном направлении.

Не случайно в гибельной Нарымской ссылке вспомнился этот городок. Вспомнилось самое начало *хождения по тюремным мукам*.

«Кремль» упоминается и в других письмах к Яру в таких выражениях, в каких Клюев не говорил и не писал ни об одном своём произведении.

«...Иногда собираюсь с рассудком и становится понятным, что меня нужно поддерживать первое время, авось мои тяжёлые крылья, сейчас влачащиеся по земле, я смогу поднять. Моя муза, чувствую, не выпускает из своих тонких перстов своей славянской свирели. Я написал, хотя и сквозь кровавые слёзы, но звучащую и пламенную поэму. Пришло её тебе. Отдай перепечатать на машинке, без опечаток и искажений, со всей тщательностью и усердием, а именно так, как были напечатаны стихи, к титульному листу которых ты собственноручно приложил мой портрет, писанный в Вятке на берегу с цветами в руках — помнишь? Вот только такой и должна быть перепечатка моей новой поэмы... Прошу тебя запомнить это и потрудись для моей новой поэмы, на которую я возлагаю большие надежды. Это самое искреннейшее и высоко зовущее моё произведение. Оно написано не для гонорара и не с ветра, а оправдано и куплено ценой крови и страдания. Но всё, повторяю, зависит от того, как его преподнести чужим, холодным глазам...»

«...Быть может, скоро кончится путь мой земной, а пока жив я — потрудись устроить мою поэму “Кремль”, ибо такие вещи достойны всяческого внимания и могут быть созданы только в раю или на эшафоте, раз за жизнь поэта.

...“Кремль” — роковое моё произведение. Ты, конечно, это понимаешь без пояснений. Не давай рукописи никому, пока не перепечатаешь. Рукопись непременно украдут, и даже продадут. Если можно, прочитай её не торопясь и не захлёбываясь, собранию поэтов и нужных людей, но ни на один час не оставляй её ни у кого на руках, чтобы не наслышалось на неё клеветы и злых мнений, что очень может мне навредить. Если какой-либо журнал захотел “Кремль” напечатать, то договорись о гонораре по высшей ставке, так же и в отдельном издании. В моём голоде и нищете это очень важно. Ах, если бы напечатали! Я бы купил отдельную землянку, убрал бы её по-воевому с пушкинским расколотым корытом — и умер бы, никого не кляня. Дитя моё, помоги! Потрудись, хлопочи!.. Но главное — ни по какой усердной просьбе и никому не давай на дом рукописи!!!»

Внимательное чтение поэмы, опубликованной лишь через почти что 70 лет после создания, убеждает в том, что опасения Николая не были напрасными.

\* \* \*

В 1942 году, будучи в лагере для русских немецкого происхождения в Конице, в Западной Пруссии, Иванов-Разумник писал статьи для берлинской русскоязычной газе-

ты «Новое слово». Одну из статей он посвятил персонально Ключеву. Шла там речь, в частности, и о «Кремле», с которым критик познакомился через посредничество Анатолия Яра.

«Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой <...> Ключев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся. В 1935 году он написал большую поэму “Кремль”, посвящённую прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: “Прости иль умереть вели!” Не знаю, дошла ли поэма “Кремль” до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Ключеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

К слову сказать: поэзия не терпит неискренности и насилия. Вымученный “Кремль”, если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Ключева; а он мог и не сохраниться, как и всё поэтическое наследие Ключева этих последних годов жизни.

Ссылаясь на Иванова-Разумника, примерно в том же тоне отозвался о «Кремле» первый публикатор Ключева в США и в Германии Борис Филиппов: «“Кремль” пропал бесследно, но это — самая лучшая участь для вымученного и фальшивого панегирика жертвы палачу»...

Но уже когда поэма появилась в печати в 2006 году благодаря самоотверженному труду над ключевским архивом, сохранённым Анатолием Яром, — труду его дочери Татьяны и питерского литературоведа Александра Ивановича Михайлова, — когда в Томске вышла книга «Наследие комет» с перепиской поэта и художника и полным текстом «Кремля» — даже тогда возник соблазн «вписать» Ключева в реестр «приспособившихся», пусть и поневоле, а «Кремль» сопоставить со стихотворными хвалами Сталину Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Во всяком случае — определить для поэмы некий «ранжир». Этим осязаемым стремлением продиктовано большинство статей в сборнике, специально посвящённом «Кремлю», выпущенном Томским государственным университетом 5 лет назад.

Нет, не похожа эта поэма на «панегирик жертвы палачу»...

**Кремль озарённый, вновь и снова  
К тебе летит беркутом слово  
Когтить седое вороньё!  
И сердце вещее моё  
Отныне связано с тобою**

**Певучей цепью заревою, —  
Оно индийской тяжкой ковки,  
Но тувльской жилистой сноровки,  
С валдайскою залётной трелью!..**

Ключев, по сути, не изменяет себе, не ломает своей поэтики, он во всеоружии своего всегдашнего красочного слова, которое выпускает *беркутом* к Кремлю — «когтить седое вороньё»... И здесь мы волей-неволей возвращаемся и к циклу «Ленин», где впервые появляется это сакральное слово — «Кремль».

**В желтухе Царь-град, в огневице  
Калуга,  
Покинули Кремль Гермоген и Филипп,  
Чтоб тигровым солнцем лопарского  
юга  
Сердца врачевать и молебственный  
хрип.**

Тогда врачевателями стали патриарх-мученик, уморенный голодом во время польского нашествия, и митрополит, выступивший против казней, учинённых Иваном Грозным и задушенный Малютой Скуратовым... Теперь же — сам поэт, ссыльный и измученный, но возрождающийся на глазах, «когтит седое вороньё» в самом Кремле... Но через что нужно пройти, что преодолеть, дабы выполнить эту завещанную миссию?

**Русь Калиты и Тамерлана  
Перу орлиному не в сусло, —  
Иною киноварью взгусло  
Поэта сердце, там огонь  
Лесным пожаром гонит сонь,  
Сварливый хворост и валежник.  
И, улыбаясь, как подснежник,  
Из пепла серебрится Слово, —  
Его история сурово  
Метлой забвенья не сметёт,  
А бережно в венок вплетёт  
Звенящим выкупом за годы,  
Когда слепые сумасброды  
Меня вели из ямы в яму,  
Пока кладбищенскую раму  
Я не разбил в крови и вопи,  
И раскалённых перлов копи  
У стен кремлёвских не нашёл...**

Все призраки *коствявой*, воплощавшейся в жуткие образы на протяжении последних лет, отринуты. Живая жизнь весенним *подснежником* вырастает из могильного пепла, кажется, уже похоронившего поэта... Но это воскресение требует платы. Платы — «Русью Калиты и Тамерлана», ибо новая жизнь властно выступает в гармонии с некогда столь ненавидимым железом.

**Поэт, поэт, сосновый Ключев,  
Шаман, гадатель, жрец избы,  
Не убежать и на Колгуев  
От электрической судьбы,  
И европейских ветродуев  
Не перемогут лосьи лбы!  
Как древен вой печной трубы**

**С гнусавым вороном-метелью!..  
Я разлюбил избу под елью,  
Медвежьи храпы и горбы,  
Чтоб в буйный праздник бороньбы  
Индустриальной юной нивы  
Грузить напевы, как расшивы,  
Плодами жатвы и борьбы!**

.....

**Мои поэмы — алконосты,  
Узорны, с девичьим лицом,  
Они в затишье костромском  
Питались цветом гоноболи.  
И русские — чего же боле?  
Но аромат чужих магнолий  
Умеют пить резным ковшом  
Не хуже искромётной браги.  
Вот почему сестре-бумаге  
Я поверяю тайну сердца,  
Чтоб не сочли за иноверца  
Меня товарищи по стали  
И по железу кумовья...**

Эту поэму невозможно понять, если видеть в ней либо панегирик власти, либо мольбу о прощении, либо стихотворное воплощение мотива покаяния, который выражен в заявлении во ВЦИК, приведённом выше... В ней совершается одновременно грандиозный переворот в самом поэте, соединение некогда не соединимого — природной стихии с железно-государственной, возрождение поэта к новой жизни через плач по старой — и утверждение себя всегдашнего, хранителя и накопителя мировых художественных сокровищ... Пушкинское «чего же боле?» здесь тем более к месту, пушкинскими мотивами пронизан весь «Кремль» — реминисценции из «Пророка», «Полтавы» и «Медного всадника» бисером рассыпаны по всему стихотворному полотну... И если в «Песни о Великой Матери» вместо бронзового Петра в далёком будущем «Егорий вздыбит на граните наследье скифских кобылиц», то ныне

**И императорское дело,  
Презрев венец, свершил простой  
Неколебимую рукой,  
С сестрой провидящей морщиной,  
Что лоб пересекла долиной,  
Как холмы Грузии родной.**

Императорское дело... Пятнадцать лет назад поэт пророчествовал о наступлении послереволюционного Апокалипсиса.

**...Мы очнёмся в Красном Содоме,  
Где из струн и песен шатры.**

**Где русалкою Саломия  
За любовь исходит в плясне...  
Обезглавленная Россия  
Предстаёт, как поэма, мне.**

Это после упований на победу «керженского духа» в революционной стихии.

Красный Содом отбушевал — и перед глазами поэтов выросла цветущая «кремлёвская скала», пред которой он складывает свои поэтические дары. Новая империя, пред которой невозможно не склонить главу.

Но Клюев и склоняет её по-своему:

**У потрясённого Кремля  
Я научился быть железным  
И воску с деревом болезным  
Резец с оглядкой отдаю,  
Хоть прошлое, как сад, люблю, —  
Он позабыт и заколочен,  
Но льются в липовые очи  
Живые продухи лазури! —  
Далёкий пасмурья и хмури  
Под липы забредёт внучонок  
Послушать птичьих перегонок,  
И диких ландышей набрать...  
Я прошлым называю гать  
Своих стихов, там много дупел  
И дятлов с ландышами вкупе...  
Опять славянское словцо!  
Но что же делать беззаконцу,  
Когда карельскому Олонцу  
Шлёт Кострома «досель» да «инде»,  
И убежать от пёстрых индий  
И Маяковскому не впору?!  
Или метла грустит по сору,  
Коль на стихи дохнул Багдад  
И липовый заглохший сад  
Тёмно-зелёною косышкой?..  
Знать, я в разноголосье с рынком,  
Когда багрянному Кремлю  
По стародавнему «люблю»  
Шепчу, как ветер кедру шепчет  
И обнимает хвон крепче,  
Целуя корни и наросты!..**

И здесь — хочешь не хочешь, — но придут на память строки из давней уже книги: «...плакучая ива с анчарным ядом в стволе...» «Ива» льёт слёзы не по старой (хоть и уверяет в том власть) — но по *вечной* русской жизни, о коей свидетельствуют и сами строки... Здесь впору и «славянское словцо», и «пёстрые индии», и «стародавнее “люблю”», и сакральный клюевский Багдад, «дохнувший» на стихи.

Хорошенькое, однако, покаяние!

И этого мотива не заглушить ни приятием железа, ни описанием «чудесного канала» — ещё недавно «смерть-канала»! — на который дивятся, «как лопарки», обонезские сосны, ни песней «колхозной вспашки у ворот», ни восхищением первомайским парадом, возглавляемым Климом Ворошиловым, ни произносимым даже не по слогам, а по буквам (!) фамилиям вождей... «Кормчий Сталин», что «пучину за собой ведёт» в финале поэмы слишком явно соотносится с «Красным Кормчим» Лениным Ильи Ионова, что выявляет явный подтекст (уже для немногих понятный) оглядки Клюева на себя

самого середины 1920-х, Клюева «Новых песен», когда он попытался по-своему принять реалии нового времени и нового советского Питера... Когда его «кузнец Вавила» стоял с молотом, занесённым надо всем, «что мило ярому вождю»... Тогда реальность преображалась мифом... Теперь же всё окружающее неумолимо реалистично: Русь должна «научиться быть железной», дабы выстоять в мировых вихрях, в грядущих потрясениях, до которых осталось слишком мало времени... Как писал тридцать с лишним лет спустя хорошо знавший поэзию Клюева Ярослав Смеляков:

Чтоб ей вперёд неодолимой быть,  
готовилась крестьянская Россия  
на голову льняную возложить  
большой венок тяжёлой индустрии.

При всей простоте и ясности этих стихов — закрадывается вопрос: не ассоциировал ли подсознательно поэт этот «большой венок» с терновым венцом, возложенным на главу Христа перед распятием?

...И всё же — в чём кается перед советским Кремлём Клюев?

**...Я виновен  
До чёрной печени и крови,  
Что крик орла и бурю крыл  
В себе лежанкой подменил,  
Избою с лестовкой хлыстовской  
И над империей петровской,  
С балтийским ветром в парусах  
Поставил врагу на страх  
Русь Боголюбского Андрея! —  
Но самоварная Расея,  
Потая за фамильным чаем,  
Обозвала меня бугаем,  
Николушкой и простецом,  
И я поверил в ситный гром,  
В раскаты чайников пузатых, —  
За ними чудились закаты  
Коринфа, царства Монтекумы  
И протопопа Аввакума  
Крестообразное горелье —  
Поэту пряное похмелье  
Живописать огнём и красью!..**

Нет, не случайно Клюев просил Анатолия прочесть поэму «не торопясь и не захлёбываясь собранию поэтов и нужных людей», но не оставлять её ни у кого в руках и никому не давать на дом! Перетолкований и лжетолкований смысла начитанного могла быть масса! Поэма обросла бы вредоносными наслоениями, из-под которых к смыслу пробиться было бы уже невозможно.

«Не хочу коммуны без лежанки» — эта своего рода «визитная карточка» Клюева прилепилась к нему уже безотрывно... Тут загадок нет. А «Русь Боголюбского Андрея», поставленная врагу на страх, — это узел пре-

любытнейший. Сын Юрия Долгорукого, участвовавший во многих боях и походах, Андрей Боголюбский, отличавшийся великой любовью к слову Божию, по его собственному признанию, «белую Русь городами и сёлами застроил и многолюдно сделал»... Ему же были явлены чудеса от святой иконы Божьей Матери, он же воздвиг тридцать храмов во Владимире, где, по слову летописца, «и болгаре, и жидове, и вся погань, видевше славу Божию и украшение церковное, крестились»... Он же ознаменовал своё княжение завоеванием великого волжского пути, объединил русские земли Киева и Новгорода под своей властью и принял мученическую кончину от рук изменников в Боголюбове... Очевидной становится при воспоминании о деяниях князя Андрея связующая нить, которую тянет Клюев от Древней Руси к железной современности... Но и это ещё не всё.

«Ситный гром» и «раскаты чайников пузатых» явно перекликаются с громами первомайских парадов и «индустриальной юной нивы»... Поэт-то кается, но этот «гром» и эти «раскаты», Коринф, царство Монтекумы и кончину огнепального протопопа никакая современность отменить не может! Более того, всемирный размах клюевского пера, его титаническая суть: «Я — сам земля, и гул пещерный, шум рощ, литавры водопада...» — явно перекликаются с аввакумовским: «И лежашу ми на одре моем... распространися язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земле распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь... Так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеяну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь...» — и соответствуют всемирному размаху сталинской империи, которая ещё не подозревает об этом соответствии. Вот почему «товарищи по стали и по железу кумовья» не должны счесть Клюева «за иноверца»...

То есть вина его в утверждении в современности «Руси Боголюбского Андрея», Коринфа и царства Монтекумы — не такая уж и вина на поверку. Но в чём же он всё-таки виновен?

А вот в чём:

**Пятидесятый год отметил  
Зарубкою косяк калитки.  
В тайник, где золотые слитки  
И наговорных перлов короб  
С горою песенных узоров,  
Художника орлиный норв  
Когтит лазурь и биться с тучей  
Я схоронил в норе барсучьей...  
И мозг, как сторож колодушкой,  
Тельнекал в костяной избушке:**

**«Молчи! Волшебные опалы  
Не для волчат в косынках алых! —  
Они мертвы для Тициана,  
И роза Грека Феофана  
Благоухает не для них! —  
Им подавай утильный стих,  
И погремушка пионера  
Кротам — гармония и вера!**

Неверие в молодое поколение, которое пробавляется лишь «утильным стихом», — вот главная его вина! А ведь «роза Грека Феофана» — не его лишь личное достояние. Он на короткое время возмнил себя единственным хранителем духовных сокровищ Древней Руси — и кается ныне в этом перед «величием Кремля», к которому обращены взоры и сердца тех, кто хором запоёт на Красной площади: «Бригада нас встретит работой, и ты улыбнёшься друзьям, с которыми труд и забота, и встречный, и жизнь — пополам» и «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!». Он и перед ними, внимающими «погремушке пионера», разворачивает галерею позов, которые — пройдёт время — будут стоять рядом на книжных полках, оставив в истории свои жестокие и кровавые стычки. Здесь и Клычков, что «поёт одетые в лазури тверские скудные поля»; и Маяковский-«злодей», что «родную пятилетку рядит в стальное ожерелье»; и Прокофьев — «баян от Ладоги до Лаче», о котором Клюев некогда писал Яру, что его «физиономия кирпича просит»; и «Мандельштама старый дом»; и «лоса лиловая и вдовья» Всеволода Рождественского, о котором говорил, что словесные части его стихов «размерены циркулем»; и «Пастернак — трава воловья»... И единственное исключение делает (вот как сыграла память!) для всеми читаемого, переписываемого, передаваемого из рук в руки Сергея Есенина.

**В дуга с пониклою ромашкой  
Рязанской ливенкой с размашкой  
Ты не зови меня, Есенин!  
Твой призрак морочно-весенний  
Над омутом вербой сизеет  
С верёвкой лунною на шее,  
Что убегает рябью в глуби...**

.....  
**Не снился вербе сизокрылой  
Букварь волшебный, потому  
Глядеться ей дуплом во тьму,  
Роняя в лунный ковш барашки!  
Прости малиновой рубашке  
И костромскому лапотку,  
Как на отлёте кулику,  
Кувшинке-нянюшке болотной —  
Тебе ли поминать охотно,  
Ветла плакучая Рязани?!  
«Смешного дуралея» в сани  
Впрягли, и твой «Сорокоуст»**

**Блинами паюсными пуст,  
И сам ты под бирючий вой  
Пленён старухой костяной, —  
Она в кладбищенской землянке  
Сшивает саван в позаранки...**

Это, по сути, ответ на «Ключи Марии»: Есенин ещё тогда, в 1918-м оставлял Клюева в прошлом: «Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева...» И — далее, после цитаты из «Беседного наигрыша»: «Этот образ построен на заставках стёртого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновлённой души и потому должен быть предан земле»... Вот на что отвечает Клюев почти через два десятилетия, помяная подспудно и «Подонный псалом» — «избу под елью», которую он «разлюбил» при видении Кремля. Выходит, что Есенин остался со своим «жеребёнком» (как будто не желал потом «задрать штаны, бежать за комсомолом»), а Клюев ушёл в будущее от избы, во всяком случае, от той «избы», с которой связан был определённый подтекст у насельников Кремля.

Жестоко? Да. Несправедливо? Безусловно. И Клюев сам это, очевидно, почувствовал, ибо в декабре 1936 года уже из Томска писал Яру: «Вышли мне “Кремль” для переделки. Это очень важно!..» Возможно, он хотел более тщательно обработать поэму, в том числе и в части, касающейся Есенина. Но, насколько известно, текста «Кремля» он от Яра не получил.

«Кремль» не столько поэма покаяния и мольбы о прощении (даром что в финале звучит уже упомянутое «Прости иль умереть вели!» — и эти же слова звучат в «фугах великой стройки», упоминанием о которой Клюев завершает своё грандиозное полотно), сколько поэма важного приятия нового времени, единения с ним...

Изначально с Советской властью он был согласен в главном — в том, что ещё раз подчеркнул в «Кремле»: в убеждении, что наступит время,

**Когда свирепый капитал  
Уйдёт во тьму к чертям на бал!**

\* \* \*

В августе 1934 года в Москве проходил Первый всесоюзный съезд советских писателей. В «Спецсообщении секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР», содержащем, в частности, высказывания писателей по поводу доклада Николая Бухарина «Поэзия, поэтика и задачи поэтического

творчества в СССР», упоминалось среди прочего и о Клюеве:

«Поэт Николай Асеев получил адресованное через президиум съезда письмо от брата административно ссыльного поэта Николая Клюева Петра Клюева, в котором тот просит оказать помощь для облегчения положения Николая Клюева. Судя по содержанию письма, Асеев не единственный адресат».

Пётр Клюев в письме, датированном 19 августа 1934 года, писал: «...ваш товарищ, а мой брат Николай Алексеевич Клюев, поэт, сейчас в ссылке. Этапом отправлен около 3 мая, находится в Колпашеве Западной Сибири, Нарымского края... Теперь Николаю Клюеву очень тяжело. Написал мне о срочной ему помощи, что-либо сделать для облегчения его положения я не могу. Обращаюсь к Вам, уважаемый поэт, — помогите Николаю, чем можете. Объявите, кому следует. Может быть, можно его из ссылки вернуть. Суровая действительность покарала его, не поняв. Я лишь удивляюсь, что при царском режиме Николай, сидя в тюрьме, отвергал всё неестественное, а тут произошло что-то непонятное для меня. Он посажен — выслан за поэму. За какую — я не знаю... Мне бы не хотелось его смерти в Нарымском крае с его суровыми морозами...»

Судя по всему, Пётр, далёкий в последние годы от своего брата, узнав из письма Николая о происшедшем, обратился в президиум писательского съезда.

На самом съезде царила весьма приподнятая атмосфера. Делегаты вершили суд над Достоевским, которого Горькому было «легко представить в роли средневекового инквизитора» и которого Виктор Шкловский предлагал «судить <...> как изменника» от имени людей, «которые отвечают за будущее мира». Призывалось «выкорчёвывать до основания из сознания читателя националистические и индивидуалистические образы». Объявлялось, что «религия держит ещё и сегодня в плену миллионные массы во всём мире; религия является и сейчас орудием фашизма, и надо выбивать это орудие, надо показать, как революция разрушает эту страшную силу власти религии». Утверждалось, что Толстой и Достоевский вместе с Ницше были «колоннами», поддерживающими старый несправедливый мир, и писатели призывались «дать бой» — и «это будет бой с титанами, который по плечу лучшим художникам старого времени», ибо «идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше» являются «теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма»... Бруно Ясенский вешал, что «если лубочный Христос бедняков, выдуманый для них хозяином, прощал

их за то, что они любили, я думаю, что наш великодушный победоносный пролетариат простит нас за то, что мы ненавидели и в ненависти нашей доходили до исступления...» Сергей Третьяков сообщал высокому собранию, что есть «тонкая отравка», которая «воспитана культом Достоевского, Чехова, Толстого, это — представление о “народе-богосце”, о стихийном бунтаре, об интеллигентских хлопиках...» Николай Погодин, вдохновлённый впечатлениями от Беломорканала, солидаризировался с Горьким, который не представлял, «чему бы мог поучиться у Островского современный молодой драматург»... В общем, им не было *преград ни в море, ни на суше*. Они шли «против шерсти мировой литературы», они, «единственные гуманисты мира», требовали новых Гомеров и Шекспиров и были уверены, что достигнут этих вершин в борьбе с отечественным литературным «провинциализмом».

Имя Клюева на съезде поначалу не упоминалось вообще. Даже в докладе Бухарина, говорившем и о Блоке, и о Есенине, и о Гумилёве, и о Брюсове, не было сказано о сосланном поэте, который был ещё совсем недавно одной из ключевых фигур в русской современной поэзии, ни единого слова. Не вспомнил о нём и Николай Тихонов в своём содокладе. Но, видимо, когда до делегатов дошло письмо Петра Клюева, уже нельзя было сделать вид, что не существовало в отечественном поэтическом мире его знаменитого брата. И первым нарушил «заговор молчания» Александр Безыменский, который «в поединке не ослаб с косматым зубром листодёром» — как написал Клюев в «Кремле». Обличитель поэтов-«рупоров классового врага» говорил: «В стихах типа Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим сплошное противопоставление “единой” деревни городу, воспевание косности и рутинности, при охаивании всего городского — большевистского, словом апологию “идиотизма деревенской жизни”».

После этого Клюев был снова забыт всеми выступающими вплоть до заключительной речи Максима Горького.

Руководитель нового единого Союза писателей вплёл имя Клюева в контекст своей полемики с Бухариным по поводу Маяковского, для которого, по мнению Горького, был характерен «вредный гиперболизм» — и этот гиперболизм оказал вредное влияние, в частности, на Александра Прокофьева. Но не только *маяковское* влияние отметил Горький. Прочитав несколько пародийных прокофьевских строк, он вспомнил о своём давнем оппоненте.

«Вот к чему приводит гиперболизм Маяковского! У Прокофьева его осложняет, кажется, ещё и гиперболизм Клюева, певца



мистической сущности крестьянства и ещё более мистической «власти земли»...»

Всё! На этом разговор о Клюеве был на съезде закончен. Писатели — и молчавшие, и говорившие — ясно дали понять, что вспоминать о нём более не желают. А если он и вспоминается, то как апологет «идиотизма деревенской жизни» и певец мистической «власти земли». У собравшихся «гуманистов» — ни особого интереса, ни сочувствия вызвать он не может. Дескать, туда ему и дорога!

Николай эти замечательные речи, во всяком случае, выборочно, читал. Пресса до него доходила, да и писавшие ему делились своими впечатлениями от услышанного, мешая факты с недостоверными слухами.

Слухи находили своё отражение и в официальных документах. 26 августа 1934 года был составлен запрос в Нарымский Окротдел НКВД с. Колпашево и в Томский оперсектор НКВД совершенно поразительного содержания:

«По имеющимся сведениям на территории Нарымского края отбывают ссылку а/сс (административно-ссылные) Клюев Николай Алексеевич и Клычков, имя и отчество для нас неизвестно, прошедшие через Томский распределительный пункт.

Просьба сообщить действительное нахождение на территории Вашего края указанных а/сс, и если таковые являются особоучётниками, вышлите нам учётный материал, если же относятся к группе массовой ссылки, вышлите карточки ф. № 1 с полными установочными данными.

НАЧ. УСО СИБЯКОВ».

Принято считать, что в учётных отделах НКВД царил порядок. Как видно — бардака и там хватало. Сергей Клычков, находящийся на свободе (он будет арестован только 31 июля 1937 года), уже числится в сознании «Нач. УСО» административно-ссылным вместе с Клюевым — причём в одном и том же месте. Где же ещё может находиться «кулацкий писатель», имя которого рядом с именем Клюева склоняется во всех газетах, журналах, критических «исследованиях»!

Ответ в Новосибирск был отправлен ровно через неделю:

«УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК (УСО)  
г. Новосибирск, на № 015/А

При этом препровождается учётный материал на адм/сс Клюева Николая Алексеевича. Ключков (так! — С. К.) на учёте у нас не значится.

вр. и. д. НАЧ. ОКРОТДЕЛА НКВД ЖУК  
ОПЕР. УПОЛНОМ. УСО ЦЫПЛЯТНИКОВ».

...Из письма Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 5 октября 1934 года:

«Квартира запечатана, и трудно чего-либо добиться положительного о моём жалком имуществе, правда, есть из Москвы письмо с описанием впечатлений от съезда писателей. Оказывается, на съезде писателей упорно ходили слухи, что моё положение должно измениться к лучшему и что будто бы Горький стоит за это. Но слухи остаются в воздухе, а я неизбежно и точно, как часы на морозе, замираю кровью, сердцем, дыханием. Увы! Для писательской публики, занятой лишь саморекламой и самолюбованием, я неощутим как страдающее живое существо, в лучшем случае я для неё лишь повод для ядовитых разговоров и недовольства — никому и в голову не придёт подать мне кусок хлеба. Такова моя судьба как русского художника, живого человека. И вновь, снова я умоляю о помощи, о милостыне... Я писал Николаю Семён<овичу>. Ответа нет. Да и вообще мне в силу условий ссылки — почти невозможно списаться с кем-либо из больших и известных людей. К этому есть препятствия. Вот почему я прошу поговорить с ними лично. В первую очередь о куске насущном, а потом о дальнейшем спасении... Как отнесётся Антонина Васил<евна> Нежданова? Она может посоветоваться со Станиславским, а он в свою очередь с Горьким. Нужно известить Веру Фигнер — её выслушает Крупская, и, конечно, посоветует самое дельное. Очень бы не мешало поставить в известность профес<сору> Павлова в Ленинграде, он меня весьма ценит. Конечно, всё это не по телефону, а только лично или особым письмом...»

Клюев ещё не знал, что за день до этого письма в Управление НКВД по Северо-Западному краю поступила шифровка из Учётно-специального отдела УГБ НКВД СССР, в которой содержалось распоряжение об отправлении «поэта Клюева» для отбытия оставшегося срока ссылки в Томск «не этапом, а спецконвоем». Аналогичное по содержанию распоряжение из Новосибирска пришло в Нарымский окружной отдел НКВД в Колпашево.

Это сказались хлопоты Екатерины Павловны Пешковой.

8 октября Клюев покинул Колпашево и отправился под конвоем в Томск, куда прибыл через 3 дня. Это был последний круг его хождения по мукам.

(Окончание следует.)

## ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ СТАНИСЛАВА ВТОРУШИНА

В 2013 г. известный сибирский писатель, главный редактор литературно-художественного журнала «Алтай» Станислав Вторушин будет отмечать свой 75-летний юбилей. Вышедшее в самом конце 2012 г. трехтомное издание избранных произведений Вторушина\* воспринимается, таким образом, как некое подведение итогов очередного периода в творчестве писателя. Итак, что же хотел сказать нам автор на протяжении последних 30 лет? Ведь именно в это время созданы произведения, вошедшие в трехтомник.

Писать о литературном творчестве Станислава Вторушина непросто. С одной стороны, Вторушин — активный участник литературного процесса на Алтае еще с конца 1960-х гг., и в настоящее время литературу региона уже невозможно полноценно представить без творчества этого писателя. С другой стороны, идиостиль С. В. Вторушина, абсолютной доминантой которого сознательно избран традиционный реализм, выглядит в настоящее время, пожалуй, несколько архаичным. Найдет ли своего читателя вышедшее недавно из печати трехтомное издание избранных произведений Станислава Вторушина, покажет время. Сейчас же необходимо оценить художественные достоинства произведений, вошедших в трехтомник.

Большая часть произведений трехтомного издания уже хорошо знакома почита-

телям творчества С. Вторушина: некоторые из них были опубликованы еще в самом начале 1990-х гг. (повесть «Последняя пристань», рассказы «Нелетная погода», «Сыновний поклон» и др.). В данном случае интересен принцип отбора материала (напомним, перед нами «избранное»!) и композиции трехтомника. По прочтении нетрудно убедиться, что произведения в каждом томе сгруппированы с точки зрения хронологии отражаемых в них событий, т. е. представляют собой плоды художественного осмысления писателем той или иной исторической эпохи. Причем автором выбраны знаковые эпохи для нашей страны: 1918 г. и начало коллективизации, 1970—1990-е и, наконец, 2000-е гг. Не знаю, намеренно ли так получилось, но каждый из трех томов издания имеет свой цвет обложки: черный — первый том, синий — второй и коричневый — третий. Подобное оформительское решение, как ни странно, может стать ключом к интерпретации авторского замысла, по-новому открыть для читателя старые произведения С. Вторушина.

### ЧЕРНОЕ ВРЕМЯ

В первый том издания вошли роман «Литерный на Голгофу» и повесть «Последняя пристань». Эти произведения хорошо знакомы читателю, и их объединение в рамках одного тома, очевидно, служит цели ос-

\* Вторушин С. В. Избранное. В 3-х тт. — Барнаул, 2012.

мысления автором картины жизни России конца 1910-х — начала 1920-х гг. И картина эта нарисована С. Вторушиным в черных тонах. Поистине черное время в истории нашей страны, когда враз рухнули многовековые культурные традиции, устои веры, морали, и лишенный их русский человек стал послушным рабом новых идеологий.

Повесть «Последняя пристань» была опубликована в далеком 1991 году. Еще были живы СССР и советская идеология, хотя и давшая глубокую трещину. Время создания повести объясняет некоторую робость С. Вторушина в художественном осмыслении проблемы коллективизации. Главный герой повести Евдоким Канунников не принимает создание колхоза в родном селе. Его крестьянская сущность противится приходу в село людей, далеких от земли (чекистов и партийцев), обобществлению скота и инвентаря. Вместе с женой он уехал из села и поселился в брошенном домике на берегу Чалыша (читай: Чарыша — т. е. повесть написана на алтайском материале), став, таким образом, единоличником. С помощью труда и смекалки преодолевая сложные бытовые и природные условия, Евдоким укрепляет свое хозяйство. Живет он лучше, чем крестьяне в соседнем колхозе, однако со временем Канунников начинает осознавать, что он остался в изоляции, чувствует возникшее к нему отчуждение и даже враждебность со стороны колхозников. Волей судьбы он становится бакенщиком в парходстве, что позволяет ему и жить единолично, и не бояться выселения с колхозной земли. Но в финале повести герой погибает от кулацкой пули, спасая от крушения баржу с зерном и трактором для колхоза, которую враги советской власти, передвинув на фарватере вешку Канунникова, хотели пустить на мель. Решение — банальное, в духе многочисленных произведений соцреализма о коллективизации (говоря языком Шукшина, автор «подмахнул парню геройский поступок»). В наше время такое осмысление событий 1920—1930-х уже неактуально, поверхностно и однобоко. Негативные аспекты коллективизации в повести лишь намечены, неразвиты, а общий тезис автора, который можно выразить формулой «отсидеться в стороне от коллективизации невозможно» — представляет собой трюизм, идущий еще от «Поднятой целины» М. Шолохова. Наверное, в 1991 г. повесть заставляла задуматься о трагедии переустройства

русской деревни, а сейчас, к сожалению, — это лишь холостой выстрел.

Более интересен, на наш взгляд, роман «Литерный на Голгофу». В 2009 г. эта книга стала лауреатом 3-го Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого. Если подходить к произведению с исторической точки зрения (что многие и делают), то в романе С. Вторушина современный читатель вряд ли обнаружит для себя что-то новое с фактической точки зрения. Особенно если он читал книгу Н. А. Соколова «Убийство царской семьи», на которую в свою очередь, скорее всего, опирался и С. Вторушин. Более того, там, где писатель отступает от книги Соколова, дает волю воображению, пытается оживить контуры событий — там профессиональный историк увидит целый ряд фактических ошибок. Так, в речи Николая II упоминается город «Батуми» (до 1936 г. назывался «Батум»); о германском императоре Вильгельме царь замечает: «Он вероломно напал на Россию» (здесь С. Вторушин явно спроецировал события 1941 г. на Первую мировую войну, когда война России была объявлена официально, при этом русские войска первыми вторглись на территорию Восточной Пруссии); у моста через Иртыш «наводила свой черный устрашающий ствол на проходящие мимо поезда двенадцатидюймовая пушка» (чего быть просто не могло: калибр в 12 дюймов (305 мм) имели главные орудия броненосца. Весило такое орудие около 100 тонн и на суше использоваться не могло. Автор, очевидно, имеет в виду 12-сантиметровое орудие. Орудия такого калибра (морские) иногда устанавливались на бронепоезда, а 122-миллиметровые гаубицы состояли на вооружении полевой артиллерии) и т. п. Предпринятая С. Вторушиным попытка исторической реконструкции личности советского комиссара Яковлева и мотивов его поведения на деле оборачивается попыткой создания альтернативной истории: предположение о желании Яковлева спасти императора пока документальных подтверждений не получило.

Роман сложен в жанровом отношении. Хотя перед нами литературная обработка исторических событий, связанных с казнью семьи последнего русского императора, заметим: «Литерный на Голгофу» — не столько исторический роман, сколько психологическая драма. Начиная с первых страниц, автор пытается разобраться в причинах

революции и, как следствие, в причинах жестокой, поистине изуверской расправы над последним русским царем, его семьей и приближенными. Но ход истории показан не отстраненно, а сквозь призму личности героев романа: Николая II, комиссара Яковлева, полковника Кобылинского, Голощекина и др. Одно из главных достоинств романа Станислава Вторушина заключается в попытке представить то, что по понятным причинам не попало в материалы расследования белогвардейского следователя Соколова: психологические портреты жертв и их убийц. При этом моральные, нравственные качества Николая и членов его семьи оказываются несоизмеримо выше, чем духовная сущность чекистов. Гибель царя предсказуема, потому что дух его не сломен, и уже это само по себе пугает и екатеринбургских чекистов, и московских вождей революции. Автор смог создать в романе эмоциональное напряжение, которое, конечно же, находит выход в читательском сочувствии последнему русскому царю. Финальные сцены романа, по сути, представляют собой мартиролог, в котором описаны принятые царской семьей мучения. И здесь роман по жанровым признакам напоминает жития святых.

В целом же произведения первого тома рождают у читателя чувство непоправимой и роковой исторической ошибки, которая не могла не отразиться на жизни нашей страны через многие десятилетия спустя.

### ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

Во второй том избранных произведений С. Вторушина вошли роман «Еще один день» и повесть «Леший». Главная тема, объединяющая данные произведения — освоение месторождений сибирской нефти в 1970-е гг. и их судьба в 1990-е. Драгоценная нефть, словно синяя птица, несла надежду на процветание и укрепление мощи государства. «Романтика нехоженых троп», энтузиазм и самоотверженность геологов — тех, кто открывал месторождения «черного золота», и жажда наживы, власть денег и цинизм тех, кому эти месторождения достались в постсоветскую эпоху — вот нравственные полюсы второго тома издания.

«Еще один день» — новая редакция романа «Средь бела дня», опубликованного еще в 90-е гг. Как и «Литерный на Голгофу», этот роман писателя в жанровом отношении

можно сравнить с матрешкой. На первый взгляд перед нами типичный производственный роман, подобный «Битве в пути» Г. Николаевой, «Первой просеке» А. Грачева или «Не хлебом единым» В. Дудинцева — жанр, еще широко распространенный в 1970-е гг., т. е. в то время, когда происходит и действие романа Вторушина. Главный герой — геолог Роман Остудин по «зову севера» приезжает в Сибирь и становится начальником нефтеразведочной экспедиции в пос. Таёжный. Задача экспедиции — поиск месторождений нефти в районах, указанных геофизиками. Производственные и бытовые будни начальника экспедиции, его «вживание» в коллектив, налаживание контактов с сослуживцами, организация буровых работ, противостояние райкомовским работникам, которых интересуют лишь количественные показатели, а не фактические результаты — все это составляет основную сюжетную линию романа. Эта основная производственная линия дополняется вспомогательной: «труды и дни» молодой журналистки Татьяны Ростовцевой. Как и в классическом производственном романе, есть здесь и любовная линия, и любовный треугольник (Татьяна Ростовцева — Андрей Рошупкин — Роман Остудин), который разрешается в духе соцреализма: Ростовцева прощает мужу измены, прекращает отношения с Остудиным, а в финале романа мы узнаем, что Татьяна и Андрей ждут ребенка. Однако любовная линия эта явно недоработана, далеко не всегда психологически убедительна. Так, окончательное примирение Татьяны и Андрея происходит после аварии вертолета Кондратьева, товарища Андрея по работе. Страх за мужа заставляет Таню забыть нанесенные ей обиды. Но ведь Рошупкин — летчик, давно работающий на севере, неужели о ежедневном риске в его профессии чуткая и умная Татьяна догадалась лишь спустя много лет после свадьбы? Странно и то, что Татьяна Ростовцева не расстается со своей девичьей фамилией на протяжении всего романа, даже уже будучи замужем, и автор никак не обговаривает этот нюанс. Досадное упущение?

Живые зарисовки людей, нравов и природы Севера, реалистичность описания труда геологов и буровиков, точные детали журналистской работы — все это, без сомнения, результат личных наблюдений Станислава Вторушина, многие годы проработавшего корреспондентом томской газеты «Красное

знамя», а затем и «Правды». В областном городе Среднесибирске мы узнаем черты Томска и Тюмени, а в районцентре Андреевское угадывается будущий город нефтяников Стрежевой. Даже свою любовь к рыбалке автор передал секретарю райкома Казаркину и Андрею Рошупкину, а на симпатии последнего к моравскому вину (кстати, редкому в СССР) не могла не повлиять любовь к Чехии самого автора. Автобиографические мотивы в произведении рождают при знакомстве с ним живые впечатления и, безусловно, украшают роман.

Вернемся теперь к «жанровой матрешке». За хорошо знакомым фасадом производственного романа Вторушиным, начиная с первых страниц, постепенно строится здание романа социального. Уже в прологе мы встречаем Остудина, везущего в Таежный гроб с телом убитого в Афганистане Саши Кузьмина — сына своего заместителя. Так постепенно в произведение входит мотив социальных и идеологических противоречий, нараставших в позднем СССР. Двойная мораль партийного руководства слишком очевидна для простых граждан, молодежь не верит в идеалы коммунизма, закостеневшие методы организации и управления стопорят развитие производства даже в такой важной сфере как нефтедобыча, средства от продажи нефти и газа идут на непонятную войну в Афганистане... Ощущение близкого кризиса в стране красной нитью проходит по канве романа. Социально-политическое звучание романа усилено его близостью более ранним произведениям писателя. Так эпизод встречи Остудина с престарелым графом Одинцовым, возвращающимся из Надьмы в «Петроград» после многих лет ссылки, вновь заставляет нас вспомнить роман «Литерный на Голгофу»: граф рассказывает Остудину об обстоятельствах расстрела царской семьи и даже дарит на память фотографию семейства последнего русского императора. Жестокость этого преступления заставляет Остудина задуматься о справедливости советского строя. Разговор Остудина с начальником ОРСа экспедиции Соломончиком, в котором тот предлагает утаить от государства реальные запасы нефтяного месторождения, с тем, чтобы продать истинную информацию позже, «когда месторождения для разработки смогут приобретать отдельные люди», конечно, отсылает к находящейся в этом же томе повести «Леший» (2002) и вновь ставит перед читате-

лем вопрос о том, как нефтяные запасы оказались в «лихие девяностые» в частных руках. Тема разворовывания государственных предприятий и их бессовестной эксплуатации в интересах одного лица поднимается автором и в романе «Посланец» (2011), вошедшем в третий том данного издания. Подобная многовекторная переключка обеспечивает смысловую связь произведений трехтомника, задает общую тональность их восприятия читателем.

В целом, несмотря на ряд недочетов, роман «Еще один день» можно назвать творческой удачей Станислава Вторушина.

### КОРИЧНЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

В третий том избранных работ С. Вторушина вошли роман «Посланец», повесть «Конвой», 17 рассказов разных лет и подборка из четырех великолепных эссе «Лики друзей». На наш взгляд, наиболее интересными и, как это ни странно, эмоционально взаимодополняющими друг друга являются роман «Посланец» и цикл «Лики друзей».

«Посланец» — еще один роман-матрешка С. Вторушина. Внешняя сюжетная канва, казалось бы, говорит о том, что перед нами обычный детективный или авантюрно-приключенческий роман. Главным героем — капитан Беспалов, возвратившись после ранения с Чеченской войны, встречается в своем родном селе, а потом и в областном городе с засильем мафии, которой руководят выходцы с Кавказа, бывшие чеченские боевики. Беспалов узнает, что через банк «Доверие», принадлежащий главарю кавказской мафии Мусе Джабраилову, боевики отмывают деньги и финансируют террористические операции. Видя безразличие милиции, Беспалов из числа своих сослуживцев сколачивает группу единомышленников, тщательно планирует и осуществляет ограбление банка, а затем ликвидирует Джабраилова и его подручных. На вырученные деньги народные мстители решают возродить заброшенную деревню Светлая.

Нетрудно заметить, что в этом авантюрно-приключенческом романе С. Вторушина скрыт роман социально-политический. Автор ставит перед читателем вопросы: каким образом природные богатства России, ее промышленные предприятия, финансы и торговля оказались в руках этнических преступных группировок? Почему власть не препятствует этому? Доколе русский

народ будет мириться с подобным положением дел? Вопросы острые, безусловно, актуальные, а возможно, и провокационные. Вторушин в романе предлагает свое, довольно смелое решение этих «проклятых» вопросов: настоящий посланец судьбы, Робин Гуд нового времени — капитан Беспалов восстановил поруганную справедливость. Но открытым остается другой вопрос: найдется ли такой человек в реальной жизни?

Цикл эссе «Лики друзей» включает четыре произведения, каждое из которых посвящено известному деятелю культуры, связанному своей судьбой с родным для С. Вторушина Алтаем: священнику о Михаилу (Капанову), поэтам Л. Мерзликину, Н. Рубцову, В. Башунову. Все они так или иначе оставили свой след в жизни Станислава Вторушина. Эссе пронизаны тончайшим лиризмом, любовью и глубоким уважением автора к своим героям. Интересны они и с биографической точки зрения, по-новому раскрывая грани их таланта и души. Каждый из

них, безусловно, представляет собой образец русского интеллигента конца XX века, тонко чувствующего красоту и боль нашей эпохи. Рефреном звучащие в эссе «Батюшка» слова о. Михаила: «Но русские поднимутся с колен!» — на смысловом уровне связывают воедино произведения третьего тома и вселяют в читателя надежду на лучшее будущее России.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о языке литературных произведений Станислава Вторушина. Язык вторушинской прозы достаточно совершенен, точен, не перегружен образами, метафорами, не отвлекает от сюжета. Как опытному журналисту ему особенно удаются диалоги, он умеет несколькими фразами, вложенными в уста персонажа, нарисовать его психологический портрет. Как и для других писателей еще старой, советской школы, для Вторушина внимание к языку — один из приоритетов творчества, что, к сожалению, отнюдь не характерно для представителей молодой поросли литературы Алтая.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Бобылёва Дарья Леонидовна** родилась и живет в Москве. Окончила Литературный институт имени Горького, отделение прозы. Прозаик, журналист, переводчик с английского и немецкого языков. Рассказы и фельетоны публиковались в журналах «Октябрь», «Кольцо А» и др. Член Союза писателей Москвы.

**Бригадир Юрий** родился в 1961 г. в Благовещенске. Основные публикации: сборник «Граненый стакан» (2004, Геликон плюс), роман «Мезенцефалон» (2008, Лимбус Пресс), повесть «Аборт» (2008, Литературные кубики), повесть «Не жить» (2009, АСТ). Живет в Новосибирске.

**Кисельников Александр Андреевич** окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика», доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист РФ. Живет в Новосибирске.

**Крюков Владимир Михайлович** родился в 1949 г. в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета. Автор ряда поэтических сборников. Член Союза российских писателей. Живет в Томске.

**Куралов Иосиф Абдурахманович** родился в 1953 году в Прокопьевске. Закончил режиссерское отделение Кемеровского государственного института культуры. Работал в редакциях газет, в учреждениях культуры, образования. Автор нескольких книг стихотворений и поэм. Заведующий отделом поэзии журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

**Марьин Дмитрий Владимирович** родился в 1976 году в Барнауле. Окончил факультет филологии и журналистики Алтайского госуниверситета. Кандидат филологических наук, доцент. Работает на кафедре общего и исторического языкознания АлтГУ. Публиковался в региональных периодических изданиях, в журналах «Родина», «Алтай», «Огни Кузбасса» и др. Живет в Барнауле.

**Минаков Станислав Александрович** родился в 1959 году. Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, публицист, очеркист. Автор книг «Имярек», «Верь», «Листобой», «Хождение» и др. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России. Живет в Харькове.

**Северов Дмитрий** родился в 1991 году. Живет в Новосибирске.

**Старосельская Сусанна Аркадьевна** родилась в Москве в 1941 г., окончила Московский медицинский стоматологический институт. Работала научно-литературным редактором в ВИНТИ, врачом-статистиком. Была постоянным корреспондентом отдела науки «Медицинской газеты». Живёт в Бостоне, США.

**Чкония Даниил** родился в 1946 г. в Порт-Артуре. Окончил Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей с 1976 года. Автор девяти книг. Публикации в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир» и др. Живет в Кельне.

**Щигельский Виталий Владимирович** родился в 1967 году в Ленинграде. Работал слесарем, брокером, грузчиком, директором. Публиковался в журналах «Новый мир», «Сибирские огни» и «Континент», издал две книги прозы. Живет в Петербурге.